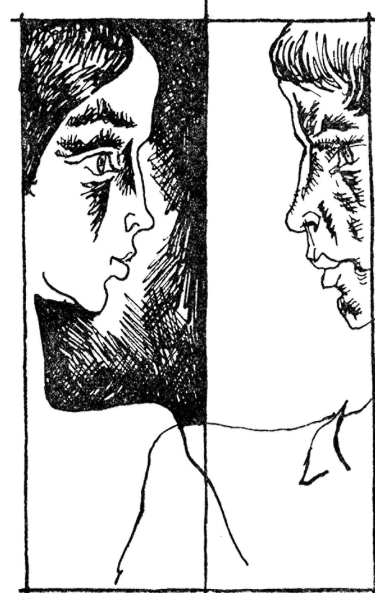


СЕМЁН
ЛАСКИН

*Абсолютный
слух*







СЕМЁН
ЛАСКИН

Абсолютный слух

ПОВЕСТИ



Советский писатель
Ленинградское отделение
1976

В новую книгу Семена Ласкина вошли две повести: «Абсолютный слух» и «На линии доктор Кулябкин». «Абсолютный слух» — это повесть о школе. В центре ее — столкновение двух педагогов. Один из них ищет быстрых, результативных путей воспитания, не проявляя особой разборчивости в средствах. Другой стремится бережно воздействовать на личность ребенка. Автор показывает, что суть истинного советского педагога — доброта действенная, смелая, способная на самую решительную и принципиальную борьбу со злом. «На линии доктор Кулябкин» — повесть о враче «скорой помощи». Действие повести протекает за одно суточное дежурство, но при этом рассказана вся жизнь героя, человека скромного и самоотверженного, обладающего талантом доброты и душевной отзывчивости.

© Издательство «Советский писатель», 1976 г.

На линии доктор Кулябкин



Борис Борисович развязал тесемки передника, повесил его на ручку двери и присел на краешек Юлькиной кровати.

— Понимаешь, — объяснил он, — когда зайцы долго не едят капусту, у них появляются боли в сердце. «Володя, — попросил я шофера, — или мы раздобудем капусту, или заяц погибнет». — «Слушаюсь, доктор Кулябкин!» — ответил Володя.

Юлька рассмеялась, а Борис Борисович продолжал с серьезным видом:

— Он включил зажигание, отпустил сцепление, дал газ. Ж-ж-жи! — и мы в магазине. А там... очередь. «Товарищи, — говорю я, — болеет заяц. Нужна капуста». — «Нет, — говорит очередь. — Мы все спешим».

— Как им не стыдно! — рассердилась Юлька.

— Я так и сказал.

— А они?

— Ладно, говорят, берите, доктор, капусту, раз такое срочное дело.

В дверях появилась Лида, и Борис Борисович замолчал.

— Боренька, — попросила она. — Из-за твоих зайцев я не могу написать толковой фразы. Что, у тебя других дел нет? Юльке пора колоть пенициллин...

Она повернулась, прислушалась к чему-то, спросила:

— На кухне ничего не горит?

— Каша!

Он пролетел мимо Лиды.

— У, дьявол, — бормотал Кулябкин. — Придется мыть плиту. Совсем забыл про кастрюлю.

— Думала, дадите спокойно поработать, — грустно сказала Лида. — Я так надеялась на библиотечный день...

— Иди, иди, — стал просить Кулябкин. — Я сварю другую.

Он подождал, когда Лида выйдет, отмерил четверть стакана крупы, вернулся к Юльке.

— Будем внимательнее, — сказал он. — Но пока сделаем укол, ладно? — Он вспомнил: — А градусник? Какая жара под мышкой?

Юлька повернулась и стала шарить по матрацу.

— Я потеряла.

Термометр наконец нашелся.

— Тридцать семь и четыре, — огорчился Кулябкин. — Эх, ты! Не могла постараться.

— Я старалась.

Он вошел в ванную, и теперь Юлька слышала, как журчит вода.

Она так и не легла больше, сидела на кровати, расставив тоненькие руки, ждала отца.

— Пер-живаешь?

— Немного.

— Не пер-живай. Сделаешь укол, и я поправлюсь.

Он встал на колени, ухом прижался к Юлькиной спине.

— Дыши! — приказал он.

Она набрала воздух, раздула щеки и медленно выдохнула.

— Лучше?

— Много.

— Вот видишь.

— Все равно, — не сдавался Кулябкин. — Еще дня три поколоть нужно.

— Три — это мало, — успокоила его Юлька.

— Немного, — согласился Кулябкин.

Он поднял глаза: Юлькино лицо было таким напряженным, что Борис Борисович почувствовал, как заныло у него сердце.

Он раскрыл стерилизатор, стал набирать пенициллин.

— Подставляй!

Она уперлась лицом в подушку, стянула трусы.

Кулябкин взмахнул рукой и легонько шлепнул.

— И все?

— Все.

— Надо же! — похвалила Юлька. — Даже не слышала.

В ее глазах стояли слезы.

В кабинете зазвонил телефон. Лида сняла трубку.

— А, Сысоев, — сказала она приветливо. — Рада тебя слышать... Да, грызу науку, ты угадал... А Боря?..

— Мне некогда, — крикнул Кулябкин.

— Боря занят, — сказала она. — Он помнит, сегодня на час раньше. Кто? Профессор Васильев? Господи! Позорище-то какое, Борис не готовился совершенно...

Сысоев что-то еще говорил ей, Лида сказала: «Отлично, заходи» — и повесила трубку.

— На конференции будет Васильев, — сообщила она.

— Я понял.

— Ты даже не сказал мне, что у тебя доклад... Может, посоветовала бы что.

— Ну уж, доклад, — отмахнулся Кулябкин. — Десять минут разговора, четыре случая.

— А Сысоев...

— Мало ли что может наговорить Сысоев.

— Жаль, — разочарованно протянула Лида. — Я думала, ты занялся серьезным делом.

— Где уж мне, — сказал Кулябкин, вытирая руки.

Повесил полотенце и подошел к Юльке.

— Что будем теперь делать?

— Порисуем? — попросила она.

Он кивнул, стал раскапывать кучу игрушек в углу комнаты.

— Папа, — позвала Юлька. — Краски тут.

Она подняла подушку: на наволочку налипла целая гроздь.

Кулябкин быстро поглядел на дверь, смахнул их в ладонь.

— Каша! Горит каша! — из кабинета закричала Лида.

В два прыжка он был на кухне, выключил газ и стал дуть на кипящую, вылезающую из кастрюльки массу.

Вошла Лида. Молча вылила кашу в раковину, стала отмывать стенки кастрюльки.

— Дай уж мне, — попросила она, — так будет быстрее.

Он подчинился.

Когда каша была готова, Борис Борисович выскреб дно кастрюльки, собрал остаток и протянул Юльке.

— За мамино здоровье.

— Э-э! — сказала Юлька и погрозила пальцем. — Уже ела... Давай-ка ты...

— Это несправедливо, — сказал Кулябкин, но ложку облизал, поднялся. — Теперь каждый будет заниматься своим делом, ладно?

— Какие у тебя дела?

— Разные. — Он увидел интерес в глазах дочери и объяснил: — Хочу почитать одну книжку.

— Тогда почитай вслух.

— Тебе будет непонятно. Это про болезни.

— Про болезни, — разочарованно протянула Юлька. — Но ты же все знаешь.

— Как это все? — почти возмутился он. — Все никто не знает. У меня был больной на прошлом дежурстве, и я не очень-то в нем разобрался.

— Значит, он умер?

— Нет.

Он сел за стол, раскрыл книгу и стал читать. Юлька следила за ним.

— Не понимаю, — сказала она. — Если не умер, значит, ты его вылечил.

— Вылечил, — согласился Кулябкин.

— Чего же читать?

Он вздохнул, перевернул страницу и что-то подчеркнул карандашом.

— Боря, — окликнула Лида. — У Юльки остался пенициллин на вечер? Придет сестра...

— Нет.

— Ну вот, — сказала она. — Опять мне приходится думать обо всем. Сходи уж, сделай милость.

Он поднялся.

— Двух слов не могу связать сегодня, — пожаловалась Лида, пока он одевался.

Борис Борисович открыл дверь.

— И не задерживайся нигде! — крикнула она вдогонку. — Помнишь, что тебе сегодня раньше на работу?

На улице оказалось прохладно. Резкий ветер погнал с шелестящим шумом и хлопанием газету. Жалобно поскрипывал над Кулябкиным фанерный флажок автобусной остановки.

Несколько человек пенсионного возраста трусцой прогарцевали мимо — «бегом от инфаркта». Кулябкин проводил их ироническим взглядом.

Он шел к Среднему проспекту наискосок, дворами, к маленькому старинному дому-развалюхе, где испокон веков ютилась аптека. «Четыре случая, — думал он, — и вся работа». Даже неловко. Нужно рассказать, как было. О каждом больном. Я всех помню. Но Васильев, конечно, будет недоволен. . .»

Он миновал вереницу аптечных окон, зачем-то перечитал рекламу «Пользуйтесь патентованными средствами», пересчитал большие, как пушечные ядра, витамины — они бутафорской горой возвышались в следующей витрине, — раскрыл тяжелую аптечную дверь. «Покажу кардиограммы до и после кислорода. В конце концов, я зафиксировал факт, это неоспоримо. А выводы пусть делают сами. . .»

Он забыл на секунду, зачем оказался в аптеке. «Если и делать выводы из моих наблюдений, то только один: как мало мы знаем. . .»

Какой-то мужичок в заляпанной белым рабочей спецовке переходил от витрины к витрине, читал названия лекарств, медленно шевелил губами.

Высокая стройная блондиночка-рецептар стояла в стороне и безразличным потухшим взглядом глядела куда-то сквозь стены.

Борис Борисович протянул рецепт.

Девушка взяла бумажку, наколола ее на металлический стержень, сказала: «Рубль в кассу» — и тут же выложила флаконы на прилавок.

— Мне бы от живота, — пожаловался мужичок. — Сальца поел на ночь. Как утром взяло, так и крутит.

— «Крутит» для меня не диагноз.

— Не болит, — разъяснил мужичок, — а тоскует.

— Возьмите салол с белладонной, — вмешался Кулябкин. — Должно помочь. И рецепт не нужен.

— Можно? — спросил мужичок у девушки.

— Ваше дело, — отрезала она. — Я за чужие советы не отвечаю. Платите три копейки.

И бросила на прилавок картонную коробочку.

Лифт спускался. Показался шланг, потом плавно проплыла кабина.

Дверь открылась.

Борис Борисович поднял глаза и увидел женщину. Из светлого пространства лифта она собиралась переходить к нему, в темноту. Стало тревожно, и он отступил.

Дверь захлопнулась, и лифт в полной темноте пошел наверх.

— Таня, здравствуй, — наконец сказал Кулябкин.

Теперь он различал только матовый силуэт ее лица.

— Боря? А Лида сказала, что ты дежуришь...

— Я дежурю, — торопливо подтвердил Кулябкин, — но только позже...

Он понимал причину Лидиногo обмана и старался быстрее прекратить этот разговор.

— А ты — что? Кто-то болен?

— Папа.

— Конечно, конечно, — сказал Кулябкин. — Я приду, раз нужно. У меня еще много времени. Я сейчас же приду к тебе, не волнуйся. Вот только снесу лекарство Юльке.

— А что с ней? — тревожно спросила Таня.

— Теперь лучше, — сказал Кулябкин.

— Я понимаю, — виновато сказала Таня. — Понимаю, как ты занят. Может, не стоит?

— Что ты, что ты, — он прикоснулся к ее руке. — Я обязательно буду.

— Ой, как неудобно, — говорила Таня. — У тебя дочка больна, а я со своим...

— Что с отцом?

Она помолчала.

— Самое страшное... Теперь начались боли, дикие боли где-то в печени... А он, ты же его знаешь, хочет правды. Приходят врачи, выписывают лекарства, и он им не верит... Сегодня приказал: «Сходи за Борисом, он меня не обманет. Я должен знать все. Я буду спокойнее, если мне скажут правду...»

Она схватила Бориса Борисовича за руку.

— Боренька, ради бога, не говори ему правды. Скажи

что-нибудь... Ну, что полагается в таких случаях... Ты должен сам знать, что ему нужно...

— Ладно, — пообещал Кулябкин. — Я постараюсь.

— Постарайся, — попросила она, и он понял, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать. — Папа говорит, что у тебя ответ на лице, что ты слишком бесхитростен, чтобы его провести... Он говорит, что в тебе-то он разберется...

Кулябкин молчал.

— Слушай, — нервно сказала Таня. — Если ты не уверен, если думаешь, что не сумеешь, то лучше не нужно... Я скажу, что ты болен, уехал... Он так напряжен... Наверное, зря я пришла...

— Я попробую, Таня, — сказал Кулябкин. — Ты не волнуйся.

— Нет, — почти выкрикнула она. — Я волнуюсь. Он на все способен, если и тебе не поверит.

Он погладил Таню по голове, как ребенка, и виновато отдернул руку, потому что снова открылся лифт и их осветили.

— Ну, я пойду, — торопливо сказала она. — Мне нельзя долго. Уйду на минуту — такая тревога... Я даже перешла на полставки, все с ним...

— Иди, — сказал Кулябкин. — Я постараюсь.

— Постарайся, — снова попросила она. — Это так важно, Боря...

Он не стал вызывать лифт, пошел пешком. Постоял в первом пролете, поискал Таню глазами. Она шла по двору, и Борис Борисович сосчитал десять ее шагов, ждал: вдруг обернется.

Она и действительно обернулась, окинула их дом невидящим взглядом, скрылась в подворотне.

Он все еще стоял у окна и вдруг вспомнил себя в школе, давным-давно, в седьмом, нет, в восьмом классе, на маленькой сцене. Он был тогда во фраке, в жабо, в широких поношенных школьных брюках, со вздувшимися коленками, с цилиндром в руке.

Таня Денисова читала монолог Татьяны. Сколько пугающей холодности было в ее глазах!

Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть

И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Она поднялась и царственной походкой направилась к кулисе. Ах, если бы он мог ее задержать, ответить, сказать свой текст. Но он не мог, не имел права. А у Пушкина, которого они так старательно проходили с пятого класса, не нашлось для Кулябкина нескольких нужных слов.

Он вытянул руки, прошел несколько шагов по сцене и неожиданно для себя произнес:

— Таня!

Она обернулась, удивление возникло в ее глазах — такого текста не было.

— Что? — растерянно спросила она.

— Ничего, — не нашелся Кулябкин.

Он так и стоял в свете маленьких юпитеров, опустив голову, ждал, когда замолкнут аплодисменты.

Борис Борисович открыл дверь, повесил на вешалку плащ, прошел к Юльке.

— Боря? — позвала Лида.

Он остановился около кабинета, она сидела спиной к нему.

— А я, кажется, все-таки нашла фразу. Прочесть?

— Прочти, — сказал он.

— «Усиление ферментных систем, — начала она, — какое может быть достигнуто введением цитохрома, невольно приведет к изменениям в ионной среде». Правда, хорошо?

— Да, — не совсем уверенно сказал Кулябкин. — Только зачем же «какое»? Лучше — которое.

— Почему? — не поняла Лида.

— Да так, — уклонился Кулябкин. — Красивее.

— Какое это имеет значение?

— Никакого, — согласился он.

Он выстроил пенициллиновые бутылочки, как солдатиков, в затылок, поставил рядом пузатый флакон с микстурой, подмигнул Юльке.

— Сми-ирна! — крикнул Кулябкин смешным голосом. — И не разбегаться без моего приказа.

— Отпусти их, — попросила Юлька. — А то они устанут.

— Во-ольна! — крикнул Кулябкин и смешал строй.

Он услышал приближающиеся шаги Лиды, обернулся.

— Мне никто... не звонил? — спросил он.

Она смутилась.

— Звонил? Нет... А разве должны?

Он не ответил, пожал плечами.

— Я ужасно жалела, — сказала она, — что не успела догнать тебя на лестнице: у нас совершенно нет картошки.

Он думал: «Нужно зайти к Тане, она ждет».

— Боренька, дружок, сходи, сделай милость...

Лида приблизилась к нему, обняла и положила на плечо голову.

— Ладно, — сказал Кулябкин и быстро поднялся, точно испугался, что жена его поцелует.

— Большое спасибо, — вздохнула Лида.

Он потрепал по волосам Юльку.

— Папа, — спросила она, — ты зайцев больше не видел?

— Одного.

— Больного?

— Ёрунда. Икота.

— А чем лечить?

— Капустрин, такое лекарство.

— Из капусты?

— Возможно. Мне еще не сказали.

Он подошел к двери, но Юлька заговорщицки поманила его пальцем, что-то хотела сказать по секрету.

— К тебе приходила тетя.

— И что же?

— Она плакала. У нее горе. Ты к ней зайдешь?

Кулябкин поглядел на дочку, улыбнулся. Невеселая вышла у него улыбка.

— Зайду, — пообещал он. — Не волнуйся.

Через несколько минут он уже поднимался на третий этаж по старой, обшарпанной лестнице, с железными, изрядно погнутыми, качающимися перилами. Дверная обивка была продрана, торчала серая вата.

Борис Борисович спрятал авоську в карман и только тогда потянул за ручку-дергалку. Тоненькие металлические колокольчики зазвенели на все лады.

Щелкнула задвижка, и он увидел совсем иную Таню: веселую, улыбающуюся, благодарную.

— Боря! — Она говорила слишком уж громко. — А я и не надеялась, что ты придешь. Я же была у тебя. Лида сказала, что ты дежуришь, и я передала папе, что ты будешь только завтра. О, это такой приятный сюрприз для нас...

— Я дежурю, — подтвердил Кулябкин, — но позже... Во второй половине... У меня есть время, — говорил он так же громко, снимая плащ и цепляя его на случайный гвоздь в коридоре. — Вот я и решил: зайду-ка лучше сегодня, раз Иван Владимирович болен. Что это с ним?

— Сам, сам посмотришь, — говорила Таня. — Только что стало полегче, терпимее боли...

Иван Владимирович лежал в «детской» — так по-прежнему называлась Танина комната — на узком раскладном кресле.

Впрочем, от детской тут ничего не осталось. Три стены были заставлены стеллажами с книгами, а перед окном стоял письменный стол, заваленный школьными тетрадями.

Иван Владимирович очень изменился. Похудел. Лицо опало, нос заострился, приобрел птичью горбатость, глаза из серых стали желтоватыми, в них появилась тревожная неподвижность.

Борис Борисович кивнул Денисову, сжал его руку: на ногтях тоже была желтизна.

— Редко заходишь, — с упреком сказал Иван Владимирович. — Мог бы почаще. А то только и увидишь тебя перед собственными похоронами.

— Ничего себе шуточка, — сказал Кулябкин. — Нет уж, до этого мы не допустим.

— Ну, ну, поглядим, на что ты способен.

Он стал приподниматься на локтях, стараясь лечь выше и удобнее. Кулябкин присел на край кресла и потер руки, согревая их.

— Чего так смотришь? — мрачно спросил Денисов. — Скелет?

— Бриться нужно, — буркнул Кулябкин.

— Я и без бритья молодец, — сказал Денисов. Он повернулся к Тане. — Выйди-ка. У нас тут свои беседы, мужские.

Он подождал, пока затихнут шаги за дверью, посмотрел на Кулябкина.

— Буду краток; болею месяца три. Температура. Худею. Часто нестерпимые боли. Лежал в больнице, ничего не нашли.

Он как-то зловеще подмигнул и усмехнулся.

— А мне нужно правду, правду, понимаешь? Я сам бы хотел собой распорядиться, понимаешь?

Он неожиданно сел, приблизил лицо к Кулябкину.

— Понимаю, — спокойно ответил Борис Борисович.

Он подождал, когда Иван Владимирович ляжет, поднял его рубаху.

— Вздохните, — попросил он.

— Дави где хочешь, — разрешил Денисов, продолжая пристально следить за Кулябкиным. — Не стесняйся. Мне кажется, если опухоль, то она здесь. Я же не стеснялся, когда отчитывал тебя за записки Тане...

— Это другое дело, — сказал Кулябкин, положил руку на живот и глубоко прошел пальцами: печень была бугристая. Денисов сморщился от боли, закрыл глаза.

— Впрочем, — сказал Денисов, закусывая губу. — Я сейчас очень об этом жалею... Гоняешь от себя хороших людей, а плохие сами ползут, как тараканы.

— Отчего же, — сказал Кулябкин. — Ваш зять — папень что надо. Золотая медаль, диплом с отличием, кандидатская...

— А Танька все же нашла изъянец, — сказал Денисов, — подала на развод.

Кулябкин, видно, не рассчитал и слишком сильно сдавил печень. Денисов вскрикнул.

Помолчали.

— Глупо! — сказал наконец Кулябкин. — Страшно глупо, Иван Владимирович. Да почему рак? А холецистита вам мало? А камни в протоке?

— Ты сядь, сядь, — спокойно сказал Денисов. — Я красноречие уважаю. Но мне видеть тебя нужно. Я уже красноречивых не раз слушал. И более красноречивых, чем ты.

Он подождал, когда Кулябкин сядет, пристально поглядел на него.

— А теперь говори, — приказал он. — И не отворачивайся, если можешь.

— Я вот думаю, — после некоторой паузы сказал Кулябкин, — как помочь вам без операции?.. Понимаете, Иван Владимирович, мы только что получили удивительное лекарство, всего несколько ампул. И результаты разительные. Растворяет камни.

— Как называется? — с некоторым беспокойством спросил Денисов.

— Капустрин, — без запинки сказал Кулябкин.

— Капустрин? — переспросил Денисов. — Из капусты?

— Ко-пустрин, — уточнил Кулябкин. — Сложная литическая смесь. Получаем под расписку. И на каждого больного составляем особую историю болезни, а потом отдаем фармакологам.

— Но я могу через горздрав, — оживился Денисов. — Если это действительно что-то стоящее. А если начнет помогать, то Таня и в министерство съездит.

— Для начала я вам достану, — подумав, пообещал Кулябкин. — Сегодня же. И пусть Таня введет... Только...

— Что?

Денисов нервничал.

— Мы еще не знаем побочных действий. Фармакологи считают, что может быть небольшое сердцебиение, тошнота и даже рвота.

— Ерунда! — отрезал Денисов. — Я перетерплю, если поможет в главном. — Он вздохнул. — Терплю пострашнее... Если бы ты знал, Борис, как бывает... А за операцию никто не берется, сердце, говорят, не выдержит. Да если оно такое выдерживает, то как же — операцию...

Он опять приблизил лицо к Кулябкину и взволнованно спросил:

— Ты мне не врешь, Боря? Не врешь?

— Нет, — выдержал взгляд Кулябкин. — Вечером вам введет копустрин Таня. А утром, после дежурства, зайду сам, погляжу результаты...

— Не врешь, — скорее себе, чем Кулябкину, сказал Денисов. — Оказывается, есть лекарство. Есть. — Он упал на подушку и крикнул: — Таня!

Дверь открылась сразу.

— Ну, — оживленно сказала Таня, — что обещает профессор Кулябкин?

— Представляешь! — весело крикнул Денисов. — Он обещает мне помочь. Он фокусник, твой профессор.

На Танином лице появилось беспокойство, и она с трудом выжала из себя улыбку.

— Правда?

— Да, — убежденно подтвердил Кулябкин. — Это камни в протоке. А мы как раз получили новый препарат.

— Капустрин, — перебил Иван Владимирович.

— Ко-пустрин, — снова поправил Кулябкин. — Сложная смесь. Я сегодня же выпишу ампулы на работе, а ты сможешь ввести... или я утром...

Она все еще не могла понять, правду он говорит или нет, смотрела с надеждой.

— Боря, это правда? Правда?

— Конечно, — сказал Кулябкин. — Копустрин — удивительное средство. Пока его имеет только «скорая».

— Спасибо, спасибо, Боря... — сказала она. — Я... мы... мы тебе так благодарны...

— Какие пустяки, — сказал Кулябкин.

— Это хорошо, если твой копустрин мне поможет. И без операции. О больнице, Борис, сказали, и думать нечего, да и самому, честно, надоело... А потом — Таня. Ей тоже нелегко. Вечерами — в школе, утром готовиться нужно к урокам. Видал, сколько тетрадей?

Глаза его загорелись.

— Знаешь, когда мне лучше, я без нее все тетради проверю, а она придет, поглядит и только отметки проставит. Раньше я и отметки сам ставил, но завывшал. Дотягивал до положительной.

— Как?

Он расхохотался.

— Так. Взрослые же у нее, школа рабочей молодежи, вот и жалел. Для чего им двойки? Бывает, поправишь немного... — Он подмигнул и опять засмеялся. — Человек должен быть гуманным, Боря. Жестокость ему противопоказана.

Он неожиданно спросил:

— Ты уверен, что сумеешь достать копустрин? А вдруг тебе не удастся?

— Постараюсь. Одну ампулу точно. А утром еще...

— И ты видел результаты?

— В том-то и дело.

— Поглядим, поглядим, — скептически произнес Денисов и тут же крикнул дочери: — Таня! Свари Борису кофе, а мне — чаю. И булку намажь селедочным маслом... — Он с сомнением поглядел на Кулябкина: — Можно, доктор? Селедочного страсть захотелось. Они именно селедочного не разрешают.

— Пока чуть-чуть, — согласился Кулябкин. — Для вкуса. А после копустрина можно будет и селедочного.

— Масла чуть-чуть, — крикнул Денисов. — Нет, не нужно! Давай что-нибудь другое. Курицу, что ли.

Он опять лег навзничь, закрыл глаза.

— Да, — спохватился он. — Лекарство стоит забрать сразу, сегодня же. Таня, зайдешь к Борису, возьмешь. Мало ли что бывает. Раздавит, уронит ампулу, нет-нет, ждать до утра нельзя... А потом, ты же говоришь, что Таня сможет ввести сама, профессор, как?

— Конечно, — согласился Кулябкин. — Только на станции меня подолгу не бывает.

— Ничего, — отмахнулся Денисов. — Подождет. Нам спешить некуда.

Он потер руки.

— Да что это я о себе да о себе. Рассказывай! Все, значит, на «скорой»?

— На «скорой»...

— А почему? Каторжная же работа...

— Пожалуй, — согласился Кулябкин, — но мне нравится. — Он улыбнулся. — Результаты видишь. Приехал — помог. Это развращает в каком-то смысле.

— Понимаю, — кивнул Денисов. — А потом «скорая», говорят, теперь не та: и лаборатории, и кардиография... Наукой-то не занимаешься?

— Нет, — Кулябкин пожал плечами. — Правда, думаю описать четыре случая, нетипичная клиника.

— И отлично, — возбужденно сказал Денисов. — Именно нетипичное интересно. Мы-то ищем закономерности, гоняемся за среднеарифметическими цифрами, а то, что за пределы средних вылезает, выкидываем как случайное. Так ведь?

— Так.

— А если вся суть именно в тех нетипичных, а? Если тут и скрывается истинная закономерность, а? Талдычим одно: средние цифры, средние проценты, а я всегда думал — не выплескиваем ли мы с этими нетипичными случаями истину? Жемчужное зерно...

— Вы устали, Иван Владимирович, — сказал Кулябкин, взбивая подушку и укладывая ее удобно под голову Денисову.

— Нет, не устал, — говорил Иван Владимирович. — Не устал. Я объяснить тебе хочу. Я, Боря, уверен, что все стоящее — случай. И ты — случай. Вот никто ничего не мог сказать, а ты сказал. Убедил. Ты, Боря, врач, а это понятие редкое. Нравственное. Научных работников много, дипломированных специалистов — тьма, а врачей, Боря, нету. Единицы. А раз ты, Боря, случай, то уж в процентах тебя не высчитаешь, на средние цифры не переведешь.

Денисов приподнялся на локте.

— Я вот театр любил, литературу, а потом себя испугался, вроде бы и не профессии это. Пошел в Политехнический. Кончил. Работал и, знаешь, кое-что даже сделал, а вот тут, — он провел рукой по груди, — тоска так и не исчезла...

Денисов помолчал немного, думая о своем, и вдруг спросил, почему-то шепотом:

— Дома-то у тебя как? Благополучно?

— Ничего...

— А Танька одна, — сказал он. — Очень за нее сердце болит, Боря. Очень. Ну кто думал, что ваш Антипов такой. А ведь нравился — чистенький, тихий, цветы приносил. Ну что у тебя — двадцати копеек не было цветы на Восьмое марта купить? — Он грустно усмехнулся.

Дверь распахнулась. Таня внесла поднос с чашечками и кофейник.

— А мы тут с Борисом уже о поэзии говорим, — сказал Денисов. — Я, Боря, лежу один, стихи читаю. И, представляешь, многое как бы заново открыл для себя. Вот, Боря, погляди, как прекрасно говорил гений:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук почной в лесу глухом.

А? И это он в тридцать-то лет. В тридцать! Предчувствия какие-то! Фантастика, Боря. — Иван Владимирович прикрыл глаза:

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

Кулябкин протянул Тане руку, накрыл ее маленькую ладонь и тут же увидел себя, крошечного, в ее зеленоватых зрачках.

— Папа, можно я провожу Бору? — попросила она.

— Иди, конечно... Сейчас мне легче, — он улыбнулся. — Если от визита доктора больной не выздоровел, значит, доктор плохой.

Он наотмашь, но очень слабо хлопнул по ладони Бориса Борисовича, сказал:

— Я как-то очень в твой копустрин поверил. Очень... Мы все, Борис, немного идеалисты. Умом понимаешь, что чудес нет, а веришь. Еще сильнее веришь.

Она прикрыла за собой дверь, повернулась к Борису Борисовичу и как-то нерешительно, даже виновато поглядела на него.

— Ах, как хорошо, Борька, как хорошо, что ты есть! — шепотом сказала она. — Ты, наверное, даже не представляешь, что ты сделал!

Она прикусила губу — не хотела, чтобы он увидел слезы.

Потом повернулась, порывисто обняла и поцеловала Кулябкина, ткнулась влажными губами в его щеку.

— Спасибо!

Он будто окаменел, стоял неподвижно.

Она всхлипнула и положила голову ему на плечо.

— Если бы ты знал, как я устала...

Он провел ладонью по ее мокрой щеке.

— Не плачь, Таня. Не плачь, — попросил он.

Она благодарно взглянула на него.

— Ты настоящий, Борька, настоящий. Знаешь, — вдруг сказала она, — вот мы почти не встречаемся, не видим друг друга, а я знаю, что ты есть, что к тебе всегда можно обратиться.

— Пошли, — сказал он. — Погуляем. Тебе нужно успокоиться, Таня. Иван Владимирович не должен видеть тебя заплаканной.

Она покорно пошла за ним.

Кулябкин свернул в узкий проулок. Позади, по проспекту, грохотали машины, грузовики встряхивали порожними кузовами на одной и той же выбоине, неслись дальше.

Каменные четырехэтажные дома здесь казались особенно высокими; они так приближались друг к другу, будто тут начинался другой, средневековый город, о котором они читали в учебнике шестого класса.

— Помнишь, — сказала Таня, — мы здесь бродили и раньше. И я показывала тебе записки Антипова и каждый раз советовалась, что ему отвечать.

— Помню, — тихо сказал он.

— Ты был отличным почтальоном, Борька. Верным. Если бы ты был тогда посмелее...

— Что могло измениться?

— Все, — сказала она. — Я мечтала, чтобы ты послал меня к черту, отказался бы выполнять мои просьбы...

— Но я же не мог иначе, — сказал он. — Мы дружили.

— Да, — кивнула она. — Ты и сейчас не знаешь, как по-другому.

— Пожалуй.

— Вот я и вышла за Антипова. У нас не было ни одного приличного дня, Борька.

— Почему же? — оторопело спросил он. — Этого не может быть. Подумай, о чем ты говоришь, Таня. Ты тогда даже не пригласила меня на свадьбу...

— Я не хотела, не могла... чтобы ты был... Да и Лида этого не хотела.

— При чем тут Лида, — сказал он.

— Лида? Она всегда меня боялась. Она бледнела, когда я приближалась к вам. Она что-то чувствовала в тебе такое или даже знала.

Они повернули назад.

— Какие же мы были дураки, Боря! — вздохнула она. — Вот начать бы сначала, с восьмого класса...

— С шестого, — улыбнулся он. — С Жабьего урока, когда она перехватила мою записку...

— Не стоит о ней, — сказала Таня. — Сейчас не стоит.

Они брели по разным сторонам тротуара и все же рядом.

— Ну, у меня не вышло, не сложилось, но у тебя?.. У тебя хоть прилично?

Он не ответил.

— Если бы ты знал, Борька, — сказала она, — какими несовместимыми мы с ним оказались. Ничего общего. Помнишь, какая была у него память! Знал наизусть Блока, музыку любил, а придем в филармонию, и я чувствую: он одно слышит, я — другое. И потом каждый его жест, эта жуткая уверенность во всем, что бы он ни провозглашал. Да, да, он никогда не говорил нормально, а только провозглашал. Ты же помнишь, он и в школе ни в чем не сомневался... Как тебе нравятся, Боря, люди, которые никогда ни в чем не сомневались? Железный человек. Гигант. Только сталь и никакого шлака. А вот жить невозможно. И самое ужасное, Борька: полная порядочность. Слова лишнего не ляпнет, а противно.

Она вздохнула.

— Бывало, слушаю его: все логично, по полочкам разложено, разбить невозможно, а — ложь! Умом соглашаюсь, а здесь — нет, не лежит. Знаю, поступи так — и назад не будет дороги, потому что у него только факты, а Достоевский, помнишь, говорил, что и за фактом что-то еще должно быть.

Таня повторила:

— Ты так и не ответил, как с Лидой?

— Хорошо, — сказал он. — Юлька большая, шестой год.

— Шестой! — она покачала головой. — Я знала, что у тебя худо не будет. С тобой не может быть худо. Да и Лида, раз уж взяла, то своего не упустит. Иногда увижу вас вместе, отойду. Завидую. Такой ты ухоженный, Борька, наглаженный, чистый. Она кандидат?

— Защищает.

— Удивительно! Лидка — кандидат наук. Везде преуспела. Что ж ты-то отстал?

Он усмехнулся.

— Меня наука не тянет. Я — практик.

— И тут она на высоте. Понимает, что ты без людей не сможешь. Как это раньше мы ее недооценивали?

Она поглядела на Кулябкина.

— А врач, Борька, ты удивительный! Я слышала, как ты с папой... — она помолчала. — Никто не мог, ни один человек не мог, а ты взялся... Да и лекарство, оказывается, есть, это же надо! А ведь ему выписали морфий. Как же так, Борька?

— Я видел, — кивнул он. — Рецепт лежал на твоих тетрадах.

— Да, да, — сказала она. — Они сложили руки, когда, оказывается, можно было бороться. Это же преступно, Боря.

— Что ты говоришь, Таня, — сказал он. — Ты же сама меня просила...

— Как?

Ужас застыл в ее глазах.

— Как? Но этого нельзя было делать на час! Ты же обещал ему лекарство. Копустрин. Он же тебе поверил.

Кулябкин сказал:

— Лекарство ты получишь сегодня.

— Получу?

— Таня, — Борис Борисович взял ее за руку. — Постарайся быть сильной... Теперь вся надежда на тебя, на твое умение держаться... Придешь ко мне на работу, и мы позвоним Ивану Владимировичу, скажем, что лекарство... копустрин...

— Но его же нету?

— Копустрина нет, — сказал Кулябкин. — Но я дам тебе новокаин со стертыми этикетками.

— Боря! Это же не поможет! — почти крикнула она.

— Не поможет, — согласился Кулябкин. — Вводить будешь с морфием.

Она заплакала, Кулябкин шагнул к ней, но Таня его остановила.

— Нет, нет, не нужно, не нужно... Я сейчас... сейчас... Это нервы. Отец прав: чудес не бывает...

Она вытерла слезы

— Будь мужественной, Таня, — сказал Кулябкин. — Это даст ему надежду, даст силы. Я буду приходить...

— Спасибо, — едва слышно сказала она. — Спасибо, Боря. Мы знали, что ты нам поможешь.

Он торопился домой, а сам невольно думал то об Иване Владимировиче, то о Тане. «Нелепо-то как... Носил Антипову записки, а он хорошо знал, чего это мне стоило».

Он вздохнул тяжело — сердце щемило — и махнул рукой, прогоняя ненужные мысли. «Нет, — подумал Кулябкин, — к смерти привыкнуть невозможно...»

Бессмысленно поглядел на какую-то маленькую старушку с авоськой, вслух сказал: «К черту! К черту! Помогаешь тем, кто и без тебя бы выздоровел, а вот тут... Ничего совершенно, хоть вой. Бухгалтер, регистратор несчастный, поп, а не врач».

Старушка остановилась, удивленная.

Кулябкин растер ноющую грудь ладонью, пошел быстрее.

Он механически нажал на кнопку звонка и только тогда вспомнил, что ключи у него в кармане.

— А где картошка? — спросила Лида.

Он не понял жену.

— Какая... картошка?

— Та самая, за которой ты ушел полтора часа назад.

Тревожное подозрение промелькнуло в ее глазах.

— Только не говори, что ты простоял в очереди и тебе не досталось...

— Я не был в магазине, — сказал Кулябкин. — Я был у Тани. Почему ты не передала, что она приходила?

— Господи! — тихо сказала Лида. — Ну что за наваждение такое! Неужели опять она? Боря, — почти взмолилась Лида, — подумай, у тебя ребенок. Тебя достаточно поманить пальцем, и ты понесешься к ней снова...

Он резко сказал:

— У Тани болен отец.

— Болен отец, — повторила Лида. — Но разве нет «неотложки»? Участковых врачей? У тебя тоже больна Юлька, разве Таню интересует это?

Лида вдруг заплакала, увидев его мрачный, насупленный взгляд.

— Я даже в этом ей не верю. Она способна на все, если ей станет нужно...

— О чем ты?

— Я ее не люблю, ненавижу... Я ее боюсь... — сквозь слезы повторяла она.

— Глупо, — сказал Кулябкин. — Страшно глупо, Лида. Я тебя не понимаю.

— Нет, — говорила она. — Понимаешь. Ты очень хорошо понимаешь меня, Боря.

Он повесил наконец плащ.

— Ну пускай так, пускай действительно болен... Но

разве ты можешь больше других? Нет, нет, что-то у нее еще, что-то ей от тебя нужно.

Она внезапно спросила:

— Что, разводится с Антиповым?

Он промолчал.

— Ну да, конечно... Я так и знала. Я поняла, как только открыла ей двери.

— Но это же подло! — крикнул он. — У Тани погибает отец. Я только что видел обреченного человека.

— И ты собираешься помочь... обреченному? — будто улыбая, спросила она.

— Да! — в запальчивости крикнул Кулябкин.

— Почему ты меня обманываешь? — всхлипнула Лида. — Разве я мало делаю для тебя и для Юльки? Разрываюсь между домом и работой...

Он прошел в комнату, присел на край Юлькиной кровати, повернул к себе рисунок. Грузовик с красным крестом и надписью «скорая помощь» вез капусту.

— Помнишь, — сказала Юлька, — давным-давно, может, завтра, ты мне обещал сказку про вежливого удава?

— Это грустная сказка. — Кулябкин покачал головой. — И я расскажу ее тебе, когда ты станешь побольше.

— Но я уже большая.

— Недостаточно.

Лида подошла сзади, обняла за плечи, прижалась щекой к его щеке.

— Первый час, — ласково сказала она. — Ну, не обижайся... Я же так... я не хотела...

Он услышал, как она открывает дверцу шкафа, оглянулся. Лида доставала его черный костюм.

— Зачем? — спросил он.

— У тебя конференция... Будет профессор... Я хочу, чтобы ты выглядел красивым.

— Но мне будет неудобно работать.

— Неудобно? — возразила она. — А разве удобнее — неряхой?

Положила костюм на кровать, потом белую рубашку и галстук и вышла.

Юлька дотянулась до его коленки, погладила.

— Папа, — попросила она. — Послушайся маму. Надень галстук и туфли.

— Почему?

— Если ты не наденешь, то мама обидится и будет заставлять меня есть кашу.

Он рассмеялся.

— Это причина, — сказал Кулябкин. — Ладно, наде-
ну. Раз дело обстоит так серьезно.

— Очень серьезно, — вздохнула Юлька.

Он поправил перед зеркалом галстук, застегнул пид-
жак и подошел к Юльке.

— Красивый, — похвалила она.

Он улыбнулся.

— Как ты думаешь, — спросила Юлька, — еще не по-
ра рассказывать сказку? Ну хоть сколько, ну самое-са-
мое...

— Все тебе мало, — пожурела ее Лида и погля-
дела на мужа. — Вот теперь другое дело! Настоящий
ученый!

— Душит немного, — пожаловался Кулябкин и при-
спустил галстук.

— Никоим образом! — Она подтянула галстук на ме-
сто, обняла Бориса Борисовича и попросила: — Завтра
сразу домой. Мне к девяти на работу. Юлька будет
одна.

— Чуть подождет, — сказал Кулябкин. — Я должен
зайти к Денисовым, сделать укол.

Ее лицо будто постарело.

— Нет... Я тебя прошу... Ты же знаешь, мне непри-
ятно... Может быть, я... Давай я к ним зайду, раз нуж-
но. Я тоже могу ввести лекарство.

— Но Денисов ждет меня, — попытался объяснить
Борис Борисович. — Я там нужен...

Она повернулась, резко хлопнула дверью.

— Папа, — напомнила Юлька. — Ты же хотел...

Он поглядел на часы и начал:

— Один кролик...

— Твой знакомый?

— Да. Вместе учились.

— Так.

— Один кролик встретил в лесу вежливого удава и
пригласил его к себе в гости. Это был красивый удав.

Стройный, гибкий, в пенсне и галстук, который так и назывался: удавка.

Юлька рассмеялась.

— ...И вот в назначенное время удав приполз на ужин, а на столе уже стоят три тарелки и в каждой — морковка.

— Три? — переспросила Юлька. — Разве еще гости?

— Да, — кивнул Кулябкин. — Ждали доктора.

— Тебя.

— В том-то и дело, — вздохнул Кулябкин. — Они не знали, что я дежурю.

Он помолчал.

— Итак, ждут они доктора, а его все нет. «Я очень извиняюсь, — говорит удав, — но мне хотелось бы что-нибудь съесть. Я совершенно не могу переносить голод». — «А вот берите морковку, — предлагает кролик, — у меня ее много». — «Но я ем только мясо», — вежливо и достойно объясняет удав. Кролик ужасно огорчился. «У меня нет ни кусочка, — воскликнул кролик. — Что же нам делать?»

Лида вошла в комнату, положила на стул портфель Бориса Борисовича.

— Здесь завтрак.

— Спасибо, — сказал Кулябкин.

Он поднялся и, прихрамывая, пошел к дверям.

— Туфли жмут, — пожаловался он Юльке. — Не знаю, сумею ли в них работать.

— А сказку? Ты должен досказать сказку.

Он покачал головой.

— «Я очень извиняюсь, — сказал удав, — но тогда я вынужден буду съесть вас». И он тут же проглотил кролика. «Большое спасибо, — поблагодарил удав. — Все было удивительно вкусно и мило. А главное, культурно». Он вытер салфеткой рот, поправил удавку и вышел.

— А почему же он вежливый? — после некоторого молчания спросила Юлька.

— Вежливый потому, что всегда говорил «спасибо», «пожалуйста» и вовремя приходил в гости.

— Ага, — не сразу кивнула Юлька.

Она поглядела на Кулябкина, пожала плечами и со вздохом сказала:

— Все равно ничего не понимаю.

Борис Борисович ехал в автобусе на работу, глядел в окно.

Погода наконец разгулялась, вышло яркое солнце, и город сразу помолодел — и дома, и люди.

На остановке гоготали студенты — может, спихнули главный экзамен, кто знает, — и Кулябкин, заглядевшись на них, чуть не проехал.

Он выскочил, когда двери уже закрывались.

На переходе горел «красный».

Борис Борисович постоял вместе с толпой, поглядел на часы и повернул к магазину «Игрушки».

Через минуту он снова был на переходе с плоской коробкой в руке.

Мимо прошла «скорая». Красивый молодой доктор Сысоев, в лихо сдвинутой белой пилотке, приветливо помахал ему рукой.

Борис Борисович ответил.

Во дворе стояло несколько машин «скорой» и «москвич» без красного креста — видно, на станцию приехало начальство.

Борис Борисович вошел в вестибюль, поздоровался с диспетчером, показал на закрытую дверь кабинета заведующего.

— Началось?

— Да, — сказала диспетчер. — Там пока выступает Васильев, но вас спрашивали дважды.

— Не мог, — Кулябкин развел руками. — Позвали к больному.

— Жуткая у нас профессия, — сказал Сысоев. Он уже сидел за небольшим письменным столом, кончал историю болезни. — Мало того, что на работе гоняют в хвост и в гриву, так еще и дома.

Он поднял голову и воскликнул:

— Господи! Боря! Да что у тебя, сольный концерт сегодня?

— Все из-за тебя, — улыбнулся Кулябкин. — Настроил Лиду. «Доклад! Профессор!» Вот она и пристала... А доклад-то на две минуты.

Сысоев расхохотался.

— Дело не во времени, — утешил он. — Эйнштейн всю теорию относительности уложил в школьную тетрадку.

— Я не Эйнштейн, — сказал Кулябкин.

— Первый раз слышу, — серьезно ответил Сысоев.

Кулябкин потоптался на месте:

— Не знаю, как буду работать. Туфли жмут.

— Зато красиво! Профессор тебя оценит.

— Иди ты... — беззлобно сказал Кулябкин.

Врачи сидели вдоль стенок со скупающими, безразличными лицами и грустно смотрели на маленького, лысого, похожего на кактус профессора Васильева. Он монотонно говорил что-то свое. «Бедные, — подумал Борис Борисович, глазами здороваясь со знакомыми и приваливаясь к дверному косяку. — Заставили прийти после ночного дежурства. Им сейчас нет до этого никакого дела». Он уловил все же слово «инструкция», вздохнул и тут же спрятал руки за спину: профессор и несколько врачей разглядывали его яркую коробку, на которой были нарисованы хохочущие гномы.

— Дадим слово опоздавшему, — с осуждением сказал Васильев. — Хорошо, что у меня было небольшое сообщение, а то вас пришлось бы ждать.

— Меня вызвали к больному, — объяснил Кулябкин. — Так уж получилось.

Хромая он подошел к свободному стулу, огляделся, поставил коробку с гномами к стене.

Врачи заулыбались.

— А можно сидя? — попросил Кулябкин. — У меня жмут туфли.

— Как вам угодно, — сказал Васильев нетерпеливо и поглядел на часы.

— Сейчас, — сказал Кулябкин. Он достал из портфеля кардиограммы, поднялся и положил их перед профессором. — Тут четыре случая, — разъяснил он. — Мне непонятных.

— Мы ждем вашего доклада, сообщения, чтобы вместе разобраться, а вы... — Васильев развел руками и поглядел на застывшего заведующего — тому, видно, было неловко за своего врача.

— Что же я могу сделать? — сказал Кулябкин. — Думаю, и вам тут придется поломать голову... Я был поражен, когда это впервые увидел...

Ироническая улыбка вспыхнула на лице Васильева и погасла, вроде бы стерлась.

— И вы утверждаете, — через минуту спросил он, все еще разглядывая кардиограммы, — что это снято у одного и того же больного?

— В том-то и дело, — развел руками Кулябкин. — По две пленки у каждого, до и после кислорода. С интервалом в один час.

— Но этого быть не может! — воскликнул Васильев, и Борис Борисовичу показалось, что профессор бледнеет. — На всех первых пленках есть инфаркт, а на вторых — нету. Выходит, что у вас исчезал зубец, который считается необратимым?

— Вот это и меня смущает, — согласился Кулябкин. — Но раз он все же исчезает, значит, те неправы.

— Кто «те»? — едва не крикнул Васильев. — «Те» — это все.

— Все, — опять согласился Кулябкин. — Все неправы. Васильев встал из-за стола, прошелся.

— Тогда расскажите, что вы применяли. Чем лечили этих больных?

— Ничего нового. — Борис Борисович пожал плечами. — Вернее, что и всегда. Только, может, давали больше кислорода, до тысячи литров. Происходило это так: приезжали, снимали кардиограмму, давали кислород в течение часа, а потом снова снимали кардиограмму.

— Просто и неправдоподобно, — сказал Васильев. — Слишком просто для такого открытия. Или вы что-то еще забыли.

Кулябкин подумал.

— Разве одно, — сказал он. — Мы приезжали к больным в первые минуты инфаркта, в первые полчаса. Возможно, омертвление сердечной мышцы наступает позже. — Он подумал. — Сегодняшние инфарктные бригады видят этих больных в более поздние сроки... А мы имеем кардиограф на линейной машине... Вот и все, — сказал Кулябкин. — Другого я ничего пока не мог придумать.

— Мистика!

— Да уж, — согласился Кулябкин. — Я-то понимал, что мне сразу не поверят.

Васильев поглядел на ленту, потом махнул врачам.

Заскрипели стулья. Кулябкин схватил «гномов» и тоже стал придвигать стул, но места около профессора уже не было.

Он походил со стулом по кабинету и поставил его позади всех.

— Мистика! — повторил Васильев. — Значит, — сказал он, — если приблизить кардиографическую службу

к больному, то можно иногда избежать омертвления сердечной мышцы. Открытие, открытие... Такого еще никому не удавалось...

Он поднял глаза, медленно оглядел кабинет.

— А где же Кулябкин?

Борис Борисович вздрогнул.

— Я здесь, — сказал он из-за стульев.

— Борисыч, — уборщица Анна Тимофеевна поплевала на горячий утюг. — Я тебе халатик готовлю. Будешь еще красивше.

Она рассмеялась своей шутке и тут же припечатала утюгом, как вальком, по неглаженному.

— Надевай!

Он стоял у окна. Только что из гаража подъехала машина, водитель Володя Корзунков елозил по стеклу тряпкой, наводил марафет. Юраша и Верочка пронесли через двор баллоны с кислородом, уложили в машину и пошли назад, мирно о чем-то беседуя.

«Бригада сегодня что надо, — подумал Кулябкин. — И шофер ничего, при необходимости и сто выжмет...»

Он залез в рукава халата, повернулся к Анне Тимофеевне.

Она полюбовалась на Кулябкина, сказала вроде сама себе:

— Хорош! Копия — мой покойник, когда был еще на Доске почета.

— Вы, кажется, со мной сегодня? — спросил у фельдшеров Кулябкин.

— С вами.

Юраша оторвал взгляд от кардиографа.

— А вы на уровне, Борис Борисыч.

Верочка повернулась к нему, одобрительно улыбнулась.

— Вам очень черное с белым идет.

— Туфли жмут, — пожаловался Кулябкин. — Надел неразношенные. У тебя какой размер?

— Тридцать девятый.

— Жаль. Малы будут. Я бы поменялся.

Он хотел идти, но Юраша спросил:

— А что, из газеты придут или иностранцы?

— Почему ты решил?
— Вид у вас необычный.
— Нет, никого не будет. Это я так.
— Жаль, — вздохнул Юраша. — А я уж подумал: в газету попадем. Что ни говорите — героический труд.
— Зачем тебе в газету? — удивилась Верочка.
— Как зачем? — переспросил Юраша. — Через два месяца в институт, а это как бы рекомендация...
— Из молодых, да ранний, — сказала Верочка.
— А чего хорошего, что ты поздняя. Мужа удержать и то не могла...
— Ду-рак! — отрезала Верочка.
— А это мы еще поглядим в августе.
— Так будешь дурак с дипломом.
— Это уже почетнее, — сказал Юраша. — По крайней мере смогу такими умными, как ты, командовать.

Верочка подбросила кубик, приподняла глиняного гномика и отсчитала четыре клетки.

— Тринадцать?
— Гномик попадает в мышиную норку, — прочел Кулябкин, — и начинает игру сначала.

Он откинулся на спинку стула и счастливо захохотал.

— Прекрасная игра! — сказал он. — Юлька будет в восторге.

— Вам везет, — сказала Верочка, возвращая гномика к началу доски.

— Зато тебе в любви повезет, — утешил Кулябкин.

— Вам что, не везло? — в шутку спросила она.

— Не везло, не везло, а потом вдруг и повезло, — засмеялся он.

— Это бывает, — сказала Верочка.

Она вдруг спросила:

— А вы кого-то любили, да?

— Любил, — признался он. — Да как-то робко любил, Верочка.

— Это на вас похоже, — сказала она. — А вот я... я бы своего не упустила...

— Что-то давно вызовов нет... — сказал Кулябкин. — Скоро четыре.

— Плюньте через левое плечо, — закричала она. — А то ночь будет адская!

Сч подвинул кубик, отсчитал клетки и опять заглянул в правила.

— Улитка ползет очень медленно, гномик пропускает четыре хода.

Верочка захлопала в ладоши и тут же прикрыла игру крышкой. В комнату вошел Сысоев.

— Маэстро! — сказал он, усаживаясь рядом с Кулябкиным. — Ты хоть сам-то понимаешь, что доложил?

— Понимаю, — сказал Кулябкин.

— Нет, — Сысоев покачал головой. — Ты не понимаешь! Ты просто не в состоянии этого понять! Слушай и записывай: ты напоролся на жилу! На золотую жилу. И здесь не только кандидатская, здесь докторская, если не лениться с экспериментом. Ты хоть следил за лицом Васильева? Старый болван, а все сразу понял. Нюх при склерозе не уменьшается, хотя с головой и хуже...

— Зачем ты так, — нахмурился Кулябкин. — Я не люблю. А статью об этих случаях я напишу... ты же слышал.

— Статью! — Сысоев воздел руки к небу. — Какую статью?! Несколько случаев из практики? Четыре страницы текста? Ты опупел, что ли? — Он подтащил ногой стул, сел против Кулябкина. — Борька, не будь дураком, включайся сразу в работу, иначе возьмутся другие, такими вещами не бросаются...

Он передохнул.

— А потом тут нужен научный подход. Статистическая достоверность, новые наблюдения... Три года, всего три года, если ты хочешь вырваться отсюда, стать человеком, уйти со своей таратайки...

— Но я не хочу тратить три года на то, что уже сделано... Мне будет неинтересно. Пускай другие...

— Подумай, что говоришь! — упрекнул Сысоев. — Может, это лучшая мысль в твоей жизни. Твой Клондайк! А потом, раз уж мысль высказана, она все равно не погибнет. Подхватят. Оторвут с руками, а о тебе если и вспомнят, то мимоходом, мол, нечто похожее видел врач «скорой помощи» Кулябкин. Правда, то, что он видел, к науке никакого отношения не имело.

— Я же сказал, — хмуро повторил Кулябкин, — что статью напишу, а дальше пусть разбираются другие. Я практический врач, и статистическая разработка мне неинтересна. Да и некогда...

Сысоев всплеснул руками.

— Я понял: ты — сумасшедший. Честное слово, сумасшедший. У тебя есть возможность сразу хорошо заявить о себе. Нельзя же век куковать на «скорой». — Он молитвенно сложил ладони: — Пресвятая дева! Дай мне отработать эти три года! . .

Он неожиданно обнял Кулябкина и весело сказал:

— Мне бы на такую мысль напороться, я бы свое не упустил. Даже со «скорой» бы не ушел, пока материал не собрал. Такая штука кое-чего стоит.

— Ну так занимайся, — предложил Кулябкин.

— Нет, — сказал Сысоев. — Я человек благородный и чужих открытий не беру. Я, Боря, хочу сам. Это, возможно, мой единственный маленький недостаток. Как-то неудобно всю жизнь потом сознавать, что ты снял чужие пенки, это меня будет угнетать, Боря. — Он засмеялся. — Но ты не волнуйся, найдутся обязательно «изобретатели» твоего открытия. И тогда ты начнешь кусать локти, говорить о человеческом неблагородстве. . .

Он прошелся по ординаторской, высоко и торжественно поднял правую руку.

— Я понял, Боря, — воскликнул Сысоев. — Отсутствие честолубия, как и его излишки, самый страшный человеческий недостаток. Ты, Боря, обязательно умрешь от скромности.

Он сложил руки, воздел глаза к небу и пропел:

— А-а-минь!

— А гномы живые? — спрашивала Бориса Борисовича Юлька. — А почему глиняные? А можно по телефону? Ой, — закричала она, — мама просит трубку. . .

— Ну, как доклад? — спросила Лида. — Был Васильев?

— Был, — подтвердил Кулябкин. — Сказал, неплохо.

— Поздравляю, — сказала Лида. — Очень, очень за тебя рада. Я даже не видела, когда ты занимался. . . — Она попросила: — Только не задерживайся утром. Я буду ждать. Не хочется оставлять Юльку одну.

— Но я обещал зайти к Тане, — снова объяснял он. Лида молчала.

— Это мне назло? — спросила она тихо. — Ведь у тебя тоже болен ребенок.

— Выслушай меня, — сказал Кулябкин. — У Ивана

Владимировича рак. Он безнадежен. Я обязан, я должен быть там...

Он удивленно поглядел на гудящую трубку и положил ее на рычаг.

— ...А я вот как считаю, — с вызовом сказала Верочка: — Если уж отношения, так на равных. Если я тебя уважаю, то и ты меня уважай. Чтобы без этого самого, без эгоизма.

— Надо бы сходить к диспетчеру, — перебил ее Кулябкин. — Взять рецепты.

— У меня есть, — отмахнулась Верочка. — А вот я знаете как поступила? Он еще только начинал куражиться, я ему тут же дверь настежь. Чеши, говорю, и чтобы духу твоего рядом не было. Я вам, Борис Борисович, вот что... с полным авторитетом: без мужчины, конечно, не жизнь, но и с таким, как мой, тоже не праздник. Еще подумаешь, когда хуже.

Кулябкин поднял кубик.

— Гномик испугался жука, — сказал он, — и отступил на пять клеток... Не каждый может начинать игру с первой клетки, когда уже столько пройдено.

— По-разному бывает, — Верочка подкинула кубик. Он упал на край стола, перевернулся и покатился по полу. — Шесть! — сказала она и заглянула в правила. — Гномик засыпает крепким сном и должен ждать, когда все игроки перегонят его. Ну вот, — разочарованно сказала она.

Хотела что-то прибавить, но по селектору объявили вызов.

— Поехали, — с некоторым облегчением сказал он. — А я подумал: давно что-то не было...

— У тебя какой размер туфель? — Кулябкин повернулся к Володе.

— Сорок первый.

— Да ну? — обрадовался он. — И у меня. Может, обменяемся? Я в своих работать не могу, неразношенные. А тебе все равно сидеть.

— Чего же надели? Думать нужно было.

— Доклад мой на конференции, — он отчего-то показал на галстук, — вот жена и настояла... Неудобно, говорит, в старом...

— А если мне не подойдут? — спросил Володя.
— Тогда уж я потерплю, — пообещал Кулябкин.
— Ладно, — сказал Володя. — Меряйте. Только без этого: снял — надел. До утра, если в порядке...
— О чем говорить, — пообещал Кулябкин.

Он взял стоптанные, покривившиеся туфли, надел их, пошевелил пальцами и блаженно вытянулся.

— Другой разговор.
— Можем совсем махнуть, — предложил Володя.
— Я бы рад, — засмеялся Кулябкин, — только жена не поймет.

Он поглядел в ветровое стекло, кивнул в сторону дома:
— Заезжай здесь. Там чего-то роют, не проехать.

Они медленно поднимались по лестнице: Борис Борисович впереди, за ним Верочка и Юраша. Родственник больного здорово отстал, в нижних пролетах слышались его шаги.

— Ух, вышотища! — сказала Верочка, приваливаясь к стенке. — Как девятый, так обязательно лифт не работает. Руки-ноги за это пообрывать управдому...

— Поменьше булки есть нужно, — посоветовал Юраша. — А то всю прыгучесть потеряла.

Верочка что-то хотела сказать, но Борис Борисович предостерегающе покашлял: болтливости и несобранности он не любил.

— Еще чуть-чуть, — сказал он, забирая у Верочки врачебную сумку. — Три этажа. Не задерживайтесь.

Кулябкин снял кепку, хотел положить ее на тумбочку, но передумал: вышитая, накрахмаленная дорожка показалась ему неприкосновенной. Он огляделся и закинул кепку на вешалку.

Верочка и Юраша стояли сзади, не хотели проходить раньше доктора.

На лестнице послышалось громкое дыхание, в коридор вошел мужчина.

— Извините, товарищи, — устало сказал он. — Сам сердечник, быстрее не могу.

Одет он был странно. На ногах теплые дамские тапочки с помпонами. Ворóтник пиджака поднят на манер кителя, запахнут. У шеи пробивался край шерстяного платка.

— Разве вы к себе вызывали? — спросил Юраша, оглядывая мужчину.

— Нет еще. Пока не к себе, к родной тетке. — Он медлил, хотел что-то прибавить, но не решался. — Из деревни приехала, — извиняющимся тоном произнес он, — так что не знаю, как вы на это посмотрите, не прописана у меня.

— При чем тут прописка? — удивился Борис Борисович.

Племянник повеселел, повернулся в сторону кухни.

— Дуся! — закричал он. — Оказывается, можно и к непрописанным.

— Ну и хорошо, — отозвалась та, кого он назвал Дусей.

Она вышла в коридор, крупная, басовитая, с черной полоской усов на верхней губе, расстелила на полу тряпку.

Борис Борисович удивленно поглядел на блестящий паркет, вытер ноги.

В столовой оказалось по-музейному чисто.

Он быстрее прошел к следующей двери, невольно слушая, как скрипит под ногами пол, звенит хрусталь в серванте.

Он вздохнул, оказавшись в более темной спальне, — здесь был даже некоторый беспорядок.

За изголовьем широкой деревянной кровати громоздились мешки то ли с яблоками, то ли с картошкой. Большая лежала на раскладушке.

— Тетя Нюся, не спишь? — спросил племянник.

На Бориса Борисовича смотрела не старая еще женщина с бледным, точно пергаментным, цветом лица. Глаза у тети Нюси стеклянно поблескивали и были почти неподвижны, как у игрушки, и вот этот-то блеск сразу насторожил Бориса Борисовича: он выдавал сильную боль.

— Зачем людей потревожил? — слабо сказала тетя Нюся.

Борис Борисович присел на край раскладушки.

— Болит что-нибудь? — спросил он.

Пульс был слабый, едва сосчитывался.

— Болит-то болит, — призналась она, — только, может, поболит да перестанет. Чего по телефонам звонить.

Верочка и Юраша остановились за спиной Бориса Борисовича, ждали указаний.

Племянник сидел в уголке, поджав ноги, безразлично глядел в пол.

— Митя? — будто бы проснулась тетя Нюся. — Ты бы яблочками всех угостил...

— Ничего не нужно, — сказал Кулябкин.

— Свои же, непокупные. Еще зимние.

— Потом, потом, — успокоил ее Юраша.

— Вы лучше скажите, болит что? Сердце? — спросил Кулябкин.

Она пожала плечами и как-то неуверенно показала рукой на живот.

— Теперь уже все болит. — И прибавила: — Почему же вы яблочков не хотите?

Борис Борисович улыбнулся ей одними глазами и стал осторожно поднимать фланелевую рубашу.

— Я вам нужен, товарищи? — спросил племянник.

— Нет.

— Тогда я в другой комнате буду, одну минуточку полежу. — Он поднялся. — Телефон на улице, лифта нет, пришлось побегать. А здоровьишко никуда.

— Что у вас со здоровьем? — поинтересовалась Верочка. — Вы же совсем молодой.

— Молодой, да гнилой. Чего только у меня нету, — он даже рукой махнул. — Давление, центральный нерв раскачан, ремонта требует. Все швы видать.

Он прошел по комнате на цыпочках, осторожно прикрыл дверь.

Юраша перешел на его место, достал из кармана халата учебник физики, стал читать.

Борис Борисович положил руку на живот тете Нюсе и слегка придавил его пальцами.

Пот градом покатил по ее вискам, крупные капли стекали на подушку, озерцами заблестели у глазниц. Мученическая улыбка запеклась на ее лице.

— У вас племянник сапожничают, что ли? — поинтересовался Юраша. — Чего это у него «все швы видать»?

— Нет, — отозвалась тетя Нюся. — Он в пошивочной, дилектор.

— А-а-а, — удовлетворился Юраша.

Борис Борисович надавил сильнее, отмечая про себя, как суживаются от боли зрачки тети Нюси, и внезапно отдернул руку.

Острая, как нож, боль ударила вверх, в диафрагму, и тетя Нюся закричала от неожиданности.

В приоткрытую дверь заглянула Дуся, покачала головой, исчезла.

— Прободение? — Юраша запихнул учебник в карман, подошел к Борису Борисовичу.

— Похоже.

— Дайте я.

Борис Борисович посмотрел на больную: в ее глазах было полное смирение и готовность.

— Нет, — сказал он решительно. — Хватит одного.

— Ну ладно, — безразлично сказал Юраша. — Я только так.

В трельяжном зеркале за изголовьем тети Нюси была видна вся комната. Юраша стоял у горки, разглядывал портреты в тяжелых каменных рамках. На одном была Дуся, худее, чем сейчас, глаза озорные, губы бантиком, в белом колпаке и халате. Внизу виднелись черные верхушки нарисованных букв, но слова прочесть было невозможно.

Юраша огляделся и осторожно, двумя пальцами, начал приподнимать карточку.

— «Лучший зоотехник», — прочел он с удивлением.

— Сходи-ка за носилками, — приказал ему Борис Борисович. — Госпитализировать будем.

Тетя Нюся перевела взгляд на Кулябкина, промолчала. Это получилось вроде согласия с ее стороны, и Кулябкин пошел в другую комнату предупредить родственников.

Володя Корзунков сидел на скамеечке около дома, а по обем сторонам от него разместились две пожилые дворничихи в белых фартуках, чем-то похожие на пингвинов, и с огромным интересом ловили каждое его слово.

— Он вроде бы шупленький такой, а в работе бывает зверь, — говорил Володя про Кулябкина. — Я, когда в его смену заступаю, всегда наперед могу сказать: дело будет.

— Какое дело? — переспросила та, что сидела справа.

— Разное, — сказал Володя, как само собой разумеющееся. — Может оживить, а может и не оживить, но уж попотеть придется.

— Как это «оживить»? — с недоверием переспросила первая. — Из мертвых, что ли?

— Ага, — сказал Володя очень спокойно, — клиническая смерть. И тут, я тебе скажу, главное — не растеряться, главное — чтобы все тебе в рот смотрели и в нужном направлении двигались. Дефибриллятор требует. Значит, дай ему дефибриллятор через секунду, шесть тысяч вольт тока пропусти через сердце.

— Шесть тысяч!

— И не меньше. Чтобы сильнее любой смерти было, чтобы покойник умирать передумал, вот какой должен быть ток.

Дворничихи поглядели друг на друга.

— Да такого и тока-то нет, — сказала она. — Врешь, наверно...

Она приподнялась и крикнула проходящему мимо мужичку в ватной фуфайке:

— Ваня! Шесть тысяч ток бывает?

— Зачем тебе? — спросил Ваня оторопело.

— Для оживления организма, — дворничиха пальцем показала на Володю, объяснила все.

— Нет, — уверенно сказал Ваня. — Врет он.

— Лапоть! — обиделся Володя. — Пошли, я тебе шкалу покажу.

Он встал, чтобы идти к машине, и тут же увидел Юрашу. Фельдшер не спеша подошел к «рафу», выкатил носилки через заднюю дверь.

— А он говорит, нет тока шесть тысяч вольт, — обиженно сказал Володя.

Юраша с презрением скосил взгляд на мужчину.

— Да если и есть такой ток, — стал защищаться Ваня, — то никакой человек его не выдержит. Тут и двести двадцать трахнет, любую мать вспомнишь.

— Выдержишь, — спокойно сказал Юраша. — Захочешь жить — выдержишь. Да еще спасибо говорить будешь...

Он взвалил на себя носилки и пошел назад, даже не взглянув больше ни на мужчину в ватнике, ни на дворничих.

Племянник тети Нюси лежал в столовой на диване, дремал. Борис Борисович постоял над ним в нерешительности, тронул за локоть.

— Ночь спал плохо, — стал оправдываться племянник. — Она все ходила. Засну на минутку и просыпаюсь.

— Что же тогда «скорую» не вызвали? — упрекнула Верочка.

— Так ночь... — как само собой разумеющееся ответил племянник. — А днем она все уговаривала, что само пройдет.

Борис Борисович что-то хотел сказать, но передумал.

— В больницу придется, — холодно сообщил он.

— В больницу? — удивился племянник и тут же сказал: — Что ж, нужно так нужно. — Он заинтересовался: — А что, серьезное у нее?

— Очень. Придется оперировать.

— Надо же! Вчера еще совершенно была здоровая.

— Всегда так.

— Вот и я болею, — сказал племянник скорее себе, чем Кулябкину. — Сорок четыре, а здоровья нет.

Он поглядел на Бориса Борисовича, попросил:

— Доктор, а нельзя ли мне смерить давление?

Кулябкин хотел отказать, но племянник смотрел на него с такой тоской, что Борис Борисович невольно согласился.

Он принес аппарат, наложил манжетку.

— Нормальное.

— Надо же, — удивился племянник, — а я думал, теперь подскочит.

Вошла Дуся, осмотрела полы, нашла все же след от ботинок, стала елозить тряпкой.

— А у тети Нюси серьезное заболевание... — осторожно, точно боясь испугать, начал супруг.

— Подумайте! — Дуся приложила ладонь к щеке. — Да она только что здорова была, по дому помогала.

Борис Борисович не ответил. Он хотел вернуться в спальню, но Дуся спросила:

— И надолго, как вы думаете, болезнь?

— Месяца на полтора.

Глаза Дуси испуганно округлились.

— В больницу берут, — с грустью сказал племянник. — За носилками пошли.

— Так что же у нее: сердце или другое? — с сочувствием спросила Дуся.

— Другое, — резко сказал Борис Борисович.

Тетя Нюся лежала на спине, как прежде, и неподвижно глядела в потолок. Верхний свет был потушен, и теперь ее лицо освещало только настенное бра.

Свет был слабый, и оттого, что на половину лица падал более яркий луч, а лоб и глаза оставались в тени, впечатление было устрашающим, точно они не заметили и как-то проморгали смерть.

Борис Борисович подошел ближе, испытывая жуткий, невольный страх, наклонился. Он так и не мог понять: дышит она или нет.

— Яблочки-то не забудьте, — напомнила тетя Нюся.

Вера стояла у стола, держа перед собой клочок не то обоев, не то оберточной бумаги.

— Можно вас?

Борис Борисович поглядел на часы — госпитализировать нужно было быстрее, а Юраша все не поднимался.

Он взял у Веры бумагу и долго разглядывал ее, повернув к свету.

На клочке оказались буквы, только они так скакали по строчке и имели такую причудливую форму, что он не мог сложить первое слово.

— За-ве-ща?..

Вера кивнула.

«Завещание», — понял он, ощущая внутренний холод.

Он снова приблизил бумагу и, щурясь и напрягая зрение, прочел остальное:

«Дуся и Митя что ба вы дружна жили. Нюся».

Борис Борисович положил бумагу назад и торопливо отступил.

— Везти нужно скорее, — шепнул он. — И главное, боль нельзя снимать, смажем картину.

В столовой наконец загрохотал носилками Юраша, позвал Верочку.

— Одеяло дайте, — командовала она.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Двери оказались широко раскрыты, и было слышно, как Дуся что-то ищет в диване, ворчит на мужа.

— Дуся! Дуся! — тетя Нюся даже приподнялась на

локтях. — Зачем одеяло? Постелят ватник, а сверху застегнут.

— Может, и правда? — поддержала Дуся. — Теперь почти лето, да и для больницы удобнее.

— Для больницы все равно, — сказала Вера.

— Мне-то не жалко, — объяснила Дуся. — Только и впрямь — ни к чему. Ищи потом. Ну, — прикрикнула она на мужа. — Чего вцепился, отпускай.

Хлопнула крышка дивана, и тут же тяжело заскрипели пружины, видно, племянник присел.

Передохнуть решили на четвертом. Тетя Нюся была не тяжелая, но пролеты на лестнице оказались настолько узкими, что каждый раз Юраша и Борис Борисович тихо, сквозь зубы, чертыхались.

Верочка успевала всюду. Она первая спускалась на пару ступенек, подхватывала носилки у Кулябкина, давала ему выйти из лестничного тупика.

— Передохните, — каждый раз настаивала она. — Хватит, Борис Борисыч.

Он упрямился, хотел пронести половину.

— Ничего, еще немного, — говорил он.

На шестом они все же здорово выдохлись и теперь, не сговариваясь, поставили носилки на пол.

— Ну как, тетя Нюся? — спросил Кулябкин, тяжело переводя дух и невольно встряхивая затекшими пальцами.

— Я бы и ногами могла, — сказала тетя Нюся.

— Лежите, лежите, — улыбнулся Кулябкин. — Мы тут начальники.

Краем глаза он невольно видел стоящих около племянника и его жену, но что-то будто бы мешало ему взглянуть на них прямо. Нет, это было не раздражение, не неприязнь — просто хотелось скорее расстаться с ними.

Он услышал, как Дуся сказала:

— Тетя Нюся, пожалуй, Мите дальше идти ни к чему.

— Да, да, идите.

Она выпростала из-под ватника руку.

Дуся наклонилась к ней, послышалось чмоканье.

— Давай быстрее поправляйся, — бодрящим голосом сказал племянник, — ты нам еще ух как пужна.

— Поправлюсь, поправлюсь, — пообещала тетя Нюся.

Борис Борисович присел, не сомневаясь, что и Юраша делает то же, поднял носилки.

— Чего тебе в больницу-то принести? Слатенького?

— Не нужно, ничего не нужно.

— Так хоть яблочков?

— И этого не хочу.

Племянник что-то гудел сверху. Тетя Нюся закрыла глаза: слов было не разобрать.

Борис Борисович пнул ногой выходную дверь, подождал, когда она перестанет качаться, вынес носилки на улицу.

Верочка и Володя перехватили ручки, колесики заскрипели по металлическим пазам.

Юраша иронически поглядел на Кулябкина.

— Ну и сродственнички, — сказал он.

Борис Борисович не ответил. Он внезапно вспомнил Таню, их разговор у лифта, ужас и страдание в ее глазах и тот вопрос, крик, боль: «Он тебе поверит, поверит...»

Юраша распахнул дверь, подождал, когда сядет Кулябкин, залез сам.

«Раф» тронулся.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Кулябкин у тети Нюси.

— Хорошо, — торопливо отозвалась она.

Машину подкинуло на ухабе, и тетя Нюся вскрикнула. Она отвернулась, но Борис Борисович успел заметить, как маленькая слезинка выкатилась из ее глаза.

А потом был приемный покой крупной больницы, место, чем-то напоминающее вокзал. Все здесь было так же: и прощание с родственниками («Только не простудись у окна!», «Пиши письма!», «Счастливо!»), и хождение по длинному, как перрон, коридору, и даже поездно-носилки, на которых фельдшеры и санитары увозят больных.

Борис Борисович подошел к столику, на котором стояла табличка «Только для «скорой», присел с краю и стал заполнять историю болезни.

Верочка встретила подругу, заговорила с ней, Борис Борисович улавливал обрывки фраз.

— Да ну его к дьяволу! — отмахивалась Вера.

— Как же, как же, — возражала подруга. — Парень у тебя, парень, отец ему нужен.

— Не было мужа, и этот не муж, — говорила Вера. — Воспитаю.

Юраша уже дважды поменял место, пересаживался с одного стула на другой, но физику ему читать не удавалось: всюду была толкотня и разговоры.

Веснушчатая девушка-фельдшер, главное лицо приемного покоя, отбирала у приехавших врачей направления, окидывала каждого критическим взглядом, задавала один и тот же вопрос:

— Родственники есть? Пусть подойдут с паспортом.

— Не помешаю? — около Кулябкина остановился Сысоев.

Борис Борисович подвинулся.

Сысоев присел рядом, вытащил историю болезни.

— Потрясающий фокус, — сказал он Кулябкину. — Работа, достойная Великого Эскулапа!

Борис Борисович поглядел на него. Сысоев откинул в сторону ручку, повернулся к Кулябкину, глаза его поблескивали веселым, радостным блеском.

— Приехали, понимаешь, на последние подвздохи. Дед, думаю, лет ста. Квартирка старинная, как он сам. Гравюры какие-то, передвижники всякие на стенках, Поленов, эскизы Репина, стол девять квадратных метров, можно целую семью поместить, — одним словом, какой-то титан мысли кончается. Поглядел на него, на бабушку, которая тут же суетится, и сразу, понимаешь, в такую вот веночку попал. А фельдшеры мои тоже вдохновились. Кислородиком его потчуют. А он все это скушал, глазки открыл, поглядел выразительно на меня и спрашивает: «Я разве заболел, доктор?»

Сысоев захохотал.

— ...И так, Борька, мне захотелось ему объяснить, что было с ним — совсем пустячок! — побывал он в преисподней, но мы его как-то вернули с половины пути, и вот теперь он, лежа в постельке, может продолжать любоваться своим Репиным.

— А сам небось рад, — сказал ему Кулябкин.

— Рад — не то, Боря, слово. Потому что спасли мы его или нет, это вопрос сложный, лучше говорить: пред-

ставление, или — точнее — представление, по техническим причинам переносится на другой день.

Сысоев замолчал, потому что к ним подошла старушка в черной кружевной шали.

— Ах, доктор, — плача говорила она. — Мне даже не верится, что он жив... Я вам так благодарна, так благодарна, доктор...

Сысоев выразительно поглядел на Кулябкина.

— Успокойтесь, — мягко и сочувствующе сказал он ей. — Теперь опасность много меньше. Да и в больнице прекрасные врачи.

— Спасибо, большущее вам спасибо... Я даже слов не могу нужных сказать...

— Зачем слова, — немного торжественно, сдерживая улыбку, сказал Сысоев.

— Да, конечно, — сказала старушка. — Понимаете, он, видно, перетрудился за последнее время, кончал книгу воспоминаний.

Она оглянувшись, увидела, что каталку, на которой лежал муж, повезли по коридору, торопливо спросила у Сысоева:

— Я хотела у вас узнать, как здесь с пропуском?

Он развел руками.

— Пока ваш супруг в палате наблюдения, пропуска, думаю, не будет. Туда нельзя проходить.

— Но, может быть, как-то? — виновато говорила старушка.

Сысоев вздохнул, повернулся к Кулябкину.

— Нельзя, а все равно хочется. Таков человек... — Его взгляд оживился, он снова повернулся к женщине, доброжелательно улыбнулся: — А вы скажите в проходной, что идете в морг. Да, да, — кивнул он, и его глаза стали удивительно наивными. — Всегда пропустят.

— Нет, — шепотом сказала старушка. — Так я не хочу.

— А иначе не выйдет, — сокрушенно сказал Сысоев.

Он опять взял ручку. Чернила подсохли. Сысоев уже несколько раз обводил одно и то же слово.

— Годы теряю на ерунду, — зло сказал он. — Как это меня раздражает. Смотраться бы отсюда скорее, смотреться...

— Страшный ты тип, — сказал Кулябкин и отвернулся.

— Не понравилась моя шуточка? — иронически произнес Сысоев. — А ведь подумай: дедушке девяносто! Девяно-сто! Пришло время, вот в чем дело. И все наши манипуляции — это всего-навсего спорт, глупая работа! Ты же сам это прекрасно видишь.

— Страшный ты тип, — повторил Кулябкин, — если сам в это веришь.

— Я? — переспросил Сысоев. — А во что же мне, прости, верить еще? Где другое? Вот ты считаешь — цинизм? А я двух пьяниц утром свез в вытрезвитель, ты бы на их битые хари поглядел — это не цинизм? — Он вздохнул. — Мимо зоопарка проезжали, и, знаешь, мне так захотелось заехать, уговорить служителя, чтобы он в клетке их подержал, рядом с обезьянами. Только обезьян стало жалко. За что? Они же не пьют, не матерятся, «скорую» к себе не требуют — вполне культурные существа.

Ручка опять не писала. Сысоев встряхнул ее над листком бумаги, оставил целую дорожку клякс и принялся что-то подчеркивать в истории болезни.

Юраша захлопнул дверцу «рафа».

— Пора бы поесть, — сказал Володя Кулябкину.

— Дали станцию.

— Ну и прекрасно! — Юраша просунул голову в кабину, оказался рядом с Борисом Борисовичем. — Сейчас пожарим пельмени. — Он поцокал языком, стараясь передать, как это будет вкусно. — Я их особым способом готовлю. Кладу сырыми на сковородку — и в масле. Пирожки выходят — пальчики оближете, Борис Борисыч.

Машина обогнула новое здание больницы, впереди притормозил сысоевский «раф». Какая-то женщина едва выскочила из-под колес. Тюк с одеждой выпал из ее рук, развалился на асфальте. Женщина опустилась на колени и, уже не обращая внимания на кулябкинскую «скорую», стала собирать вещи. Черная кружевная шаль сползла ей на глаза и мешала, женщина несколько раз отодвигала ее на лоб.

Сысоев выехал из больничных ворот, его водитель дал сирену.

— Есть хотят! — улыбнулся Володя и прибавил газ.

— Стой! — тихо сказал Кулябкин. — Да останови же!

— Что же мы, рыжие, Борис Борисыч? Нам тоже по-есть не вредно.

— Останови, — решительнее повторил Кулябкин и вдруг крикнул: — Человек же!

— Я его не давлю, вашего человека, — обиделся Володя. — А подвозить не имею права. Я не такси.

— Узнаю сысоевские замашки. Ты в следующий раз с ним работай, два сапога — пара.

— А вы не оскорбляйте, — сказал Володя и дал задний. — Вам куда? Метро устраивает? Мимо поедем.

— Да, да, конечно, — благодарно закивала старушка. — Там и стоянка такси...

— Садитесь! Некогда нам дискутировать.

А потом была станция «скорой», кухня, на которой Юраша и Верочка жарили пельмени, колдовали, принюхивались, чувствовалось, с какой серьезностью относятся они к еде.

Борис Борисович подошел сзади, положил руку на Юрашино плечо.

— Много прочел физики?

— Норму, — солидно сказал тот. — Я каждый день норму читаю, хоть кровь из носу.

— Молодец, — похвалил Борис Борисович. — Кончишь институт, сам будешь решать, чем тебе заниматься.

— Я уже решил, — сказал Юраша.

— Ну?!

— Ага. Наука меня интересует. Я на такой работе не останусь.

— Не нравится?

— Нравится, почему же. Только что это за работа? Верочка отобрала от него нож, помешала, убавила огонь в плите.

— Ты нас, ученый, без еды оставишь.

Юраша даже не оглянулся.

— Я вот о чем вас хочу спросить, — осторожно начал Юраша. — Почему вы столько лет потеряли на «скорой»? Давно бы за это время диссертацию сделали...

— Защитил бы, — согласился Кулябкин. — А что дальше?

— Как — «что»? — переспросил Юраша. — Диссертация — это знаете какое... — Он не мог найти нужное

слово. — Она бы вас, Борис Борисович, сразу человеком сделала.

— Да ну? — Кулябкин улыбнулся. — Значит, ты не считал меня человеком?

— Вы меня не поняли, — огорчился Юраша, — я не в том смысле.

— Жалко мне тебя, — с грустью сказал Кулябкин.

Юраша вытаращил глаза.

— Да если я человек, то и с диссертацией, и без нее человеком останусь.

— Да я фигурально, — оправдывался Юраша.

— А я буквально, — сказал Кулябкин.

Верочка, Володя и Кулябкин уселись за стол, а Юраша поставил перед ними большую сковороду с пельменями.

Первым взял пельменину Кулябкин как старший, зажал ее в зубах и торопливо подышал, остужая. Потом стал быстро жевать.

— Ну, как харч? — поинтересовался Юраша.

— На высоте, — одобрил Кулябкин, обжигаясь.

— Хорошо, что горячие, — сказала Верочка. — Остынут — в рот не возьмете.

— Типун тебе на язык, — сказал Юраша, усаживаясь рядом.

Он взял вилку, выбрал самую крупную пельменину, приготовился пронзить ее, но тут же глубокое огорчение отразилось на его лице. Над ними захрипел селектор.

«Семьдесят вторая, доктор Сысоев, и сто третья, доктор Кулябкин, — кричал диспетчер, — на выезд!»

— Тьфу, — разозлился Юраша. — Болеют без передышки. Даже поесть не дадут.

Сысоев получил листок направления, прочел своим фельдшерам:

— «Упал на улице». — Он поднял указательный палец. — В переводе на русский язык означает: пьяный не в состоянии дойти до дома. Ну что ж, отвезем. Вручим беспокойной супруге ее счастье.

— Можем и в приемный покой свезти, — улыбнулся фельдшер. — Тепло и чисто.

— Именно! — поддержал Сысоев. — Там тепло и чисто, а на улице холодно и сыро. И главное — жестко: асфальт!

Кулябкин подошел к диспетчеру, попросил:

— Если ко мне придут, передайте, чтобы подождали.

— Мужчина? — поинтересовалась диспетчер.

— Женщина.

— Хорошо, — пообещала она и протянула листок Борису Борисовичу: — Плохо с сердцем. Вечерняя школа на Сергиевской.

— И там плохо, — услышал Сысоев. — Боря, — крикнул он от дверей, — возьми ведро валерьянки! Вас ждет несчастная любовь. — Он расхохотался и прибавил: — Подумайте, еще нет семи вечера, первый урок только кончился, а уже «скорую» вызывают. Продуктивно работают, черти.

Он распахнул дверь, его возмущенный голос слышался с улицы:

— А платили бы из собственной зарплаты за каждый такой вызов, и на улице бы не валялись, и в школу бы вызывать сначала хорошо бы подумали.

Юраша просунул голову в кабину, повернулся лицом к Кулябкину.

— И не поели, и человека не дождались, невезуха какая-то. И вызов сейчас, конечно, будет ерундовый, это уж Сысоев точно сказал. — Кулябкин не ответил, и Юраша поинтересовался: — А к вам важное лицо придет?

— Очень важное. Друг.

— А мне показалось, вы говорили — женщина.

— Что же, если женщина, то и другом быть не может?

— Не знаю, — признался Юраша.

— А разве у тебя никогда не было такой дружбы?

Юраша вспоминал.

— Честно говоря, нет, — сказал он. — Всегда как-то иначе выходит. Вроде бы любовь.

Борис Борисович открыл дверцу «рафа», сполз с неудобного высокого сиденья.

Юраша и Верочка еще не вышли, сидели в кузове.

— Скорее, скорее, — поторопил их Борис Борисович, — нас ждут.

— Сейчас, — отозвалась Верочка. — Баллон заело, не перезарядить.

— Пускай Юраша...

— Ему никак... Он слабосильный. Может, вы попробуете?

Кулябкин распахнул дверцу, хотел было прикрикнуть на фельдшеров, но передумал. Он ловко наложил гаечный ключ и, чуть крикнув, потянул его на себя.

— Так вы сильный, — немного обиженно сказал Юраша. — А мы и вдвоем не могли.

— Нужно не физику читать, а по утрам зарядку делать, — язвительно заметила Верочка. — Доктор настоящий мужчина, не чета тебе.

Она встала рядом и будто бы случайно прижалась к Кулябкину.

Он почему-то остро подумал о Тане, быстро оглянулся и пошел к дверям.

Верочка вздохнула и двинулась следом за доктором.

В вестибюле школы сидела нянечка с вязанием, поглядела на вошедших, потом поискала глазами кого-то вокруг.

— Любаша! — нараспев крикнула она. — Приехали!

Откуда-то выскочила девушка, маленькая, плотненькая, подтянутая, поклонилась уважительно Борису Борисовичу, потом фельдшерам.

— Ждем с нетерпением, — сказала она. — Придется подняться на третий этаж, в учительскую.

— Что там у вас? — спросил Юраша солидно, подтягиваясь и преображаясь перед девушкой.

— Нам трудно сказать... Не старая еще... — Она перешла на шепот. — Только нервная — жуть.

— Понятно, — засмеялся Юраша. — Что и требовалось доказать.

— Тс-с, — попросила его девушка. — У всех, кроме нашего класса, уроки...

— И часто с ней так? — спросил Кулябкин.

— Бывает, — отмахнулась девушка. — Мы сначала пугались, а теперь — ничего. Привыкли.

— Что же вы своих учителей доводите, взрослые люди, — осудил Юраша.

— Да разве мы? Разве мы, — повторила девушка. —

Ей путевку в санаторий не дали. В прошлом давали и в позапрошлом, а теперь у нас математик более нуждается, так она все равно требует. . . Вы знаете, как ее в школе зовут? — Она взялась за ручку двери с надписью «Учительская» и шепотом произнесла: — Жаба.

И опять приложила палец к губам.

— Жаба? — удивился Кулябкин. — Странно. У нас в школе тоже Жаба была.

— Вы пожилой человек, у другой учились, — сказала девушка.

— Какой он пожилой, — обиделась за Бориса Борисовича Верочка. — Глаз у тебя нет, что ли?

Но дверь уже была раскрыта.

По кабинету ходил директор школы, нервничал.

— Не знаем, что делать, — расстроенно сказал директор, останавливаясь против Кулябкина. — Валидол не помогает, боли держатся около часа. Может, инфаркт?

Больная лежала на боку, лицом к стене.

Кулябкин пожал плечами, шагнул к дивану.

Директор подхватил стул, подставил Борису Борисовичу.

Кулябкин взял руку больной: пульс был спокойный.

— Раз, два, три, — считал Борис Борисович. — Семнадцать на четыре. . . Шестьдесят восемь. Ну, что же, — сказал он. — Отлично. — Потом наклонился вперед и мягко попросил: — Вы на спину не ляжете? Я осмотреть вас хочу.

Она не ответила.

— Что с вами? — спросил он.

Она опять не ответила.

— Оставьте нас, — попросил Кулябкин директора.

— Конечно, конечно.

— Что с вами? — в третий раз сказал он.

— Я не врач, — неожиданно басовито сказала больная. — Вам виднее. Откуда я знаю, что случилось.

Она зарыдала в голос и стала медленно поворачиваться на спину. В какую-то секунду Кулябкину показалось, что это ЕГО ЖАБА, — но он тут же увидел лицо совсем незнакомой женщины.

— У меня болит, — рыдала она. — Тут. А что это такое, я не знаю. . . Помогите, помогите мне, доктор!

— Вы не плачьте, успокойтесь, — говорил Борис Борисович, наклоняясь над незнакомой ему учительницей. — Что с вами? Где же болит? Как?

— Тут, — показала на грудь учительница. — Болит постоянно. Двадцать лет я отдала народному просвещению, мои выпускники далеко пошли, а благодарность? Разве дождешься благодарности за это?

Он вынул стетоскоп и стал ее слушать. Потом померил артериальное давление.

Верочка хлопотала около врачебной сумки, наливала валерьянку.

— Выпейте, выпейте, — приговаривала она.

Учительница приподняла голову и, прикусывая зубами мензурку, выпила лекарство.

— Вы такой добрый, доктор, — благодарно сказала она.

...Кулябкин закончил писать записку, осторожно сложил ее вдвое, вчетверо, еще и еще... Потом пристроил бумажный шарик на краешек парты.

— Таня! — шепотом окликнул он девочку и показал пальцем, что шарик предназначен ей.

Таня опустила глаза и тут же перевела взгляд на доску, где учительница что-то писала крупными буквами.

— Предупреждаю, это материал трудный, — сказала Жаба, — и я хочу, чтобы вы сейчас были предельно внимательными. Перепишите слова в тетрадку, — приказала она и остановилась над Кулябкиным.

Мальчик замер. Ладонь Жабы почти прикрывала шарик-записку, и от постукивания костяшкой пальца по парте шарик качался.

— Никогда, — диктовала она всем, — нигде, ниоткуда...

Замолчала, с удивлением разглядывая кулябкинскую тетрадку.

— О чем ты только думаешь, Боря, уму непостижимо! Слитно, слитно, а не раздельно, об этом же правило.

Она повернулась к доске и пальцем стала показывать туда, где уже были написаны эти слова.

Кулябкин торопливо взглянул на Таню и кинул ей записку.

Жаба шагнула назад и, не оборачиваясь, на лету поймала бумажный шарик.

— Спасибо, — сказала она. — Поглядим, что за мысли навешают тебя во время урока.

Она стала осторожно раскрывать закатанную бумажку, точно препарировала бабочку.

— Это не вам! — сдавленным голосом крикнул Кулябкин.

— А кому? — удивилась она.

— Отдайте! — крикнул он.

— Успокойся, — попросила Жаба. — Возьми себя в руки.

Она надела очки, отодвинула от себя бумажку. На ее лице выросло удивление, потом — радость.

— Ну-с, — сказала она с явным удовольствием. — Займемся грамматикой. Выходи-ка к доске, попробуем разобраться.

Он встал, но из-за парты не вышел.

— Стесняешься, — поняла Жаба. — Тогда пусть другие.

Она обвела класс глазами, поглядела на Таню.

— Федоров, к доске, — попросила она. — Перепиши. Только, сделай такую любезность, не исправляй кулябкинскую грамматику.

На доске выростала странная фраза:

«Ни знаю что со мной. Ни могу про тебя ни думать. Боря».

— Прекрасно, — похвалила Жаба. — Проверь, чтобы ты не добавил своих. Так. Теперь давай искать Борины ошибки, а потом все вместе разберем сочинение Кулябкина по членам предложения. Кто знает, нужно ли такое количество «ни» в этом тексте?

Класс изнывал от хохота.

— Погляди, Кулябкин. Лес рук. Неловко не знать этого правила...

Больная лежала в кислородной маске на диване. Дыхательный мешок аппарата наполнялся и освобождался, будто бы учительница пыталась забрать весь запас кислорода.

— Лучше? — спросил директор, заглядывая в учительскую.

— Хуже! — крикнула она. — Сделайте, пожалуйста, доктор, укол кордиамина. Мне это всегда помогает.

Кулябкин подумал и кивнул.

Учительница отодвинула маску, поглядела на Верочку и Юрашу.

— Шприц, надеюсь, стерильный?

— Надеюсь, — сказал Юраша.

— Удивляюсь, — шепотом говорил Юраша. — Как это у Бориса Борисовича хватает терпения ее слушать. Плюнул бы да уехал.

— Что ты, — сказала Верочка. — С ней хлопот потом не оберешься. Жалоба будет быстрее, чем мы доедем до станции.

— О чем шепчутся ваши фельдшера? — подозрительно спросила учительница. — Покажите ампулу. Я хочу знать, что мне вводят.

— Покажи, — приказал Кулябкин.

Она взяла ампулу, повертела перед глазами.

— Правильно, — успокоилась она. — Только, пожалуйста, в руку.

— Нет, — решительно сказал Юраша. — Вам придется перевернуться.

Она вздохнула и начала медленно поворачиваться на живот.

В учительскую снова заглянул директор.

— Закройте дверь! — крикнула ему она. — Меня лечат!

Она сморщилась, ожидая укола.

— Ой! — вскрикнула учительница и тут же произнесла: — Жаль, молодой человек, что вы не у меня учились.

...Уже все кулябкинские ошибки были исправлены, «ни» зачеркнуты, а сверху стояли необходимые «не».

— Теперь, — попросила Жаба, — давайте дадим характеристику второму предложению. Кто хочет?

Все стихли.

— Может, ты что-то скажешь, Филенков? Исправляй двойку.

— Это простое, распространенное, повествовательное, полное...

— Еще?

— Определенно-личное! — с места крикнул Федоров.

— Хорошо сегодня работаешь, — похвалила Жаба. —

Давай так дальше. Теперь, если хочешь пятерку, разбери по членам.

— Подлежащего здесь нет, — уверенно начал Федоров. — Оно подразумевается. Сказуемое — могу.

— О-о! — застонала Жаба. — Ты испортил себе отметку. Кто поможет? Селезнева? Давай, умница, давай, хорошая.

Маленькая, солидная Селезнева затараторила:

— Сказуемое — «не могу не думать». Составное глагольное, взятое в отрицательной форме. «Про тебя» — дополнение. Косвенное, потому что предлог «про».

— Правильно, — согласилась Жаба. — Про кого? Про тебя. Так, Денисова? ..

— Вам легче? — спросил Кулябкин.

— Очень болит, — пожаловалась учительница. — Ваш мальчик совсем не умеет колоть.

— Ну и мымра, — забормотал Юраша.

— Да уж, — согласилась Верочка.

Она приняла кислород от больной, закрыла врачебную сумку.

Кулябкин поднялся.

— Вы меня не отвезете домой? — спросила учительница.

— Вам нужно еще полежать.

— Я вызову такси, — поторопился директор. Он опять вошел в кабинет. — Я вас провожу. . .

— Видали? — сказала учительница. — Вначале издеваются над человеком, потом вызывают «скорую помощь», а теперь хотят увезти на такси.

Она приподнялась на локте.

— На такси я могу уехать и за свой счет. Позаботьтесь лучше о путевке.

Она упала на диван и несколько секунд пролежала неподвижно, скорбная, с «печатью смерти» на лице. Потом открыла глаза и торжественно произнесла:

— Езжайте, товарищи!

Они возвращались на станцию усталые, молчаливые и будто бы разобщенные своими мыслями. Особенно грустным казался Кулябкин.

— Противно, — сказала Верочка. — А попробуй не полечи, больной всегда прав, такой лозунг.

— Прав Сысоев, — сказал Юраша.
— И это противно, — сказала Верочка.
— Противно, если и теперь нам не дадут съесть пель-
мени.

— Разве это будут пельмени! — вздохнул Володя.
— А я теперь, пожалуй, съел бы и сырые, — признал-
ся Юраша.

Машина развернулась во дворе. Володя выключил зажигание, поглядел на неподвижного, задумавшегося Кулябкина, сказал ему:

— Приехали, Борис Борисович.

Верочка и Юраша уже выскочили из машины, подо-
шли к дверям.

— Ко мне должны прийти. . . — виновато сказал Ку-
лябкин, останавливая Володю около двери. — Так если
пришли, то, может, я возьму у тебя туфли. . . ненадолго.

— Ну, это уж издевательство, — возмутился Воло-
дя. — То надень, то сними, сами же обещали. . .

— А в таком виде разве удобно? — спросил Куляб-
кин.

— Главное, чтобы ногам было удобно, — уверенно
сказал Володя.

— Вас давно ждут, — сказала диспетчер Кулябкину.
Он вздохнул, поискал глазами шофера, но Володя
повернулся спиной.

Борис Борисович потоптался в нерешительности, мах-
нул рукой и пошел наверх.

Сысоев сидел против Тани и почтительно слушал ее,
— Боря, — сказала она, — а я боялась, что не до-
ждусь. . . Хорошо, что твой друг был так любезен. . .

Сысоев едва заметно улыбнулся и встал.

— Ну? — спросил он. — Каков вызов? — И тут же
расхохотался, заметив смятение в лице Бориса Бори-
совича. — Что? Давал валерьянку?

Он прошелся по комнате, повернулся к Тане:

— Вот, Татьяна Ивановна, иллюстрация к нашему
разговору.

Он заговорил с жаром.

— Я не устаю об этом думать, потому что мне жалко
себя. Три года! — сказал он. — Три года выброшено на
свалку! За эти три года я мог бы горы свернуть. . .

— Но ведь у вас бывают и серьезные случаи, — растерянно сказала Таня.

— Бывают! — повторил Сысоев. — Но это золотая рыбка, которую мы вылавливаем в мутной воде потребления и хамства. Вот сегодня ваш Борис доложил благородному собранию врачей четыре замечательных случая, четыре еще не обработанных алмаза. Я ему говорю: хватайся двумя руками, делай науку, вырывайся отсюда, но он, видите, прин-ци-пиа-лен...

Сысоев резко повернулся на каблуках, пальцем указал на Кулябкина.

— А я вижу в этом лень, да, лень ума. И если человек на «скорой» не хочет идти вперед, не желает вырваться из этой... — он искал слова, но никак не мог найти приличного и подходящего и спокойнее закончил: — То он для меня обречен, бесперспективен...

Сысоев раскинул руки и склонил голову.

— Извини, Борис, это так. Я говорю правду, как другу...

Кулябкин подошел к окну, сцепил за спиной руки, не ответил.

Наступила долгая тишина.

— Ну, я пойду, — сказал Сысоев. — Забыл, что мне нужно еще к диспетчеру...

Он вышел.

Кулябкин повернул стул, сел на него верхом, положил подбородок на спинку.

— Как папа? — спросил он.

— Знаешь, он воспрянул духом, — грустно сказала Таня. — Ждет копустрин. Твой товарищ уже говорил с ним, сказал, что ты оставил лекарство.

Она раскрыла ладонь, показала Кулябкину ампулы.

— Давай сотрем надпись, — сказал он ей.

— Уже стерли, — сказала Таня.

— Вот и все, что мы можем, — сказал Кулябкин.

— Спасибо и за это...

Они замолчали, сидели друг против друга, и Борис Борисович почему-то взял Танину ладонь, в которой были зажаты ампулы, и осторожно подышал на ее пальцы.

— Страшно все это, Боря, — сказала она. — И невозможно смириться.

Он поднял голову.

— Ты должна быть мужественной, Таня, — сказал

он. — Только сильный, уверенный человек сейчас ему нужен.

— Я смогу, — пообещала она. — Я выдержу, не сомневайся. Ты даже не понимаешь, сколько для меня сделал. Для нас с папой.

— Если бы только можно было что-нибудь сделать, — вздохнул Кулябкин.

Он вздрогнул — зазвонил телефон, — поднял двумя пальцами трубку, будто тут же решил ее повесить, подумал и приложил к уху.

— Боря! — он услышал необычно возбужденный веселый голос Лиды. — Ты все едешь. Я звонила дважды. Тебе не передавали?

— Нет, — сказал он. — Что случилось?

— Ничего, — засмеялась она. — Просто с тобой хочет поговорить Юлька. . .

Свет в его глазах стал мягче. Он подождал немного, строго сказал:

— Десятый час ночи, а ты не спишь.

Она будто бы не услышала.

— Давай с тобой разберемся, — сказала Юлька. — Вежливый, я думаю, был кролик. Ты, папа, что-то ошибся.

— Нет, — сказал Кулябкин. — Кролик заставил голодать удава, сколько они ждали доктора, а?

— Вот доктор и был невежливый, — сказала Юлька, напрягая всю свою логику.

— Возможно, — сказал Кулябкин. — Только я тебе советую не спешить, завтра поговорим обо всем. Спи, ко мне пришли. . .

— Папа, — закричала Юлька, — еще что-то хотела мама. . .

Он вздохнул.

— Объяснил? — так же весело спросила Лида и, не ожидая ответа, сказала: — Я все устроила, Боря. Завтра иди домой, а не к Денисовым. К ним придет медсестра из поликлиники, сделает укол. Зачем ты будешь туда ходить, как мальчик?

Кулябкин молчал.

— Я их там, в поликлинике, страшно напугала, — смеялась Лида, но голос ее звучал натянуто. — Сказала: говорит кандидат наук. . . Они очень этого боятся.

— Послушай меня внимательно, — сдержанно и тихо

сказал Кулябкин. Он бросил взгляд на Таню: она думала о своем. — Завтра в половине девятого тебе нужно исправить свою ошибку.

— Нет, — сказала она.

— Да, — сказал Кулябкин. — Ты сделаешь все, что я прошу.

И он положил трубку.

— Это звонила Юлька? — спросила Таня с улыбкой.

— Да, — сказал Кулябкин. — Я ей рассказал днем сказку, а ей никак не разобраться. . .

— Ты все такой же, Боря. Не изменился.

— Такой же, — махнул он рукой, — что со мной станет.

— Дружишь с дочкой?

— Не разлей вода, — похвастался он.

— А сказка, наверное, грустная?

— Веселого в ней мало, — согласился Кулябкин.

— Не рано ли ребенку? Вот сам говоришь — не может разобраться.

— Кто знает, — вздохнул он. — Рано ей или нет.

Он улыбнулся.

— Но ты не думай, Таня, что сказки у меня только грустные. Я иногда рассказываю и очень веселые.

— Очень? — не поверила Таня.

— Да, — подтвердил Кулябкин. — Жил да был, например, одуванчик, рыжий-прерыжий, похожий на солнце. Он был влюблен в стебелек, который рос рядом, но одуванчик никак не мог объясниться в любви, не решался. То был дождь, то морось. Что-то мешало. «Вот выяснится, — думал он, — и признаюсь».

И он дождался хорошей погоды, поглядел в лужу и вдруг заметил, что он совершенно седой.

«Ничего, — успокоил себя одуванчик, — седина — это модно. Подует ветер, причешет волосы, и тогда. . . я объяснюсь».

И он дождался ветра, поглядел на себя в лужу и увидел, что стал. . . лысым.

Борис Борисович обернулся — в дверях стоял Сысоев.

— Ты что, не слышишь? — сказал он, протягивая Кулябкину листок. — Дважды уже вызывали. . . В гараж. Очередной раз «плохо с сердцем». — Он махнул рукой. —

Ну что может быть «плохо» в сорок лет? Не успел, видно, опохмелиться. Возьми бидон нашатырного спирта.

Кулябкин вскочил.

— Ну ладно, — сказал он виновато Тане. — Я поеду. До завтра. . .

Сысоев загородил ему дорогу.

— Спокойнее, спокойнее, доктор. Ничего там быть не может. Знаете, — сказал он Тане, — мои прогнозы по поводу больных более точны, чем прогнозы бюро погоды. Я еще не ошибался.

Он отступил в сторону, сам открыл Кулябкину дверь. Борис Борисович оглянулся, встретился глазами с Таней, кивнул ей.

— Утром ждите, — сказал он. — Около десяти. . .

— Спасибо, — сказала она ему. — Спасибо. . . за сказку.

Ворота автобазы раскрылись, как по мановению волшебной палочки, и «скорая», лавируя между постройками, ангарами и рядами самосвалов, подошла к крыльцу с красным медицинским крестом и надписью «медпункт».

Несколько шоферов в грязных рабочих комбинезонах толпились рядом, и когда врач, а за ним и фельдшеры вышли из «рафа», они замолчали и недружелюбно оглядели медиков.

— Человек чуть концы не отдал, а они все едут, — сказал пожилой рабочий вслед Кулябкину.

Борис Борисович только пожал плечами.

— А вы бы шли к нам работать, — взъелся Юраша.

Борис Борисович вошел в коридор амбулатории, пропустил Верочку, пальцем поманил Юрашу к себе:

— Предупреждаю, будешь пререкаться — сниму с машины.

— Так они первыми начали, — оправдывался Юраша.

— В таких случаях меня арифметика не интересует, — отрезал Кулябкин.

Маленькая девушка-фельдшер выскочила из кабинета, бросилась навстречу Борису Борисовичу.

— Только не верьте ему, доктор! Это сейчас он такой храбрый, — застрекотала она. — Жуть что было!

Девушка передохнула.

— Сажу в кабинете, радуюсь: ни одного больного, почитать можно. И вдруг — он. Белый как простыня. «Дядя Сережа, — кричу, — что с тобой?» А он молчит, рукой грудь трет. Я ему раз — камфору, раз — кордиамин, раз — кофеин. Правильно?

— Вероятно, правильно.

Девушка вдруг заплакала.

— Он меня за медика не считает. . . Он меня с таких лет знает, с отцом еще работал. . . Не верьте ему, доктор, возьмите в больницу, он больной, честное слово, больной. . .

— За медика не считает, — скривился Юраша. — А другие считают?

Девушка с вызовом поглядела на него, вытерла слезы.

— Считают, — сказала она. — У кого хочешь спроси.

Она смерила Юрашу уничтожающим взглядом, сказала только Кулябкину:

— Говорит: пройдет, отсижусь немного. Я уж с диспетчерского телефона вас вызывала, из кабинета не давал, — зря, мол, людей беспокою.

— А он, случаем, не того? — Юраша щелкнул себя по подбородку.

— Да как вы можете! Вы еще и больного-то не видели.

— Не видел, — согласился Юраша. — Но нужно быть бдительным.

Больной водитель сидел на топчане и держался за его край, будто боялся упасть. Лицо его было бледным, даже синюшным, и, когда бригада зашла в кабинет и расположилась вокруг него, он поднял голову и устало оглядел каждого — Верочку, Юрашу и, наконец, остановился взглядом на Кулябкине. Понял: доктор.

— Что с вами случилось? — спросил Борис Борисович.

— Сам не пойму, товарищ доктор. Вступило сюда, — он показал на грудь, — не передохнуть. А теперь уже лучше. Я Наталье говорю: не вызывай, само пройдет.

Кулябкин кивнул и присел рядом.

— Вы бы подробнее о самом приступе, — попросил он и взял руку водителя, чтобы сосчитать пульс.

— Неудобно-то как, по ерунде беспокоим, — он по-

молчал. — А вообще-то я колбасу съел. Незадолго. Другого, товарищ доктор, не было.

— А раньше случилось?

— Зажмет иногда. Но чтобы так — ни-ни. Тут аж клещами. Был бы столб, в столб влетел бы.

— Понятно, — сказал Кулябкин. — Ложитесь.

— Да мне хуже лежать, — признался водитель. — Дышать не дает.

Юраша тихонечко подошел сбоку к водителю и стал принюхиваться.

— Да вы что, молодой человек, — обиделся водитель. — Я за рулем, как можно.

— Я ничего, — сказал Юраша, отступая под холодным взглядом Кулябкина.

— Принесите, Михеев, кардиограф, — сказал Борисович.

— С удовольствием, — сказал Юраша.

— Ну, — с иронией шепнула Верочка. — Унюхал?

— Нет, — тоже шепотом признался Юраша. — Это они умеют, чай жуют. — Он махнул рукой. — А для Кулябкина — все больные. Увидишь, прикажет этого хмыря еще на носилках нести.

— Сейчас будем госпитализировать, — объяснил больному Кулябкин. — Юра, нужны носилки.

— Какие носилки, товарищ доктор! Сделайте укол и отпустите.

— Дядя Сережа! — прикрикнула фельдшер. — Я тебя до работы все равно не допущу!

— А ты помалкивай! — обиделся водитель. — Твое дело десятое.

— Как же десятое! Я, между прочим, медик.

— Медик! — передразнил больной. — Я этого медика недавно на горшок сажал. Зазналась больно.

— Видали, как разговаривает, — сказала девушка и тут же бросилась к дверям, замахала руками на ввалившихся шоферов. — А ну, марш отсюда! Нечего вам тут делать, болеет человек.

— Да я здоров! — крикнул водитель. Он стал торопливо снимать электроды. — Видали? — говорил он товарищам. — Везти меня в больницу решили. На работу не пускают, запутали всего!

Его смех был стеклянным, дребезжащим.

— Ложитесь, ложитесь, — уговаривал его Кулябкин. — Нельзя так. Это же сердце. . .

— Перестаньте, товарищ доктор, — еще более возбуждался больной. — Зря беспокоитесь.

Он стал механически, почти бессмысленно рыться в карманах, нашел бумагу, сложенную вчетверо, протянул тому пожилому водителю, который еще на улице обращался к медикам.

— Путевку, путевку, Коля, возьми. . .

Повернулся, но не к выходу, а вполоборота, к фельдшерице. . .

— Дядя Сережа, — сказала она растерянно.

Он оглядел всех.

Кулябкин шагнул к нему, вытянул руки, но тот вдруг рухнул назад, навзничь.

— Юра! — крикнул Кулябкин. — Дефибриллятор!

Он уже сидел на полу, торопливо расстегивая, разрывая рубаху, обнажил грудь с морской татуировкой и, сотрясая ребра, начал закрытый массаж сердца.

— Все выйдите из помещения! — крикнул Юраша.

— Он умер? Это смерть? — спрашивала потрясенная фельдшерица.

Кулябкин не ответил.

— Это смерть, доктор? — повторяла она.

— Выйдите, не мешайте работать! — рявкнул Кулябкин.

. . . А Юраша уже разматывал провода дефибриллятора. Вера снимала ленту, включала и выключала кардиограф. И только девушка-фельдшер, как вратарь, стояла в дверях, ожидая возможных приказаний.

— Намочите электроды, — приказал ей Юраша.

Она пронеслась по коридору, пролетела мимо испуганных, подавленных увиденным водителей.

— Он мертвый, мертвый. . . я его предупреждала, — плакала девушка.

Кулябкин массировал сердце. Пот стекал по его лбу, по вискам, скапливался на верхней губе, и он языком слизывал эти капли.

— Мы ему не дадим умереть, — говорил Кулябкин в такт. — Мы этого не допустим. . . Так просто у нас не умирают.

— Кардиограф, — приказал он Верочке, и она тут же протянула ему конец ленты. — Ага, фибрилляция, — сказал он, — набирайте.

Он взял электроды — две круглые зеркальные металлические пластинки — и приложил их к обнаженной груди водителя.

— Сколько на шкале? — спросил Кулябкин у Юраши.

— Три, четыре. . . пять. . .

— Мало.

— Шесть тысяч вольт.

— Приготовиться, — сказал Кулябкин. — Импульс!

Ток огромного напряжения прошел через мертвое тело, подбросил человека над полом.

— Кардиограф, — сказал Кулябкин.

Они поменялись с Юрашей местами, и теперь фельдшер массировал сердце, а Кулябкин подключал кардиограф. Пошла лента.

— Хорошо работаешь, — похвалил он Юрашу. — Так и держи в этом ритме.

— Что там у вас? — спросил Юраша.

— Фибрилляция.

Кулябкин вытер пот, скинул пиджак, бросил его на топчан. Галстук валялся на полу, и теперь Кулябкин топтал его, не замечая.

А стрелка вольтметра на дефибриляторе ползла по шкале вверх, минуя цифры: три, четыре, пять. . .

— Семь тысяч, — доложил Юраша. — Даю до упора.

— Готов, — сказал Кулябкин, вновь прижимая электроды. — Разряд! — приказал он.

Новый удар подкинул тело.

Теперь Верочка начала массаж.

— Ритмичнее, — попросил Кулябкин. — И сильнее.

Они снова подключали кардиограф.

— Фибрилляция! — с отчаянием сказал Юраша. — Кажется, мы его теряем.

— Будем в третий раз, — решил Кулябкин.

Они уже все были без халатов, в рубашках с засученными рукавами.

— Неужели не сможем запустить сердце? — точно сам себе сказал Кулябкин.

— Умер? — фельдшерица опять оказалась рядом с Кулябкиным.

— Что? — не понял он и вдруг разозлился. — А ну, за кислородом! — крикнул вслед.

— Шесть с половиной, — устало сказал Юраша.

— Вера, готова?

— Да.

— Давай!

Он опять был на массаже. Верочка «выжимала» мешок с кислородом, Юраша подключал аппарат.

— Ритм! Синусовый ритм! — почти шепотом сказал Юраша.

Кулябкин поднялся.

— Уменьшите кислород. Давайте с воздухом... Сколько у нас на манометре?

— Еще сто атмосфер.

— Ну, — вздохнул Кулябкин. — Прилично.

Потом они все расселись — Кулябкин на подоконнике, Верочка на топчане, устало и почти безразлично глядели на больного.

Юраша придерживал пальцем маску. Дыхательный мешок сокращался.

Дверь распахнулась. Напирающие сзади водители втиснули в комнату девушку-фельдшера.

— Все? — едва слышно спросила она.

— Чего — все? — пожал плечами Юраша. — Жив он. У нас так просто не умирают, профессор.

Издалека было видно, как раскрываются впереди ворота автобазы. Володя поплевал на руки, натянул почти на глаза кепку. Машина мягко сошла с места.

Вскрик сирены пугнул ночную тишину гаража. «Раф» выкатился на шоссе.

— Так и дави, — приказал Юраша. — Теперь твоя работа. На милиционеров внимания не обращай.

— Не учи ученого, — огрызнулся Володя. — Моя «машка» не первый день замужем. Как там кореш?

— Нормально, — сухо сказал Юраша. — И давай уж без этого, без лишних слов...

Верочка нажимала на зуммер рации, вызывала диспетчера.

— «Рефлекс», «рефлекс»! — кричала она. — Восемнадцатая станция, сто третья машина. Больной после клинической смерти. Предупредите реанимацию.

— У Кулябкина после клинической, — повторила кому-то диспетчер. Потом любопытствовала: — А сколько больному лет?

— Сорок.

— Ба-тюшки!

— Ну и трепачи, — сурово осудил Юраша.

Кулябкин следил, как ритмично наполняется мешок кислородного ингалятора. Пиджак и халат лежали у него на коленях, а галстук торчал из кармана. «В больнице снимем повторно кардиограмму, поглядим результаты». Потом он подумал, что, наверное, в приемном покое уже заземлен лифт и все врачи в сборе.

— Как пульс? — перебил его мысли Юраша.

— Девяносто.

— Так держать, — немного торжественно приказал Юраша.

Володя дал снова сирену, и машина, мягко шурша, пролетела под красный.

— После такой работы. — мечтательно сказал Юраша, — я бы молоко давал за вредность или прибавлял бы день к отпуску.

— Будешь министром — прибавишь, — сказал Кулябкин.

— Возможно, — согласился Юраша.

— А я, — вздохнула Верочка, — хотя бы два часа на вызов не посылала, дала бы отдохнуть людям.

— Мелко мыслишь, — сказал Юраша. — День к отпуску лучше. Тем более я еще не устал.

Он приподнял руку, дождался встречного фонаря и осветил в окне циферблат своих часов.

— Ого! — поразился он. — Двенадцать ночи! Вот видишь, — сказал Юраша Верочке. — Осталась ерунда, каких-то девять часов до конца дежурства.

Абсолютный слух



Глава первая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

— Внимание! Внимание! Граждане пассажиры, — похрипывает под потолком вагонное радио, — наш поезд идет с двухчасовым опозданием.

Мой молчаливый сосед иронически улыбается. «Ну конечно же, опаздываем», — как бы подтверждает его многозначительный взгляд.

В течение всего утра он не произнес ни слова, но у меня такое ощущение, что это самый разговорчивый человек в купе. После каждой фразы, сказанной кем-нибудь из попутчиков, он ухмыляется, поджигает губы, выражая свое несогласие.

Первым не выдерживает немолодой, коротко подстриженный седой мужчина с красным, видимо когда-то обожженным лицом. Он тяжело поднимается и, припадая на левую ногу, выходит в коридор, где у окна стоит мой девятилетний сын.

— Покурим? — Мужчина озорно подмигивает Вовке.

— Можно! — радостно соглашается тот.

Они, кажется, подружились, потому что устраивают подобные совещания не в первый раз.

Дверь остается приоткрытой, и я невольно слышу их разговор.

— Значит, мама — учительница? Чему же она учит?

— Всему.

Оба так смеются, что я невольно завидую им. Как легко завести знакомство моему сыну, и как трудно — мне. Видно, сказываются долгие годы моего деревенского отшельничества.

— А вы воевали?

— Слегка.

— И вас ранили?

— Чуть-чуть.

— А ордена?

На стыке рельсов дверь захлопывается, и мы остаемся вдвоем. Стараюсь не смотреть на соседа. Может, выйти?

— Да, да, — наконец произносит молчаливый первую фразу. — Заберите ребенка. Как бы этот тип не научил его курить.

Дверь снова ползет назад, и я вижу седого мужчину. Сидит на откидном стуле в проходе вагона, одна нога неестественно вытянута, на другой, согнутой, восседает мой сын.

— Значит, в гости? — спрашивает мужчина.

— И работать, — дополняет Вовка. — Там мамины друзья: тетя Люся и дядя Ляня.

— Как ты сказал дядя Люся?

— Нет, нет! — Вовка хохочет.

И опять дверь захлопывается. Смотрю на часы. Конечно, Люся и Леонид не будут сидеть на вокзале два часа и ждать нас, но я все же начинаю чувствовать себя виновницей их испорченного дня.

Вровень с поездом движется грузовик, сворачивает, и сразу же за окном возникает серый от пыли цементный комбинат. Это значит — до Вожевска уже не так далеко.

Даже не знаю, рада ли я возвращению. Сказать «да» — сфальшивить. Я уверена, что лучше, чем в Игловке, мне не будет нигде. Но Вовке нужен город. Перечитываю письмо Леонида Павловича. Пожалуй, оно и решило этот мой бесконечный внутренний спор.

«Дорогая Мария Николаевна! Ждем не позднее двадцатого августа. О квартире для Вас договорился, но пока придется пожить у нас. Работать начнете в моей школе, надеюсь, жалеть не будете. С уважением Прохоренко».

Письмо показалось сухим. Но убедить меня могла только такая категоричность. Дала телеграмму: «Еду».

До самого последнего дня никто в Игловке не верил в наш отъезд. Утром, когда мы ждали машину, зашел Андрей Андреевич, маленький, седой, борода клинышком, снял шляпу и скорбным взглядом, точно присутствовал на похоронах, осмотрел тюки и чемоданы.

— Уезжаете?

А ведь вчера сам подписывал мою трудовую книжку.

— Да.

— Ну что ж, насильно, говорят, мил не будешь.

Повернулся и, не прощаясь, пошел к дверям.

— Андрей Андреевич! Зачем так... Вы же знаете, мне нелегко.

Я заставила его сесть. Он обвел глазами комнату, такую, оказывается, большую, с оголенными окнами, — сколько света забирали шторы! — с раскрытым настельным пустым платяным шкафом.

— А книги?

Я сказала, что книги уже в пути.

В купе заглянул проводник и предупредил, что Вожевск — следующая остановка. Промелькнули одиночные железнодорожные вагоны с занавесками, товарняк, груженный песком, одноэтажная улица окраины, затем — каменные дома.

— Какой городище! — поразился Вовка.

Сверкнула витрина магазина, громадная парикмахерская — девять лет назад здесь ничего этого не было. И все же кое-что я узнаю. В просвете улицы появилось желтое здание педагогического института, купол церкви — это уже на берегу Прокши. Правее, хорошо помню, городская больница.

А ведь я когда-то давала себе слово сюда не возвращаться. Уехала, решила, что порвала с прошлым. А вот не получилось...

Вовкин приятель помогает нам вынести вещи. Оказывается, он тоже выходит в Вожевске.

— Надеюсь, встретимся, — прощается он.

— Встретимся, — подтверждает Вовка.

В зале ожидания полно народу: едят, разговаривают, дремлют. Кашляет и заикается репродуктор — понять ничего нельзя, но люди вскакивают, хватают узлы и чемоданы, спешат к выходу.

Как изменилась привокзальная площадь! Большой гастроном, а рядом, в витрине магазина «Одежда», два учтивых манекена приветствуют покупателей.

Невольно вспоминаю игловский сельмаг, где за одним

прилавком продавались телогрейки, за другим — банки с бычками в томате и развесное повидло.

Рядом останавливается «Волга» с шахматными клеточками на капоте. Город здорово разросся, если здесь кому-то требуется такси.

И тут меня окликают. Узнаю Люсин голос и боюсь обернуться. Это длится секунду, меньше. Мы уже бежим друг к другу. Обнимаемся. Наши лица становятся мокрыми, слезы сами текут по щекам. Черт, вот уж не думала, что стану такой сентиментальной!

— Девочки, поберегите немного эмоций на вечер.

Понимаю, это Леонид Павлович, но Люся еще крепче прижимается ко мне.

— Не волнуйся. Эмоций у нас хватит на всю жизнь.

С интересом смотрю на него. Высокий. Крупный. Большой нос, четкая линия рта, тяжелый подбородок. Моя ладонь тонет в его руке.

— Ну как? Симпатичный?

— Разве я рискну сказать правду о директоре...

— Тем более сегодня, когда вы опоздали на два часа.

И Люсин муж мне уже кажется давно знакомым.

— Где же Вова? — спохватывается Люся. — Где ты оставила Вовку?

Тревожно оглядываюсь. Вон он, недалеко. Стоит с каким-то железнодорожником в красной фуражке, ведет беседу.

— Вова! Вова!

Идет неторопливо. Люся подбегает к нему, тискает и кружит. Женская несдержанность претит Вовке.

— Пустите! — отбивается он.

— Да это же Витька, вылитый Витька!

На секунду мне становится больно. Я вижу недоумение в глазах сына. Витька? Почему? Его зовут иначе...

Леонид Павлович пытается сгладить неловкость, кладет руку на Вовкино плечо, и мы всей компанией направляемся к площади. Там стоит их «москвич». По привычке наблюдаю за сыном — он что-то охотно рассказывает Леониду Павловичу, — а сама с грустью думаю о том, что Вовка так тянется к мужчинам.

— Смотри, они, кажется, нашли общий язык, — прерывает мои раздумья Люся.

Вовка влезает в машину, дает длинный сигнал.

— Зачем? — одергиваю его.

— Это я Дмитрию Александровичу.

— Кому? — удивленно спрашивает Леонид Павлович.

— Вместе ехали, — говорит Вовка. — Вон идет.

Люся и Леонид Павлович переглядываются, им будто уже что-то известно об этом человеке.

— Между прочим, — говорит Люся, — это твой будущий коллега.

— Неужели? А мы с ним даже не поговорили.

— Ну и хорошо. Поверь, обогатиться от общения с ним было бы трудно.

— Надо же! А мне он показался таким милым.

— Ты уж нам доверься на будущее, кто тут милый, а кто нет. В Вожевске есть люди, которых нужно объезжать за десять километров.

— Странно. Даже не подумала, что это учитель. Да еще из вашей школы. . .

— Увы! Он чертежник, — говорит Люся. — Работает на полставки, а крови всем портит на полный оклад.

Уму непостижимо, как изменился Вожевск! Иногда даже не узнаю улиц! Судя по протяженности маршрута, Леонид Павлович совершает для нас «круг почета». Проезжаем окраины, мчим по шоссе, останавливаемся у большого современного здания.

— Моя школа! — показывает Прохоренко.

Мне нравится его гордая интонация.

Обходим пришкольный участок. Площадки для игр, даже теннисный корт.

Заходим в здание. В кабинете литературы много цветов, на стенах портреты Толстого, Чехова, Горького, в углу — таблицы по русскому языку.

Присаживаюсь за стол. За свой будущий учительский стол.

— Нравится?

Молчу. Только улыбаюсь. Разве я могла в Игловке представить, что скоро буду работать в такой школе?

Домой едем через центр. Оказывается, в Вожевске есть «новый» и «старый» город. Центр — «старый», окраины — «новый».

Погода незаметно мрачнеет. Небо набухло, стало серым, чуть светлее асфальта.

На ветровом стекле появляются первые оспинки, их

становится больше и больше, пока не начинает рябить в глазах. Леониду Павловичу приходится включить «дворники».

— Останови! — просит его Люся. — Это Вениамин!

Машина прижимается к тротуару. Короткий гудок. Замечаю недоумение на лице прохожего, затем — радость, и вот уже некто в мокром плаще грузно опускается на сиденье рядом со мной.

— Ты послан мне богом! — кричит мужчина.

Забавный! Полиэтиленовая шапочка сползла на глаза. Воротник плаща поднят, упирается в пухлые щеки, цепкие, хитрые глазки смотрят на меня с любопытством.

Я узнаю его: Венька! Венька Шишкин, наш однокурсник, один из самых активных деятелей факультетского профкома. Вот уж не предполагала встретить его!

— Одно благородное дело вы сделали, — тарыхтит Венька, — осталось второе. Могли бы познакомить с очаровательной дамой. . .

— Какой ты галантный! — Люся смеется.

— Он жуткий ловелас! — подхватывает Леонид Павлович.

Я тороплюсь прийти на помощь Шишкину:

— Веня, мы с тобой знакомы уже тысячу лет.

Он смотрит на меня с удивлением, и вдруг счастливая улыбка начинает расползаться по его лицу.

— Маша! Ну да, Маша! Да ведь это же я вызволял тебя из деревни!

— Машенька, осторожно, Веня — большой начальник! — предупреждает Люся.

— Какой я начальник! — отмахивается Веня. — Ефрейтор педагогической службы. А вот он — генерал.

— Не верьте ему. Вениамин — старший инспектор гороно, а я всего лишь бедный директор школы, одна из карточек в его картотеке.

— Карточка?! Ты, Маша, еще не представляешь, кто это! Тебя везет Великий Прохоренко!

Мне нравится их озорной разговор.

Машина останавливается. Венька чмокает меня в щеку, открывает дверцу и мчится к подъезду.

— Совсем распустился! — вдогонку кричит Люся. — Все расскажу жене.

— Она меня поймет, как только познакомится с Машей! — Тяжелая дверь захлопывается за ним.

— Какой милый! — говорю я.

— Действительно милый, — соглашается Люся. — На этот раз ты не ошиблась.

Рабочий день Прохоренко начинается чуть свет. Утром сквозь сон слышу, как негромко, будто бы издалека, жужжит, затихает и вновь жужжит его электробритва. Едва она замолкает, как опять раздается жужжание, но теперь более пронзительное — это мелется кофе.

Больше не засыпаю, но и не встаю. Утро в семье Прохоренко полностью принадлежит Люсе.

С двенадцати часов Люся ждет телефонного звонка Леонида Павловича. Ее напряжение передается нам с Вовкой. Сын забирается на подоконник и сигнализирует обо всех событиях на дороге.

Если Леонид Павлович не приходит, то обедать садимся в два. Стол накрывается на троих, но место хозяина священо — он незримо присутствует здесь.

Справа от его стула Люся ставит свою тарелку, слева — мою, Вовка сидит напротив. Такое ощущение, что если бы Леонид Павлович сейчас снял шапку-невидимку и оказался рядом, то это никого бы не удивило.

Честно говоря, Люсю я иногда просто перестаю узнавать, хотя внешне она изменилась мало. Конечно, стала солиднее; вместо толстой косы, когда-то вызывавшей зависть подруг, модная стрижка; но улыбка, манера говорить, смех — легкий, заразительный — ее. Еще в Игловку она писала, что школа ее утомляет и она подыскала работу радиожурналиста. Правда, в штат устроиться не удалось, но это даже лучше. Две-три передачи в месяц ей всегда обеспечены.

Невольно думаю: могла бы я так? Раствориться в делах и планах своего мужа? Кто знает... Наши судьбы сложились по-разному.

Впрочем, одного я, наверное, никогда не смогу принять в их семье — бездетности. Сколько раз я замечала, что Люся подолгу смотрит на Вовку. Хотела спросить ее, почему у них нет ребенка, но побоялась — мало ли может быть причин.

Неожиданно она сама разговорилась об этом.

Мы растопили колонку в ванной. Вовка залез в воду прямо в трусиках, и мы, сколько ни уговаривали его раз-

даться, не смогли. Он так и стоял под душем, держась за резинку трусов, и, когда мыльная пена попадала ему в глаза, орал благим матом, но рук не отпускал.

Люся неумело намыливала его волосы, приговаривая:

— Вот как я тебя. Вот как! — Потом призналась: — Ну и привыкла я к тебе за эти дни. Укатите от нас — и мыть будет некого.

— Чего же вы оплошали?

— Тут возможно одно из двух: либо школа, либо свои дети.

Я возразила:

— Почему нужно ставить одно в зависимость от другого? Я тоже люблю работу.

— Любишь. Но у Лени это не только любовь.

— А что?

— Все. Его огромное, давно задуманное дело. И, значит, главная цель в жизни.

— Не понимаю.

— Увидишь своими глазами и поймешь.

Помолчали.

— Знаешь, Маша, — неожиданно сказала она. — Я вот, бывает, листаю педагогические журналы, читаю статьи разных теоретических умников, сравниваю с тем, что делает Леонид, и меня охватывает трепет, что ли — даже не знаю, как это точнее назвать, — от ощущения его личности. . .

— Молодец! Я бы так не могла, — призналась я. — Мне кажется, чем ближе был бы ко мне человек, тем критичнее и требовательнее я бы к нему относилась.

— Конечно. Если бы ты могла так, то Витька Лавров сейчас находился бы не в Москве, а в соседней комнате. — Она обняла меня, видимо подумав, что обижает. — Что-нибудь знаешь о нем?

Я с тревогой посмотрела на Вовку и отрицательно покачала головой.

Мы вышли из ванной. Люся принялась что-то искать на книжных полках в кабинете Леонида Павловича.

— На, погляди.

Она подала синий томик, на обложке которого я прочла знакомую фамилию.

Я хотела сказать, что Лавров меня не интересуется, но будто забыла произнести эти слова вслух.

— Чуть-чуть гибкости, даже не хитрости — этого тебе

взять нигде, — а гибкости, и Витька был бы с тобой. Он же отличный парень, Маша!

— Прошу тебя! . .

— Не сердись. Потерянное не вернешь.

Люся подмела комнату, поправила ковер и вдруг с возмущением сказала:

— Нет, не могу, не могу понять! Почему? Почему ты порвала с ним?

— Я не хочу об этом думать, тем более жалеть. Что было, то было и быльем поросло.

И все же я открыла книгу Лаврова. С первой страницы на меня смотрела фотография Виктора, Вовкиного отца. Щемящая боль сжала мое сердце. Да, это был уже не тот мальчик, которого я знала девять лет назад. Вместо привычного полубокса он отпустил челку, дань новой моде. В углу рта — папироса. Я хорошо помнила это выражение разочарованности, которое он любил напускать.

А ведь я видела эту книгу в Игловке, на прилавке передвижного киоска-автобуса, но не взяла ее в руки.

Я думала о Викторе: прошлое, наверное, будет напоминать о себе постоянно. . .

Вечером я оставила Вовку на Люсино попечение и пошла в город. Хотелось побыть одной.

В центре горели неоновые рекламы. Одна, над витриной кафе, то вспыхивала, то гасла, вырывая из темноты будто неживые, голубоватые лица прохожих.

Возле кинотеатра толпились мальчики в расклешенных брюках, девочки — в мини. Неужели эти ребята сядут за парты в моих классах? Смогу ли я с ними?

Потом я спустилась к реке. Дорога была знакомой, будто я бродила здесь только вчера. Перешла мост. Теперь нужно идти выше, через маленький ельник, метров двести отсюда — наша кривая сосна.

Вот и она! Ствол изогнулся, прижался к земле, как седло, и снова изгиб. Когда-то, сидя на ней, мы готовились к сессии.

А может, Люся права и это я во всем виновата? Раз такие мысли возникли, пора разобраться. . .

Что же было там, в моем прошлом?

Знакомство. Дружба. Любовь. Разговоры о свадьбе. Потом. . . непрерывные ссоры.

Приближался наш отъезд в деревню. Все только и говорили, что о работе, а мы с Виктором перестали понимать друг друга.

В его голове вдруг начали громоздиться нереальные планы, невероятные надежды. Он писал короткие информации в местную газету. Я знала, его хвалили за быстроту и четкость.

— Маша, — сказал он как-то, — а если мне... предложат остаться? Газета — это же так интересно...

Я молчала.

— А потом, — сказал Виктор, — я же пишу... Отправил рассказ в московский журнал. Вдруг напечатают. Представляешь?.. — Он весь светился от возможного счастья, шел ко мне, раскинув руки, но я увернулась.

— У тебя странно затянувшееся детство, Виктор, — сказала я резко. — Иллюзии — это мило, но пора подумать о жизни.

Он разозлился.

— Тебе бы юмора, Маша... С юмором у тебя худо...

— Да, — кивнула я. — У меня с юмором худо, зато у тебя — избыток.

Я была раздражительной, нервной, придиралась к каждому его слову. В двадцать лет, вероятно, трудно в самой себе разобраться. А было не так уж и сложно. Я дурнела. Нос и губы припухли. На щеках появились желтые пятна. Однажды при нем возникла рвота.

— Что с тобой? — испугался Виктор, но я отмахнулась.

— Так, — сказала ему. — Устала.

Я почему-то никак не могла решиться сказать о беременности. «Нет, нет, — думала я, — он должен сам увидеть, понять... Еще подумает, что этим я хочу его удер-жать...»

Он снова спросил:

— Ты нездорова?

Я хотела крикнуть: «Неужели не замечаешь, у нас будет ребенок!» И промолчала. Только пожала плечами.

А он успокоился, как обычно, стоял у окна и говорил о своем:

— Съездить бы в Москву хоть на месяц, повертеться в журналах. Знаешь, главное, говорят, личное общение...

Я делала вид, что ищу в тумбе стола конспекты, нагибалась все ниже и ниже, а в голове было одно: «Все кончено. Скатертью дорожка... И если уж рвать, то теперь... Дальше станет труднее...»

И тогда я сказала:

— Знаешь, дружок, твои визиты мне в тягость.

Ночью я взяла его книгу. Открыла первую страницу, прочла первую строчку, потом еще и еще и будто услышала его голос.

Это была исповедь человека, которому стало необходимо рассказать о себе. Шел, шел по земле, ни о чем не думал, жил легко, и вдруг стало непросто, пришлось о многом поразмыслить...

Пожалуй, это была история нашего с ним прошлого; вспоминая то одно, то другое событие, я внезапно почувствовала одиночество Виктора.

А если это не так? Можно ли художественную правду смешивать с правдой реальной жизни? Не писал же он книгу только для того, чтобы когда-нибудь я усомнилась в своей правоте.

Да, я пошла на разрыв. Не сказала ему о ребенке. Взяла все на себя. Но даже если я была неправа, то сейчас поздно жалеть.

Спать! Погасить свет и спать. Лампочка мешает Вовке — он вертится в постели. Одеяло сползло. Нужно подняться, поправить. Если я и виновата перед кем, то только перед сыном. Выходит, я слишком просто распорядилась его судьбой.

Встаю. Гляжу на Вовку. Копия Лаврова. Лучше не думать о прошлом, не думать. А ведь в деревне я еще ждала писем Виктора, хотела сделать аборт, но не сделала. Решила, пусть будет ребенок. Должен ведь и у меня быть кто-то, кому я необходима.

В который раз поднимаюсь, чтобы прикрыть окно. Слышу шаги. В коридор вышла Люся.

— Маша? — спрашивает она шепотом. — Не спишь?

Не отвечаю. Жду, когда Люся уйдет в спальню.

И тогда начинаю реветь. Мне жалко себя и Вовку. Зачем нужно было читать эту книгу, ворошить то, что ушло и забылось...

Сегодня Леонид Павлович пришел домой раньше обычного. Выпил кофе и закрылся в кабинете.

Не успели мы примоститься на тахте — Люся с вянзнем, а я с книжкой, — как слышались его шаги.

— Может, погуляем?

— Конечно. Мы тоже не выходили.

Жара на улице начала спадать. Последние дни августа оказались на редкость душными, каменные тротуары нагрелись и теперь будто дышали, отдавая тепло.

Решили идти к старой церкви, на другую сторону Прокши.

Было около девяти. Вожевск словно вымер. Да и у реки оказалось пустынно. Спокойная, ровная гладь поблескивала чернью. Только длинные тени деревьев тянулись с обоих берегов друг к другу и перекрещивались на середине, как гигантские шпаги.

— Хорошо! — Леонид Павлович раскинул руки. — Спешу, тороплюсь, хочу больше сделать. Дурак, какой я дурак, девочки! — Он подкатил ногой камень, сшиб его в воду. — Ну что может случиться с делами, если вот так гулять каждый вечер?

— А я тебе что говорю? — Люся вздохнула.

Рядом слышались шаги, к нам приближались двое: подросток лет тринадцати, белобрысый, с застывшим, немного одутловатым лицом — такое бывает у детей больных и малоподвижных, — и мамаша, еще молодая женщина с копной кудерьков на голове.

Женщина первая заметила нас, дернула мальчика за руку.

— Здрась! — крикнул подросток. Он не знал, куда деть руки, вытянул их по швам, потом сунул в карманы и тут же вытащил, сцепил за спиной.

— Здравствуй, Сережа. Через несколько дней в школу. Соскучился?

Пауза затянулась, и мать сказала:

— Очень. Очень он у меня соскучился, Леонид Палыч.

— Я и не сомневаюсь. — Прохоренко подождал, когда они отойдут, повернулся ко мне: — Это ваш будущий ученик. Завьялов. Трудный парень, мягко говоря, малоспособный.

Я поглядела им вслед. Интересно, что думала эта женщина о своем сыне? Конечно, считала умным, хоро-

шим, добрым. Почему учителю не всегда удастся смотреть на ребенка такими глазами? А какой учительницей была бы я, если бы не стала матерью?

Завьяловы скрылись за мостом.

— Странное лицо, — подумала я вслух. — А кто мать?

— Мужа нет, а детей двое!

Наверно, и обо мне говорят с такой же иронией. . .

— Табу! Накладываю табу на все разговоры о школе! — спохватилась Люся.

— Жаль, Маша, что вы не приехали в Вожевск хотя бы на месяц раньше. И не поработали в нашем пионерлагере. Во-первых, вы бы не чувствовали себя новичком в коллективе, а во-вторых, это помогло бы вам лучше понять истинный дух, атмосферу нашей школьной жизни.

— Какая она?

— Мажорная. Макаренко признавал только один нормальный тон в школе: бодрость. Никаких сумрачных лиц, готовность к действиям, веселое настроение.

— Вот что, братцы, — сказала Люся. — Вижу, с вами не договориться. Придется брать штраф.

— Тогда уж лучше заплатить сразу, чем подвергать-ся гнусным вымогательствам.

Он вынул рубль и протянул жене. Потом снова обратился ко мне.

— Неужели Люся еще ничего не рассказывала о нашем эксперименте?

Люся вспыхнула и неожиданно забеспокоилась.

— Я хотела, чтобы ты сам. . .

— Ну вот, — Леонид Павлович едва заметно улыбнулся, — деньги забрала, а теперь сама просит, чтобы я рассказывал о школе. Типично женская логика. Ладно, знаю, что вам интересно. Слушайте внимательно. Чего мы добиваемся? Детской активности, самостоятельности и, главное, вовлечения максимального числа учащихся в игру. Принцип ее старый, как мир: школьное самоуправление. Открытия в этом нет, и все же мы называем происходящее экспериментом.

Люся прижалась к Леониду Павловичу. Он нахмурился, отодвинулся от нее.

— Маша должна понимать цели и задачи. Ей предстоит многое сделать для школы.

— Ты Машу не знаешь! Ее внутренней силе и целеустремленности можно поражаться.

— На Машу я очень надеюсь. — Леонид Павлович задумался. — Не знаю даже, с чего начать.

— Пожалуйста, с первых своих шагов. . .

Леонид Павлович вздохнул, хлопнул себя по коленям, поднялся.

— Даже рассказывая, волнуюсь. Так вот. . . Начали, как я уже говорил, с несложного, но, по-моему, достаточно точного расчета. Чтобы разбудить сонное, неактивное, безразличное царство — школу, а именно такой была та, в которую я пришел в прошлом году, нужны дрожжи, то есть сильные, энергичные ребята, заводилы во всех школьных делах. Где же можно было найти таких? — Леонид Павлович поглядел на меня с таинственным видом. — На улице. Среди тех, кто отлынивает от учебы. Конечно, в школу я их сразу привести не мог, тем более в середине года. Эти ребята нуждались в предварительной обработке, своеобразном воспитании, в методике, которая совершенно не подходила для любого обычного школьника. Для этого я решил взять их сначала в наш летний пионерский лагерь. Еще весной я обошел детские комнаты милиции, познакомился с большинством подростков, составил список возможных кандидатов на ту важную роль, которую я заранее приготовил одному из них. Я искал среди этих отпетых озорников одного-единственного, нужного мне, — вожака. В любой уличной компании всегда есть вожак. Силой своего организаторского таланта, энергией и скрытым, но в действительности огромным честолюбием такие ребята умудряются подчинить себе всех остальных. Да, я мечтал отнять у нашей улицы «голову», руководителя. И такого парня я отыскал.

Прохоренко прошелся вдоль скамьи: глаза счастливые, веселые.

— Ехать в лагерь он, конечно, не хотел, мура это, по его понятиям. Но тут милиция мне помогла. Потом он стал торговаться, чтобы и нескольких его дружков взяли. Я согласился. После этого я поехал в воинскую часть, к шефам, привез оттуда списанные портупеи, ремни, гимнастерки и отдал новичкам. Чуть-чуть выделил их из общей среды, вроде бы подчеркнул, что именно на них собираюсь опереться.

— Но выделять одних — не значит ли это создавать некую элиту?

Леонид Павлович согласился.

— Вы правы, Маша, и я это знал, но... не боялся. Видите ли, я очень большое значение придаю внешним атрибутам. Еще в армии я понял, что забывать о них никак нельзя. Через внешнее к внутреннему, как у Мейерхольда. Вы никогда не читали его работ? А зря. Так вот, он говорил, что внешнее способствует установлению точного внутреннего рисунка роли. Роли! А я заранее определил для каждого из них какую-то роль.

— У Лени собственная богатая юность, — сказала Люся. — Когда-то он был вроде этого мальчишки Щукина.

— Да, юность у меня была действительно не бедная. Но мне помогла армия. И должен признать, что организованность, постоянная подтянутость, аккуратность мне тогда уже сослужили хорошую службу. Ну, об этом еще будет время поговорить, давайте пока о школе.

— Мне, Леонид Павлович, все интересно.

— Видите ли, Маша, я думаю, что у педагога в нынешних условиях нет времени на воспитание одного человека. Учитель — не бонна, не гувернер. «Пáрная» педагогика, как это у нас называют, душеспасительные беседы только расслабляют ребят, порождают духовное потребительство. — Он почувствовал мое несогласие, но уверенно продолжал: — Так вот, вскоре выяснилось, что тот уличный вожак не только хочет остаться вожаком, но любыми средствами решил добиваться этого и в лагере. И тогда я сообразил, что если Щукину дать почувствовать, что его и мои желания близки, то у него не останется оснований находиться в оппозиции. Вы видите, как логически просто мы начали свою работу. Да, доверие. Да, знание характера и психологии. И, если хотите, некоторый компромисс!

— Пожалуй, я бы побоялась сразу давать ему власть.

— Вы не поняли. Я только сказал, что он хотел получить власть. Я прекрасно знал, что мне еще только предстояло одержать победу над Щукиным, заставить его безгранично меня уважать.

Мы поднялись на взгорок, лес был ниже нас, а где-то впереди Прокша разделялась на два рукава.

— Первые дни в лагере Щукин вел себя нагло. Обложил ребят данью: брал компотами. Курил даже в присутствии воспитателей. Подхожу к нему, спрашиваю: «Ку-

ришь?» — «Курю». А вокруг ребята стоят. Это значит — сейчас или его авторитет покачнется, или мой.

«Не хотите ли, Леонид Павлович, хорошую сигаретку?» — «Нет, — отвечаю. — Боюсь». — «Чего же?» — «Вредно». — «Ах, перестаньте, директор! Это все лабуда. Табак даже успокаивает нервы. И потом взгляните: вот я курю, а ростом выше и сильнее любого из них». — «Выше — факт. Потому что старше. Но сильнее — сомневаюсь. Ты просто запугал ребят. Но вообще-то организм у тебя дряблый». — «Зря обижаете, директор! Могу с двумя потягаться, с любыми». — «А со мной?» — «В каком смысле?» — «Пошли на охоту. Выдержишь — сообщу всем, что ты действительно сильный, тогда кури открыто, не выдержишь — опозорю». — «Ну что же, по рукам».

И вот, Маша, на следующее утро повел я его в лес. Сколько мы с ним прошли, теперь и сказать трудно, но, честно признаюсь, парень оказался упрямым. Ташу его за собой — колени у него дрожат, а он молчит. Я песни пою, с пригорка на пригорок перескакиваю, сам бы присел, а нельзя. Погляжу осторожно: идет, зубы стиснул, чертенок, а идет. «Давай, говорю, рюкзак. Устал ведь». Только головой качает. В какой-то момент я уж подумал: не возвратиться ли? И тут он вдруг говорит: «Сядем, Леонид Павлович. Не могу больше». Раскинул я на земле брезент, вытащил консервы, набрал воды из ручейка, перекусили. Полежали немного молча, и тогда я спрашиваю: «А как ты думаешь, Юра, не возглавить ли тебе лагерную дружину?» — «Мне?» — «А что? Авторитет у тебя большой, будешь моим заместителем». Он смутился, но глаза засветились. «Какой же авторитет, говорит, если вы меня на утренней линейке опозорите?» — «Нет, не опозорю. Но только одного от тебя потребую — курить брось сейчас же». Подумал немного, кивнул. «Добавку будешь получать, как все». Опять согласился. «А авторитет свой постарайся укреплять иными способами: все на колхозное поле — и ты с ними, у всех соревнования по плаванию — и у тебя тоже». — «Ладно, говорит. Я вас не подведу».

И представьте, Маша, не подвел. — Леонид Павлович удовлетворенно вздохнул. — Кстати, Щукин теперь будет в вашем классе. У меня большая надежда на вашу помощь, очень большая. В лагере не имело значения, как учился ребенок, в школе будет иметь.

Леонид Павлович замолчал.

— Другим на такое потребовались бы годы. Леониду — месяц, — сказала Люся с гордостью.

— Бывало, взгляну в окно, и сердце поет. Идет Шукин. Хозяин. Шаг стремительный, быстрый. На линейке приказы коротки, энергичны. Что ни поручишь — все выполняется. Стал другим человеком, да и друзья его тоже. Конечно, таких еще мало, но будет больше, будет. Ну? — спросил он. — Не очень-то все это похоже на заурядные уроки? Я ведь до школы в институте работал. Бывало, придешь домой, сядешь в кресло, и невыносимая тоска навалится на тебя. Что сделал за день? За месяц? За год? Вот я диссертацию писал, крутил три года на арифмометре, выводил среднепотолочные цифры, тонну бумаги исчеркал, а кому это нужно? Кто меня за такое «созидание» знает, а тем более уважать будет? Сорок пять стукнуло, жизнь идет, а след, какой-нибудь след я оставил? Плюнул я тогда на все и пошел в школу. Зато теперь если я и сделаю диссертацию, то иначе. Стыдно за нее не будет. — Он засмеялся. — Думаете, карьерист? А я, Маша, на этот счет иначе мыслю. Не важно, как тебя назовут, а важно, что ты сам считаешь. Я верю, что польза от дела не одному мне, и поэтому ставлю на свою идею, как на верную лошадь, крупно ставлю — всю свою прошлую жизнь. Выиграю — победитель, все, все окупится, проиграю — сам виноват, и поделом.

— Не проиграешь, — сказала Люся. — Столько уже сделано.

Леонид Павлович отмахнулся.

— Да ничего еще не сделано! Пришел в школу с середины года. Нужно было приглядеться к учителям, понять, кто с тобой, кто против. Некоторые летом уже перешли в другие школы. Я не задерживал. Нагрузка ожидается огромная, я людям покоя не даю, бездельники для меня перестают существовать вообще. — Он вздохнул. — Итак, Маша, начинаем. На вас, самого близкого к нам с Люсей человека, я бы, признаюсь, хотел опереться особенно. Вы очень, очень мне нужны. Очень!

Люся взяла меня за руку и легко сжала ладонь.

— За Машу я, Леня, головой ручаюсь. Ты даже не представляешь, какой она человек. . .

— Ну уж, — смутилась я. — Обыкновенный человек.

Сегодня мы проснулись в половине седьмого, но Леонид Павлович уже собирался уходить. Он подошел к Вовке, подбросил его, еще вялого и сонного, к потолку.

— Ну, ученик, поздравляю с Первым сентября. Желаю стать директором школы.

— Протестую! — Люся засмеялась. — На старости лет мы никогда не сможем застать его дома.

— Ладно, — уступил Леонид Павлович, — желаю тебе стать человеком.

— Что же я, не человек? — теперь обиделся Вовка.

— Человек, человек. — Леонид Павлович вынул из кармана красивую шариковую ручку. — Это тебе. Держи.

Завтракать мы сели втроем, а вернее — вдвоем. Люся ухаживала за нами, сновала между столом и плитой. Она поставила перед Вовкой любимые пирожные, заварные, с желтым, пахнущим сливками и ванилью кремом, густое клубничное варенье, а потом вынула из духовки запеченные яблоки, облитые сиропом.

По радио не переставая играли марши, затем старенькая учительница дрожащим голосом заговорила о первом уроке.

Люся вынесла новый пиджак, заторопила Вовку, — она была рада, что провожать его в школу придется ей. Подвела к зеркалу. Вовка сбил челку набок, сурово поглядел на себя.

Без десяти восемь мы разошлись. Чем начнется для меня сегодняшний день? Не осрамлюсь ли?

Дорога была запружена школьниками. Мальчишки-малыши были, как всюду, в костюмах, купленных навырост, с не гнущимися в коленках наутюженными брюками, в нескладных, топорщащихся курточках. Девочки выглядели аккуратнее — эдакие важные, хорошо причесанные дюймовочки с пудовыми букетами флоксов и георгинов.

Вчера на первом педсовете Леонид Павлович представил меня учителям, сказал излишне много хорошего. В этом была его тактическая, что ли, ошибка. Уважение в коллективе нужно завоевывать самой, а не получать в виде директорских рекомендаций.

Правда, большинство учителей довольно благожелательно поглядывало в мою сторону, и все же один иронический взгляд я уловила. Это был тот, вагонный Вовкин приятель, наш спутник.

После педсовета мы с ним столкнулись в дверях. Он будто шутя бросил:

— Так вот кто такой ваш дядя Леня. . .

Я смутилась.

— Леонид Павлович — муж моей институтской подруги.

— Я это понял. — И опять ироническая искорка, такая многозначительная и обидная, промелькнула в его взгляде. — Ну что ж, давайте хоть теперь познакомимся.

Он назвался то ли Константиновым, то ли Костомаровым.

Неприятное ощущение долго не покидало меня. Бог мой, как бывает! «Милый, симпатичный» — совсем недавно, а теперь — бр-р! — не хочется вспоминать.

. . . Я даже не заметила, как подошла к школе. На стенах — кумачовые плакаты, стенды с фотографиями, возле которых весело шумели ребята. Перед входом на главную лестницу замерли часовые. Они были в военной форме с деревянными ружьями. Малыши буквально столбенежили перед ними.

В учительской я обратила внимание на полную седую женщину. Она глядела на меня долгим неподвижным взглядом, точно обдумывала, стоит ли отвечать на мое «здравствуйте». Наконец слегка наклонила голову.

Загудело школьное радио, и мальчишеский голос объявил:

— Пятым, шестым, седьмым и восьмым классам построиться в актовом зале.

Я вышла из учительской. Старшие теснились, толкались, ссорились из-за мест.

Рослый паренек с большими голубыми глазами, длинными черными, будто подведенными, ресницами, в военной гимнастерке, затянутой на худенькой талии широким солдатским ремнем, подошел к Леониду Павловичу, спросил о чем-то.

— Председатели советов отрядов и командиры лагерных отделений, встаньте перед своими классами. Смирно! — Голос Прохоренко сразу заставил всех стихнуть.

Паренек повернулся — четко стукнули каблуки.

— Товарищ директор! Рота летнего пионерского лагеря, а также ученики школы по вашему приказанию построены. Командир роты Щукин.

— Вольно.

— Во-ольно!

Леонид Павлович неторопливо прошелся вдоль строя. Голова опущена, руки за спиной. Остановился. Несколько раз едва заметно перенес тяжесть тела с пяток на носки. Послышался скрип половиц.

— Нынешнее первое сентября для всех нас — день особого значения. — Леонид Павлович медленно обвел зал глазами. — Здесь я вижу ребят, знакомых друг с другом только по школе, немало и таких, кого объединил в дружный коллектив пионерский лагерь. Я думаю, мне нет необходимости рассказывать о летних делах. Большинство их знает. Я хочу только прочесть одну короткую телеграмму. — Он вынул из кармана бумагу. — «Благодарим за прекрасную работу. Точка. Колхоз перечисляет на счет школы две тысячи сто рублей восемьдесят семь копеек. Точка. Правление».

Леонид Павлович поднял руку и минуту стоял так, ожидая, когда утихнет гул.

— Деньги заработали, — сказал он. — А теперь проблема потяжелее: как их истратить? — Он подождал, когда стихнет смех, и опять прошелся вдоль строя. — Впрочем, вы правы, это не самая главная проблема. Меня волнует другое. В лагерном самоуправлении выявились замечательные организаторы, вот такие, например, как Юра. — Он положил руку на плечо Щукина и тут же убрал ее. — Но разве имеем мы право закрыть глаза на тот факт, что некоторые из ребят попали в школу после большого перерыва? Их школой долго была улица. Я не боюсь говорить об этом, потому что знаю, как много они поняли летом. И жизнь покажет, сумеют ли они так же хорошо учиться теперь, как они работали в колхозе. — Леонид Павлович приблизился к маленькому белесому пареньку, пристально поглядел на него. Мальчишка вздрогнул, вытянулся перед директором. — Скажи, Петр Луков, правильно ли сейчас рекомендовать тебя или Щукина в совет дружины?

— Нет.

— Значит, вы обязаны доказать школе, что можете учиться не хуже, а даже лучше многих.

— И даже лучше! — весело подтвердил мальчик.

Опять смех.

— Смирно! Внести лагерное знамя!

Раздалась барабанная дробь, и в образовавшийся проход торжественно вошли знаменосцы.

— Пока существует знамя, — говорил Леонид Павлович, — существует и полк. Поэтому мы должны поклясться, что будем хранить знамя как зеницу ока. — Он оглядел ряды школьников. — У нас сражение не только позади, но и впереди. Да, сражение, которое предстоит, тяжелое. До начала лета продлится оно, день за днем девять месяцев. И это сражение — учебу — мы должны выиграть без потерь. Предлагаю двоечников считать бесславно павшими. И в лагерь на следующий год их не брать.

— У-у-у, — не то одобрительно, не то настороженно отозвался зал.

— Так поклянемся же, что будем отлично учиться, помогать друг другу, ничем не опозорим славного имени Второй вожевской школы.

Прохоренко опустил на одно колено, поднял край алого полотнища и поцеловал его.

На лбу у Шукина выступили капли пота. Он подождал, когда директор отступит, и тоже припал к знамени.

Не знаю отчего, но я неожиданно вспомнила детдом, где прожила несколько послевоенных лет. Как там все было непохоже на это! Комната — клетушка в деревянной избе. Четыре койки. Учительница стоит в дверях — пройти невозможно, держится за косяк, вот-вот упадет. Мы, малыши, глядим на нее и плачем. . .

— Несколько слов хочу сказать о Шукине, потому что он особенно хорошо показал себя летом. Мне будет больно, если среди жертв учебного года окажется он. Но если мы воюем, то пусть все будет как на войне. Убит так убит. За живой водой не поедем, не ждите.

Я успела заметить, как преданно смотрит подросток на директора.

— Не упускай времени, Юра. Нагонять трудно, а потерянный день даст тут же себя знать. — Леонид Павлович повернулся к нему и приказал: — А теперь встать на место рядовым. Председателю совета дружины принять командование!

Я приподнялась на цыпочки. Круглолицая бледненькая девочка с косичками пошла на сцену, остановилась рядом с Леонидом Павловичем.

— Дружина! — выкрикнула она.

Голос ее сорвался, пискнул, и мальчишки захохотали. Девочка откашлялась и повторила команду:

— Дружина, смирно!

Я чувствовала себя неуверенно до того момента, пока не вошла в класс. После линейки меня словно бы преследовала мысль, что я впервые начинаю работать и ничего не знаю. И за плечами не десятилетие в школе, а в лучшем случае небольшая студенческая практика. Но моя неуверенность тотчас же исчезла, как только я подошла к учительскому столу.

Оглядываю ряды парт. В глазах ребят любопытство: какая она, новенькая? Повезло им с ней или нет?

Раскрываю журнал. Начинаю перекличку. Фамилии сразу не запомнить, но лица — проще.

— Боброва!

— Я.

— Горохов!

— Здесь.

Отмечаю про себя реакцию: как поднялся, громко ли ответил, как поглядел. Но главное, пытаюсь больше «считывать» с лица: что думает? Первый урок есть первый урок, но и сегодня мне хочется хоть что-то узнать о ребятах.

— Завьялов!

Оглядываю класс, никто не встает.

— Я-а...

С последней парты поднимается ученик. Сразу узнаю его. Это тот мальчик, которого мы встретили у реки. Смотрит не на меня, а в сторону, будто хочет проверить: не ослышался ли?

— Садись.

Теперь он стоит.

— Ты всегда такой... быстрый?

И сразу понимаю, что допустила ошибку. Класс хохочет. Наверное, он мишень для постоянных шуток.

— Он такой от рождения, — нашелся остряк. — Мама выронила из коляски.

Завьялов садится, я успеваю заметить его враждебный взгляд.

Маленький белесый шутник крутится на скамейке, как воробушек. Я его видела на линейке, это к нему обра-

щался Леонид Павлович. Мальчик действительно похож на птенца: хохолок, худенькая шейка, остренький носик и совсем белесые из-за бесцветных ресниц глаза.

— Как твоя фамилия?

— Я по списку дальше.

— Некоторых можно и без очереди.

— Это инвалидов, что ли?

Класс, слава богу, забывает о Завьялове. Нужно быть осторожнее.

— Луков моя фамилия.

— Вот и отлично. Считай, что я тебя запомнила с первого взгляда.

Обстановка в классе свободная, но я этого не боюсь. Пусть. Когда будет нужно, я заставлю их слушать.

Узнаю среди своих и ту девочку, председателя совета дружины. Ее фамилия Семидолова. Встает быстро, смотрит с доверием.

— Мне кажется, — говорит она, — что Лукову лучше сидеть одному.

Чувствую: на меня смотрят тридцать пять пар глаз. Ждут, как поступит учительница. Я знаю категорию таких детей, как Семидолова. Тип службиста: хорошо все то, что нужно старшему. Их долг — предупреждать.

Ругаю себя, потому что, возможно, неправа. Еще рано ставить Семидоловой «диагноз».

— Спасибо. Если найду нужным, обязательно пересажу.

Луков облегченно вздыхает. Он что-то рисует на бумажке и передает Семидоловой. Могу представить, что там изображено. . .

Семидолова разворачивает листок и показывает мне луковский шедевр: кукиш.

Последний по списку — Щукин.

Смотрит на меня спокойными голубыми глазами. Трудно представить, что три месяца назад он был отлично известен в милиции.

— А теперь, — я закрываю журнал, — остается представиться мне. Зовут меня Мария Николаевна, фамилия — Струженцова.

— Как, как?

Поворачиваюсь и пишу на доске. Слышу, сзади что-то происходит. Скрипят парты. Пытаюсь понять: уж не перемещение ли это? Краем глаза замечаю, что боковые

ряды парт почти наезжают на меня, берут в клещи. Шаг назад — и я спиной упрюсь в них. Ну и класс! Может, я сама виновата? Поддержи я Семидолову, и, может, они побоялись бы поступить так? Теперь даже она молчит, не зная, как я буду реагировать на ее подсказки.

Тишина. Ребята хотят поглядеть на выражение моего лица... Ждут моего крика. Представляю: уже одно это выжидание вызывает их радость.

Медленно стираю написанное.

— Запомнили?

— Угу.

— А сейчас я буду считать до трех, и парты окажутся на месте. Ра-аз!

Понимаю, они разочарованы. Скандала не получилось.

— Два, — мой голос становится категоричнее.

Ага, поехали.

— Три!

Оборачиваюсь: все, как было.

Чувство маленькой, но все же завоеванной победы подбадривает меня. Отрадное начало! Как у боксеров на ринге. Приглядываемся друг к другу, нащупываем слабые места. Ничего, я не боюсь.

Кое-кто поглядывает на меня трусливо: мол, они-то не виноваты. Впрочем, пугаться им нечего: весь класс серьезно не накажешь. Наверняка решение о путешествии вокруг учителя было принято до урока. Организация сработала на славу.

Молчу. Молчит и класс.

Ребята ждут привычных нотаций. Им хочется, чтобы я «разорвалась», «лезла в бутылку», тогда можно будет повеселиться.

Но я знаю: самое худое, когда не даешь себе остыть.

Спокойно спрашиваю:

— Вы изучаете литературу. А вот может кто-нибудь из вас ответить: для чего нужны книги?

Тишина. Боятся попасть впросак — или другое: они ошеломлены мирным поворотом событий.

Оглядываю класс. Жду. Удивление у некоторых в глазах так и не проходит, у других — нагловатость. Торопиться с воспитанием не стоит, проиграю больше.

Вон девочка с косичкой, Боброва, вроде... Опустила глаза, теревит промокашку, страдает.

— Ну, как ты думаешь?

— Я?

Ищет ответ на потолке, блуждает по стенам глазами — знакомое выражение.

— Смелее, смелее, — обращаюсь я к классу. — Вы же доказали, что не трусы.

Это сразу разряжает обстановку, вроде бы своим заявлением я простила их, оценила их шутку.

— Книга учит жить.

— Точнее...

— Думать.

— И еще.

Молчат.

— Можно добавить? — это спрашиваю я.

Смеются. Оценили, одобрили мое поведение окончательно.

— Мне кажется, что книги учат людей понимать друг друга. — Я прохожу мимо притихших, но все еще не доверяющих мне ребят. — Представьте, что у каждого из вас есть трудности, радости, свои удачи и неудачи, но вы не можете с ними ни к кому обратиться. Мир словно очерствел. И каждый в этом мире думает только о себе. — Я обвожу взглядом класс. — Вы не поймете меня, я не пойму вас. Люди перестанут думать друг о друге. Кто-нибудь из вас слышал о Корчаке?

Мне не ответили.

Тогда я сказала:

— В какой-то момент мне понадобилось решить: что же такое доброта? И я стала читать. И нашла ответ. Добрый человек, ответил мне в своей книге Януш Корчак, это такой человек, который обладает воображением, понимает, каково другому, умеет чувствовать то, что чувствует другой. И вот сегодня мне кажется, что вам это еще не всегда удастся. Так ведь?

Я посмотрела на них, и каждый, с кем встречался мой взгляд, опускал глаза.

Тогда я стала рассказывать им об этом польском педагоге, писателе, враче, человеке. Я говорила о его жизни, о доме сирот, который он создал в Варшаве, о немцах, приказавших старику педагогу доставить детей на вокзал и там погрузить их в фашистский эшелон, идущий в Трешлину — лагерь смерти.

— Он накормил детей, одел их и причесал. Потом по-

строил парами. И повел по улицам. Он держал на руках двух малышей, старый доктор. И когда какой-то фашист узнал в нем известного писателя и предложил остаться, Корчак спросил: «А дети?» — «Дети поедут». — «Ошибаетесь, — сказал Корчак. — Не все люди негодяи». И вошел в вагон.

Настороженная тишина, которую я застала, войдя сюда, и та тишина, которая была за моей спиной, когда я писала на доске свою фамилию — шкодливая, а может, и подлая тишина, — ничего общего не имела с наступившей. Я проходила вдоль рядов парт, останавливалась, вглядываясь в лица мальчиков и девочек, с которыми мне теперь предстояло работать.

Иногда то, о чем я говорила, казалось мне слишком сложным, слишком серьезным для них, но стоило поглядеть на эти лица, как я успокаивалась: понимают. Сложность и серьезность разговора с ними — в этом я убедилась за десять лет работы в школе — ребята приравнивают к уважению и доверию.

А ведь был момент, когда я считала, что в школе реальна только власть. Каким простым все казалось тогда. Нашалил мальчишка — вызвала отца. И думала, что воспитываю.

Луков расстегнул пиджак, откинулся на спинку парты. Семидолова и Боброва сидели не шелохнувшись.

Что-то чертил Горохов. Его голова была чуть наклонена, рот приоткрыт — так сосредоточиваются дети.

Я прошла мимо. Остановилась. На листке был нарисован фашистский солдат. Он стоял в воротах концлагеря, огромный, в каске, надвинутой глубоко на лоб. За колючей проволокой толпились дети. Их было много, но все почему-то одного роста, одинаковые, как опенки, с огромными, кричащими от голода и горя глазами.

Холод пробежал по моей спине, когда я увидела, что один из детей лысый.

Я наклонилась к Горохову и спросила:

— Корчак?

Он кивнул.

— Подари мне рисунок.

Мальчик не удивился, отвел свою руку.

Я положила листок на учительский стол, распахнула окно. На школьном дворе шелестели деревья. Они были еще зелеными, но в их кронах пробивались желтые

листья, как первая седина у человека — сигнал приближающейся осени.

На мгновение я забыла, что нахожусь в вожевской школе. Я опять была в Игловке, среди своих. Казалось, повернусь к классу и увижу знакомые-знакомые лица. И вдруг острая боль в виске заставила меня вскрикнуть.

Какие-то секунды я смотрела на класс: в лицах ребят было недоумение.

Тогда я опустила глаза — на полу лежала бумажная пулька.

— Кто это? — Я сказала так тихо, точно вопрос предназначался мне одной. А может, я только подумала, но не произнесла этих слов?

Ребята молчали. Тогда я медленно обвела взглядом класс от парты к парте. Кто из них? Кто?

Семидолова с ужасом поглядела на меня.

— Кто стрельнул? — она будто перевела на понятный им язык мой шепот.

Я села. Сцепила пальцы рук так, что они побелели в суставах. Меня разрывало желание выплеснуть на них досаду, но я мысленно приказала себе: нет, только не кричи. Но как, как я должна вести себя с ними? Считай. Ладно. Сто. Девяносто девять... Даже трудно вспомнить следующую цифру... Девяносто восемь. Девяносто семь. Девяносто шесть. Нельзя поддаваться вспышке. Сначала заставь себя думать логично. Ну и словечко же ты отыскала — логично... Девяносто пять. Девяносто четыре...

Я свободнее вглядываюсь в детские лица. Щукин смотрит прямо, спокойно. Луков повернул голову, ищет виноватого. Может, он-то и стрелял? А Завьялов? Что-то чертит на парте.

— Урок продолжать не буду, пока не узнаю, кто стрелял.

— Завьялов! — Луков осуждающе качает головой. — Ну что мы из-за тебя сидим? Так было интересно... Сорвал урок.

Тот растерянным, беспомощным взглядом обводит класс, но большинство отворачивается от него.

— Значит, ты?

Куда исчезает мой гнев? Если бы он смотрел нагло, отказываясь, я бы поговорила с ним иначе. Но Завьялов опускает голову.

— Да, — произносит он чуть слышно.

— Пстой и подумай, а мы продолжим урок.

Вижу руку Горохова, но спрашивать не хочу. Тогда парнишка приподнимается, а руку тянет так, что его нельзя не спросить. И выражение лица у него решительное.

— В чем дело, Горохов?

— Это не Завьялов! — Мальчик поворачивается к Завьялову и со злостью говорит: — Что же ты молчишь? Не ты же стрелял...

Мне неприятен острый взгляд Шукина. Он наклоняется к соседу, что-то шепчет.

— А кто?

— Кто — я не видел, но не он. А ты, Луков, как был, так и остался сволочью.

Горохов садится. На его скулах нервные желваки. При всем желании что-то сказать ничего не могу придумать. Не о доброте же и нравственности теперь говорить. Я вспоминаю о Завьялове.

— Садись, — говорю наконец. — Только жалкий трус, ничтожество может прятаться за спину другого.

Кажется, на меня пристально смотрят. Поднимаю глаза и встречаюсь с жестким взглядом Шукина.

— Я стрелял.

Гляжу на него и не верю. Почему он? Чем я ему помешала?

— Это я стрелял, — повторяет Шукин.

Значит, действительно он.

Короткая судорога бежит по его лицу, превращается в ядовитую усмешку. Я вижу: ему страшно. Он не понимает меня, а значит, боится. Он не может представить, как я поведу себя дальше. Трус больше всего боится тех, кого не может понять.

— Рогатку на стол!

Он выходит из-за парты враскачку, с нарисованной, чужой, вроде бы независимой улыбкой, но в глазах его — страх.

— Будьте любезны, — он кривляется перед классом. — И пульки.

Я гляжу на его спину. Почему? Почему он стрелял? Что это? Неприязнь? Случайность? Мальчишеская выходка?

Бросаю рогатку в сумку, защелкиваю замок.

Тяну время, жду, когда сядет Шукин, а сама боюсь выдать голосом или жестом свою растерянность.

Хлопает дверь. И весь класс с шумом поднимается из-за парт.

— Садитесь, — Леонид Павлович подходит ко мне. — Ну, как дела?

Он подает мне руку, будто бы мы не виделись сегодня, и, улыбаясь, спрашивает:

— Подружились?

Мне нестерпимо хочется пожаловаться ему. Вытащить Щукина к доске, и пусть бы он сам рассказал о своем поступке. Но я молчу. Смотрю на Щукина, он — на меня. Я думаю: если скажу, то многое потеряю в глазах класса.

— Мы только еще знакомимся, — говорю Леониду Павловичу.

Глава вторая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Поезд приближался к Вожевску. Лежа на животе, я глядел в окно.

Проехали какую-то станцию — даже не успел прочесть названия — и сразу будто бы оказались в тоннеле: лес подступил к насыпи, застил свет. Потом потянулось раскопанное картофельное поле с желто-зелеными холмиками ботвы, пруд, прикрытый наполовину облетевшими листьями. Поезд загрохотал по мосту: проскочили узкую, как ручеек, речку, и опять — лес.

Я пошел покурить: мне хотелось подумать. И если в Москве существование Вожевска казалось далеким прошлым, то теперь, когда до вокзала оставались считанные километры, прошлое становилось реальностью, а Москва отодвигалась в былое.

Что же было в моем московском прошлом?

Рита!

Имя жены, она сама возникла в памяти, и тут же колеса на стыке рельсов затарахтели четкое «Ри-та, Ри-та».

У меня не осталось к ней, пожалуй, ничего, кроме привычки. А ведь когда-то все казалось иным.

...Представить себя таким, каким я появился в Москве семь лет назад, сейчас почти невозможно. В чемодане, кроме белья и путевки в Институт усовершенствования учителей, лежала папка с вырезками моих статей

из районной газеты и двадцатью стихотворениями, перепечатанными на старинном совхозном «ундервуде».

Боже, какой яркой показалась мне тогда Рита! С ней я словно попал в иной мир, в другое измерение. Имена, которые были для меня священными, она произносила свободно, будто все эти знаменитые Вити и Жени — ее братья. Нет, не корысть двигала моим восторгом, хотя, не скрою, мне было лестно внимание ее отца, известного журналиста, его благожелательное отношение к моим стихам.

После свадьбы я работал в газете. Рита — ассистентом на кафедре патанатомии одного из медицинских институтов. Прекрасно помню то веселое возбуждение, которое тогда владело мной. Я много писал, брал дальние командировки, но одновременно я уже мечтал о другом — в моих блокнотах появились наброски повести.

Я решил написать о первых шагах учителя. Тут придумывать не приходилось: я писал о себе.

Книгу я издал сравнительно быстро. И вот тут-то я и решил, что обязан сразу же писать новую вещь, утвердиться в литературе. «Должен, должен», — повторял я, но о чем писать — не представлял.

Я стал нервничать. Придумывал ходульные схемы, подстегивал себя. Герои новой повести не хотели жить, но я заставлял себя писать, приставлял фразу к фразе, старался не думать о результате.

Первый удар отрезвил меня. Позвонил редактор и голосом, в котором были одновременно скорбь и соболезнование, сообщил, что наконец-то получен отзыв на мою рукопись от рецензента.

— Что же он пишет? — спросил я.

— «Если в первой повести, — начал читать по телефону редактор, — была, наряду с биографичностью, и какая-то самобытность, то этого нельзя сказать о новой вещи Лаврова. Писатель выбрал путь, проторенный другими. Вымученность, надуманность, ученическое копирование видны на каждой странице. Только у Лаврова и беднее, и бледнее. Как говорится, труба пониже, а дым пожиже. Кому нужно такое?»

— Ну, а вывод? — спросил я, чувствуя всю нелепость своего вопроса.

— Вывод? — удивился редактор. — Так это же и есть вывод.

За окном проплывает желто-серое гигантское здание цементного завода, так напоминающее своими куполами древнеазиатский архитектурный ансамбль. Серый пепел — точно пыль веков.

Надо собираться: поезд в Вожевске стоит три минуты. Впрочем, успею. Моя поклажа не из тяжелых, а до вокзала осталось не менее полчаса.

Внешне мои отношения с Ритой были неплохие. И все же в эти годы между нами медленно, но верно назревал разрыв.

Мне вспомнился случай. Мы пошли навестить Ритино деда, больного, почти беспомощного в последние годы. Дед был известным в Москве искусствоведам, и мне нравилось бывать у него, слушать его рассказы о живописи.

В тот раз старик показался бодрее обычного, говорил о Ван-Гоге. Вернее, о дзен-буддизме и его последователях в европейской культуре.

— Даже теперь он пытается отдавать... — сказала Рита, когда мы возвращались домой. — А ведь ему осталось... максимум месяц.

Я вздрогнул.

— Почему ты так говоришь?

— Потому что знаю.

— Что? — заорал я. — Что можно знать об этом? Ты ведь даже не врач, а патологоанатом.

Она улыбнулась.

— Но зато я хорошо знаю, чем кончаются такие болезни...

Мне стало неудобно. А она уже пыталась говорить о другом, но разговора не вышло.

А через три недели дед умер. Я стоял у гроба почти чужого для меня человека, слушал то, что говорили о нем, а сам думал о Рите.

Она была заплаканная. Я старался не смотреть на нее, такой красиво-театральной казалась ее печаль.

Среди учеников и друзей деда, сменявших друг друга у гроба, я узнал Конитина. Однажды я брал у него интервью. Конитин подошел к гробу и долго скорбно молчал. И пока он молчал, я вспомнил, что сказал мне дед,

прочтя то мое интервью: «Вы сделали худое дело, Витя. Вы рекламируете прохвоста. Сколько прекрасных статей не увидели света по его вине, если бы вы знали... — Он тяжело вздохнул и совсем уже тихо прибавил: — Когда-нибудь разберетесь...»

Я думал и о Конитине, и о Рите, на какое-то мгновение они слились для меня в одно лицо. По известной поговорке, я должен был, как говорят, съесть с человеком пуд соли, а я доедал еще первые щепотки, впереди было так много, и мне становилось страшно от мысли, что разочарования только начались.

Приближался отпуск. Мы стали собираться на юг. И тут пришло письмо от мамы. Она писала, что этой зимой не сможет к нам приехать, лучше бы мы с Ритой погостили осенью у нее.

Я прочел письмо Рите, заранее зная ее реакцию.

— У меня был слишком тяжелый год, — сказала она, — чтобы ехать в деревню; кроме того, мне нужны ванны, я чувствую себя в последнее время хуже.

И опять это была ложь.

Мне необходимо было сменить обстановку, побыть одному, разобраться во всем. И меня вдруг потянуло домой, к прошлому...

Вожевск возник внезапно. За окном появились садовые участки, за ними потянулась старая улочка с одноэтажными деревянными домами.

Вокзальную площадь обрамляли высокие каменные здания. Мама рассказывала об этом, но все же было удивительно попасть в такой неузнаваемый Вожевск.

Вспыхнул огонек такси. Я подумал: девять лет — срок немалый даже для города. Как же изменился я сам за эти годы!

До Енюковки, нашей деревни, можно было добраться только рейсовым автобусом, который отправлялся через три часа. Я сдал чемодан в камеру хранения и не спеша пошел в город.

Гостиный двор в центре не изменился, даже витрины остались прежними. Я свернул направо и увидел колышущееся скопление народа — базар. Через него можно было пройти к реке.

Я миновал прилавки, за которыми торговали молоком, курами, игрушками из бересты: куклами, туесками, корзиночками.

На реке все было привычным, как на знакомой старой фотографии. За лето Прокша обмелела. На ее середине выступил островок песка. Недалеко в лодке сидел неподвижно, будто бы спал, сгорбившийся рыбак. Мне захотелось засвистеть, крикнуть, заставить его обернуться.

Такой оглушающей тишины я не слышал давно.

На том берегу стояла церковь, маленькая, выложенная из красного кирпича, без колоколов, с пустыми провалами звонниц, с ободраным шатром, так что теперь на меня глядели прутья переплетений, напоминающие макет атома...

Пора было возвращаться, чтобы не опоздать на автобус.

Я начал подниматься по тропинке и остановился как вкопанный: навстречу шла Маша с ребенком. Такая же худенькая, как много лет назад, почти девочка. Ее каштановые волосы спадали на плечи, голова была чуть наклонена — я хорошо помнил этот ее поворот головы.

Я стал торопливо думать, что сказать ей.

Когда женщина приблизилась, я понял, что обо-
знался.

Рейсовый автобус повернул у леса, проехал мимо остановки у сельсовета — я успел заметить растерянные лица ожидающих пассажиров — и затормозил возле маминой амбулатории.

— С доставкой на дом. — Водитель улыбнулся. — Привет Анне Васильевне и пожелание ей здоровья.

Енюковка не изменилась. Одна улица километра на четыре, ровный ряд домов, только здание сельсовета выступает на дорогу своим роскошным «барским» крыльцом. За огородами — лес, справа речка, почти ручеек, но мы и здесь умудрялись купаться и плавать. Я подумал: хорошо, что мама меня не ждет. Уже волновалась бы...

Виделись мы редко, не чаще раза в году, зимой. Мама приезжала в Москву на неделю и с первого дня начинала говорить, что торопится назад. Больные, хозяйство — какие только дела не ждали ее в деревне!

Я поставил чемодан на землю, постучал в окошко, подождал.

Мама, вероятно, не было. Показалась незнакомая девчушка в белом халате, скрылась.

Во дворе на крылечке сидели, греясь на солнце, старик со старухой. Я поздоровался. Дед нехотя повернул голову, уставился на меня.

— Приехал какой-то, — доложил он старухе, будто бы никого не было рядом.

— Это же Анютин парень.

— Чьей Анютки, нашей? Витька, скажешь?

— Он.

Теперь и я узнал их. Бабку звали Ниной. Она с утра до вечера бегала по деревне, только пятки сверкали. Мало что осталось от бывшей Нины, разве глаза да голос.

Дед — колхозный бухгалтер. Правда, он уже давно не работал. Славился своим садом — каких только чудес там у него не вырастало!

Мы с ребятами как-то залезли в этот сад, дед так пальнул из ружья солью, что я был не меньше недели.

— Что же ты такой старый? — спросил меня дед.

— Да и ты не новый. Десять лет назад был моложе.

Это, кажется, понравилось деду. Он с одобрением сказал бабке:

— Сам-то справный. Ишь как там наряжают.

— Шишка! — сказала бабка. Видно, что-то слыхала обо мне.

— Шишка, — кивнул дед. — Для такой одежды денежки нужны большие.

Я спросил:

— Мама больных принимает?

— Кабы мама! Приехала вот из Миглощев Верка. Понимает ли что в болезнях, нет — не знаем.

— А мама?

Они переглянулись.

— Твоя-то?

Мне стало страшно.

— Уже давно неможется ей...

— Болеет? Что с ней? Она не писала.

— А кто знает, — сказал дед спокойно. — Говорят, рак. Я повернулся и пошел, побежал по грядкам, через огороды.

Картофель не был убран, пожелтевшая, переросшая ботва стелилась по земле. Яблоки осыпались, падалица валялась по всему саду.

Мой глаз замечал все, к чему не притронулась мама. а ведь она любила хозяйство.

Дверь оказалась закрытой. Я подергал ручку, прислушался. Узнал неторопливые шаги.

Света в сенях она не зажгла, ничего не спросила. Ударил по крюку ладонью — не сбила, снова ударила. Крюк стукнулся о дерево, закачался.

Ко мне из темноты потянулись руки. Я шагнул, обнял маму, прижал к себе, чувствуя непривычную легкость ее тела, острые углы лопаток, старческую шершавость кожи.

Я терся щекой об ее щеку и боялся взглянуть в глаза. Скрыть свой испуг было трудно. Так, обнявшись, мы и вошли в комнату.

— А почему без Риты? — спросила мама. — Один? Вы же обещали вместе. Ну дай скорее поглядеть на тебя, Витя.

Она говорила весело, а я страдал. Что с ней стало? Худоба. Желтизна глаз... И это всего за год. Нет, меньше. Она приезжала к нам в марте.

— Кажется, немного похудела? — спросила мама.

— Нет, не вижу...

Я врал, понимая, что на моем лице другое; захочет — прочтет правду.

— Не видишь? Старые юбки не надеваю: падают. — И рассмеялась.

У меня — мороз по коже.

Потом мы говорили о разном, много о дядьке и его делах — он директорствовал в енюковской школе. Но мысли мои были только о маме. Ни о чем другом думать не мог.

Наконец она пошла на кухню, оставила меня. Я сидел за столом, сжав голову руками, и не знал, что делать дальше. Бежать к дядьке, ехать в больницу?

Оглядел комнату. В одном углу горела лампадка — раньше этого здесь не бывало.

— Да ничего у меня не болит, — сказала мама, расставляя тарелки. — Только слабость. Представляешь, убрать огород не смогла.

— А что же дядька?

— Занят. Сам знаешь, какое время для них сентябрь.

— Ничего, — бодро пообещал я, — уберу за день.

— Куда торопиться.

Я ходил из угла в угол, привыкал к своему дому. За этим столом я всегда делал уроки. Моя чернильница

жила прежней жизнью, в ней даже были чернила. Я покачал непроливайку, фиолетовый пузырек вздулся, за сверкал, точно мыльный, лопнул.

Обмакнул «восемьдесят шестое», написал «мама» и зачеркнул.

На полочке, где раньше стоял репродуктор, была выставлена моя единственная книга. Снял. Открыл первую страницу, поглядел на фото — стою самодовольный, сытый, жую папиросу.

Рядом с полкой — другой мой портрет. Я, ученик третьего класса, стриженный под «нуль», прижимаю к груди учебник «Родная речь».

— Знаешь, — сказала мама, — когда ты долго не пишешь, я всегда читаю твою книжку и вроде бы слышу твой голос...

Я подумал: завтра с утра поеду в Вожевск. Нужно поговорить с врачами. Неужели уже нельзя ничего сделать?

И тут я сорвался и закричал:

— Ты же медик! Фельдшер с огромным стажем. Ты же могла сто раз показаться в больнице!

Что-то вроде улыбки мелькнуло в ее глазах и погасло. Она будто сказала: «Теперь уже поздно, сынок. Поздно приехал». А вслух она произнесла бодро:

— Витя, зачем о болезнях? Ты ничего не говоришь о Рите. Она не возражала, чтоб ты поехал без нее?

— Нет, конечно.

И тогда мне вспомнилась наша свадьба.

...Устраивали ее в ресторане. Тестю нужно было позвать сослуживцев, теще и Рите — друзей, мне — деревню. Мои родственники не обсуждались, их принимали как неизбежность. Только раз теща спросила, сколько их приедет. Я ответил: двое, мама и дядька.

«Ну, это не так страшно. — Теща вздохнула и повернулась к тестю: — Гостиницей, надеюсь, их обеспечишь?»

Маму на вокзале встречали всем семейством. Видно, она здорово готовилась к свадьбе, была хорошо одета.

Тесть полез лобызаться, тут же заговорил о моих успехах, буквально оглушил маму и дядьку приятными словами. Подвел всех к редакционной машине, распахнул дверцы, маму усадил с шофером.

«В гостиницу, Петя. — И, обращаясь к маме, приба-

вил: — Витя считает, что там вам будет лучше, спокойнее...»

«Да, да, — согласилась мама. — Спасибо».

Я раскладывал на столе подарки. Платье мама не надела. Новый халат висел на ней безобразно. Она подошла к шкафу, взглянула в зеркало и тут же сняла его.

— Зачем ты потратил уйму денег? Не износить мне.

— Износишь, — сказал я бодро.

Тоска меня не отпускала, это уже было сродни сиротству, я понимал, что теряю самое дорогое. Вакуум, пустота, незаполненное пространство окружили меня: исчезала опора...

В тот вечер я выкопал часть картошки. С непривычки болели мышцы, но я работал.

Пришел дядька. Сидели за столом и говорили обо всем, кроме маминой болезни. Наконец мама ушла в кухню. Он спросил:

— Ну, что делать?

— Ты ее проморгал! — сказал я резко.

Желваки появились на его скулах. Вошла мама, и мы разом подняли стаканы.

— За тебя, Нюра, — сказал дядька. — Вот приехал Виктор, он все изменит. Хороший сын, тебя любит.

— Вот за Витю и выпейте.

— За него в другой раз, — отрезал дядька.

Ночью я не мог заснуть, хотя телу было удобно, оно легко вспоминало бугры и кочки старого матраца — была, оказывается, и такая память.

За стеной дремала мама. Я прижался ухом к дощатой стенке, ловил ее дыхание, и боль за нее не исчезала.

Никто никогда в жизни не будет любить меня так, как любит мама, думал я. Кто, какой мудрец сказал, что страдания обогащают? Бред! Нелепость! Я отказываюсь от такого богатства, если за него отдаешь самое дорогое. А ведь дядька прав! Я, только я виноват. Молчал месяцами, ни разу не приехал — дела мне казались важнее. Радуемся, что нас любят, думаем, мать не изменит, и забываем другое: если любовь материнская действительно не уходит, то мать может уйти.

И еще я подумал, что был для мамы всем в жизни. Мужчина в доме, маленький бог, един в двух лицах.

Никогда, сколько себя помню, имя отца у нас не проносили.

В детстве — мне было тогда лет восемь — я только раз решился спросить маму об отце. И вдруг лицо мамы сделалось совершенно чужим. Никогда больше я не повторял своего вопроса.

И все же в доме жила память об отце. Был у нас солдатский тесак, которым мама колола лучину для растопки. Сколько раз, когда она бывала на работе, я вынимал тесак, гладил его, потом бежал по нашему огороду, махал им, как саблей, рубил лопухи. Мне казалось, что тесак оставили специально для меня. Человек сделал вид, что кинул его за печку, а сам наверняка подумал: если родится сын, то эта штука ему пригодится.

Я слез с кровати, тихонечко добрался до печки. Присел. Холодное, в заусеницах, лезвие обожгло мне палец. И вдруг что-то будто бы сместилось во мне. На короткую секунду мама и я стали как бы едины, это оказалось таким достоверным, что я почувствовал ее боль.

Я застонал, отдернул от тесака руку. Холодный пот выступил у меня на лбу.

— Что с тобой? — спросила мама.

— Ничего.

— Спи.

— Сплю.

— Я тоже. Сегодня мне лучше, Витя...

Чуть свет я собрался в Вожевск. Придумал какой-то звонок в газету, но цель была, конечно, другая. Хотел повидать докторов.

— Что ты на меня так смотришь, Витя? — спросила мама.

Я поцеловал ее.

— Сегодня ты выглядишь лучше. Глаза ясные, цвет лица стал мягче.

Она поглядела на меня долгим умным взглядом, вздохнула.

— Кажется, я скоро начну радоваться, что заболела.

— Почему?

- Увидела, что сын меня любит.
- Я бодро спросил:
- А раньше сомневалась?
- Бывало, и сомневалась, — сказала мама.

Глава третья

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

«Дорогой Андрей Андреевич!

Оказывается, мы послали письма друг другу в один день, поэтому я решила не ждать ответа, посылаю новое.

Не волнуйтесь, те мои книги, которые остались в школе, я прошу Вас взять себе. Это будет мой подарок. Еще в Игловке собиралась просить Вас об этом, но не решилась. Знала: закричите, руками замашете, мол, и самой пригодятся — и не возьмете. А теперь прошу — не откажите. Пусть стоят у Вас и напоминают обо мне. Да и нужнее они Вам.

У меня под руками великолепная (не преувеличиваю) библиотека Леонида Павловича. Есть собрания Шацкого, Макаренко, Блонского, тома Песталоцци, Герберта (очень интересно) — раньше читала о нем только в учебниках. Книги Корчака.

Жизнь моя постепенно входит в нормальную колею. Привыкаю к ребятам. Да и они ко мне. Не все, правда, еще хорошо и гладко.

Особенно тревожит Щукин, тот самый «стрелок». Постоянно сталкиваюсь с его молчанием, угрюмым отказом признать меня, с его злой иронией. Ничем не могу объяснить это, кроме ревности, кроме его нежелания разделить с кем-то в классе свою власть.

С Леонидом Павловичем объясняться на эту тему не тороплюсь. Хочу лучше понять парня.

Жаль, конечно, что я не была в пионерлагере и мало знаю об их летней жизни. Но от одного не могу освободиться: там, мне кажется, процветал культ силы.

Помните, я писала о Завьялове? Тот мальчишка, который взял на себя шукинскую вину? Что им тогда руководило? На взаимовыручку это было непохоже. Значит, страх? А ведь Завьялов рисковал многим. Он двоечник, вялый по характеру, да и в лагере всем доставил изрядно хлопот — дважды бежал оттуда. Так что как бы ни были малы его способности, он не мог не понимать, какая опасность ему грозит.

Кроме двух седьмых, веду еще и восьмой. Школа новая, пока восьмилетка, но со следующего года будет девятый класс.

Ребята в восьмом серьезнее. И все же при первой встрече с ними обнаружила картину достаточно грустную. Все, что было пройдено в прошлом году — «Капитанская дочка», «Мцыри», «Ревизор», — вызывает у них при одном только упоминании зевоту и скуку в глазах. Не любят. Неинтересно. Отвечают казенно, «для отметки». Только и слышишь: «образы», «характеристики», «темы»...

Пробовала вызвать ребят на откровенность. Спрашиваю:

«Пушкин нравится?»

В глазах вижу: «Что в нем хорошего», — но кричат неуверенным хором: «Нравится!»

Выбираю самую активную.

«Объясни, что тебе нравится у Пушкина?»

Поднимается. Смотрит в потолок, чтобы не встречаться со мной взглядом, и шпарит по учебнику:

«Мне нравится «Капитанская дочка». В этой повести Пушкин вывел образ Пугачева. До девятнадцатого века фамилию Пугачева почти не произносили. А когда позже заговорили о нем, то называли только убийцей. Пушкин нарисовал его образ как заступника угнетенных масс...»

А вокруг такие постные лица, словно каждый получил по ложке рыбьего жира.

«Ладно, — останавливаю. — Но тебе самой все нравится в повести?»

«А можно? В прошлом году нам двойки ставили, если скажешь «не нравится».

Вот, Андрей Андреевич, и город, и директор умница, а такого (!) не заметили.

«Конечно, — прошу, — говори только то, что думаешь».

«Не очень... он нравится... Не Пугачев, а сам... Пушкин. Скучный».

Вот те на!

А тут я прочла на днях любопытную статью — редкий, пожалуй, случай в педагогике. Великолепная учительница преподавала сразу два предмета: математику в одном десятом классе, литературу — в другом. Имела два диплома. И после окончания школы те ребята, у кого она вела математику, пошли в педагогический на математический факультет, а те, у кого она вела литературу, — на литературный. Целиком, всем классом. И знаете, Андрей Андреевич, это вызвало у меня неожиданный протест. Я поняла, что не была бы рада, если бы так поступили ребята моих выпускных классов. Возможно, я не права, но увидела в этом недостойный учителя эгоизм. Ведь из семидесяти поступающих, может, у десяти это — истинное, а остальные? Пройдут годы, разочаруются в специальности, не найдут себя и будут тяготиться каждым прожитым днем...

Вот написала об этом и подумала: не мои это мысли — Ваши. Ну и ну!

Из-за школы совсем не занимаюсь квартирой, хотя Леонид Павлович успел оформить ордер. Квартирка — игрушечка. Однокомнатная. Но есть глубокая ниша, куда думаю поставить Вовкину кровать. Повешу шторы, будет вроде детской. Думаю, пора переезжать.

Учится Вовка прилично, говорят, знает даже чуточку больше, чем его одноклассники, так что наша с Вами школа не подкачала. Он Вас крепко целует и приглашает к нам в гости.

Передавайте огромный привет всем. Буду ждать ответа.

Ваша Мария».

Середина сентября, а я почти ничего не знаю о своем классе. К сожалению, старые учителя мне мало чем помогли. Называют активистов, отличников. А остальные? Что я успела узнать о них?

Буквально по крупичам собираю впечатления о каждом. Даже дневник завела, чтобы ничего не упустить, не забыть. И благодаря дневнику вижу, как иногда ошибочны были мои первые представления.

Однажды был у меня любопытный разговор с Константиновым. Я догнала его на улице, пристроилась рядом; он вроде бы не сразу заметил меня, был занят своими мыслями.

Не зная с чего начать, я довольно глупо спросила:

— Куда-то спешите?

— В соседнюю школу. Пол-оклада здесь, половина там. Вот и совершаю кроссы...

— Это очень неудобно.

— Зато удобно тем, кому я мешаю.

В его словах была язвительность и, несомненно, предвзятость. Я сделала вид, что не замечаю этого, заговорила о другом.

— Я хотела посоветоваться с вами. В моем классе не все благополучно.

Он спросил:

— Что же или кто вас тревожит?

— Несколько человек. От Семидоловой...

Ироническая улыбка пробежала по его лицу.

— Даже Семидолова?! Кто еще? Горохов? Боброва? — Он специально называл лучших учеников.

Я неохотно сказала:

— Шукин.

— Шукин? Любимец Прохоренко?

— Да. Я хочу поговорить с Леонидом Павловичем о нем.

Подумав, Константинов спросил:

— А факты у вас есть?

— Фактов мало.

— Нужны факты, чтобы говорить с Прохоренко. — Он неожиданно улыбнулся. — А вы все же удивили меня, Мария Николаевна. Я стал привыкать, что сподвижники Прохоренко, как в старом анекдоте, если и имеют свое мнение, то с ним не согласны.

Прошло несколько дней, и я предложила ребятам пойти в лес, «попрощаться с осенью», как любил говорить Андрей Андреевич.

Луков тут же встал:

— Придем. Только мне лично нужно вначале попрощаться с тетей.

Он завертелся, стараясь прочесть на лице Шукина похвалу.

На следующий день в скверике, как я и предполагала, собрались одни девочки. Последней прибежала Лена Семидолова, и мне в первую секунду показалось, что она похудела за день, — таким усталым и бледным было ее лицо.

— Я пришла предупредить, — сказала она, — чтобы меня не ждали. Папа заболел. . .

Она повернулась и, едва попрощавшись с другими, пошла к дому.

Все затихли. И меня обрадовало сочувствие ребят.

Надо признаться, что если с девочками мне становится проще, то о мальчишках сказать этого я, увы, не могу. Когда разговариваешь с каждым поодиночке, то кажется, что я многого добилась, но в классе все еще существует холод, непонятная для меня стена недоверия.

Пытаюсь не спешить с выводами, но все больше и больше думаю: это влияние Шукина. Все мои старания будто бы разбиваются о его злую волю. В момент неудач я встречаюсь с ним взглядом, вижу злорадный блеск его глаз. «Ну что, — словно бы спрашивает он, — не выходит? И не выйдет, будьте уверены, пока этого не захочу я».

Теперь я поняла, что через Шукина, говоря фигурально, мне не перешагнуть. Значит, или сдаться, показать, что я признаю его власть над ребятами и его силу, или продолжать держаться своего.

Операцию «Шукин», как я шутя назвала свой план, решила начать с визита к нему домой. В конце концов, что я знаю о нем? Вступила в борьбу со следствием, по причине, корни болезни мне неясны.

Дом, где живет Шукин, я отыскала легко. За палисадником были видны желто-зеленые кусты сирени, вытоптанный цветник, а дальше — двухэтажный сруб, обшитый почерневшими от времени досками.

Около дровяников стояла компания подростков.

Может, они из нашей школы? Такое чувство, будто они знают, кто я... Пошла к крыльцу.

В темном подъезде мне встретилась женщина в клеенчатом забрызганном переднике, с мокрыми от стирки руками.

— Мне бы из Шукиных кого-нибудь...

Она вывела меня на лестничную площадку и показала вверх.

— Бабушка, должно быть, дома, — сказала женщина и откинула тыльной стороной руки прядь волос со щеки.

На облупившейся, давно не крашенной двери было два звонка без подписи. Один — вертушка, другой — медная ручка с прямым металлическим тросом и какими-то сложными старинными передачами. Я подергала ручку, и в коридоре зазвенели разными голосами колокольчики. Послышалось неторопливое шарканье, дверь открылась, и на пороге появился старик, лысый, с желтоватым лицом, с седыми, подпаленными густыми усами. Он молчал, пристально глядя на меня, точно пытаюсь узнать во мне кого-то из знакомых.

— Шукины дома?

Старик шире распахнул дверь и отступил.

— Прошу, — сказал он. — Не учительница ли Юрия?

— Да.

— Провинился? Или иные причины?

Он говорил равнодушно, как посторонний. И я невольно спросила:

— А вы ему кто?

Он шел впереди, в темноте коридора проступала его сероватая пижама.

— Сосед, но всегда принимал некоторое участие в воспитании. Юрий успевает?

— Да, вполне.

— Любопытно. — Старик удивился. Дойдя до высокой двери, он включил небольшую лампочку и предупредил: — Бабушка глухая.

В комнате было чисто. На небольшом квадратном столе — скатерочка с вышитой цветами дорожкой. У стены — старинный дубовый шкаф с резными дверцами; две металлические кровати с никелированными шариками на спинках. У горки, спиной к нам, стояла седая старая женщина, худая и высокая.

— Заходите, не стесняйтесь, — сказал старик, — она все равно не услышит, пока в ухо не скажешь. — Он рассмехался. — Я буду в некотором роде переводчиком, если позволите. Юрия нет, да при нем бы я и не помог вам. Отношения, в некотором роде, разорваны, поддерживаю только с бабушкой...

Он подошел к ней, крикнул:

— Прасковья Васильевна! К вам гостья.

Старуха вздрогнула, повернула ко мне свое лицо, маленькое и усталое. В ее глазах застыло удивление.

— Учительница Юрий.

— Да, да, — крикнула она, — а что, опять виноватый? Напроказничал?

— Нет. Пришли познакомиться. — Старик взял стул и подвинул его ко мне. Он старался все делать учтиво. — Прошу садиться. У нас квартира не совсем обычная. Если не считать Юрия, средний возраст — семьдесят восемь. Умирать готовимся все сразу. Кстати, — он расправил усы, — я на два года старше этой сударыни, а и силы еще есть, и слух, и выгляжу, как считаете?

— Хорошо выглядите.

Он был доволен, прищурился и положил обе руки перед собой на стол, ожидая, когда заговорит старуха.

— Так вы вдвоем с Юрой живете? — крикнула я.

Она вновь удивленно поглядела на старика, потом кивнула в ответ, показывая, что поняла.

— Все время. Он теперь лучше, а раньше чуть не по ему — ломает что есть. Да я и не касаюсь его. — Она будто отмахнулась. — Накормлю, постираю да постель приготовлю. Нынешние родители, они какие? Деньги присылают, а сами носа не кажут. Родили — и конец, все бабка. А какая я? Вот он скажет...

— Не слышит она давно? — спросила я соседа.

— С войны. После контузии.

— А мальчик всегда с ней?

— Да. Примерно с годовалого возраста.

— И мать не появляется?

— Ни мать, ни отец. Впрочем, последнего я даже не видел. Может, его и не было в некотором роде. — Он поднялся, чувствуя себя, видимо, обязанным проявить какую-то заботу обо мне, и предложил: — Чаю хотите?

— Нет, нет.

Пора было уходить: обстановка меня тяготила. Я встала.

— Вот ремонт бы нужен, — обратилась ко мне старуха. — И дров мы не напасли. Деньги дочка присылает, а кто похлопочет? Юрка все шастает, а сосед... одним языком только и умеет.

— Прасковья! — Старик обиделся.

Та даже не повернулась.

— Нельзя ли похлопотать через школу?

— Я поговорю с директором.

— Ага, — кивнула старуха, провожая меня к дверям. Она так же безразлично смотрела на меня, и не успела я переступить порог, как повернулась и пошла к окну.

Старик проявлял прежнюю учтивость. Он зажег в коридоре свет и взял меня под локоть. С обеих сторон по стенам висели на гвоздях корыта, кастрюльки, даже хомут как-то сюда попал.

— Видите, сударыня, в какой несовременной обстановке живем. Гнетущая обстановка. А юноша предоставлен себе. Чего можно ждать от человека, которого растит глухая старуха? Понимаете, уважаемая? Человеческого тепла Юрий не знал, ласки не видел. Слово «мать» не произносил. — Глаза старика загорелись, он будто вспомнил главное. — Один. Один в первые десять лет. Ни сверстников, ни взрослых. И я не могу оказать на него должного влияния. Мы в ссоре. Бабка, изволили видеть... — Он постучал себя по лбу и развел руками. — Хорошо, что готовить может и постирать. Так-то у нее силы есть. Раньше она и мое стирала, но теперь я решил носить в прачечную. Дешевле. — Он попытался вспомнить, о чем говорил, покашлял, но так и не вспомнил. — Заходите, — сказал, раскрывая дверь. — Будем рады.

Я спустилась вниз. На улице было так светло и столько воздуха, что у меня закружилась голова. Подростки все еще были во дворе, но теперь среди них появился Луков. Он держал короткую веревку, на которой висел живой цыпленок.

— Здрась, Марь Николавна! — крикнул Луков.

— Развяжи сейчас же, — приказала я.

— Так ведь убежит, — сказал Луков и наивно поглядел на меня.

— Какой ты живодер, Петя! — Отодвинув плечом высокого рыжего парня, вперед вышел Щукин. Он натянул

Лукову кепку на глаза. — Цыпленку же больно. Ты разве забыл, что такое доброта? Это когда ты понимаешь цыпленка, а он понимает тебя.

Я пошла, не оборачиваясь. Было тревожно. Может, пора поговорить с Леонидом Павловичем? Я вдруг отчетливо представила, что если затяну, не расскажу Леониду Павловичу обо всем, что уже случилось, то в классе обязательно произойдет беда.

Остановилась перед домом Прохоренко, постояла немного и пошла дальше.

С чем я приду, что скажу? Учится Шукин прилично, а ведь в прошлом году он школу бросал. История с рогаткой уже давняя, а за последнее время прямых нарушений дисциплины не было. Семья? Но что можно плохого сказать о семье? Бабка бьется, стараясь вырастить внука.

Нет, я не могу ничего доказать. Тогда, может, пойти к Константинову?

Я тут же испугалась этой мысли. А если чертежник использует все это против Прохоренко? Я помнила о предупреждении Люси. Нет, только не к нему!

Оставалось одно: разобраться во всем самой.

В школе я не была с четверга: переезжала. Леонид Павлович все утряс с расписанием, так что у меня оказались свободными четыре дня. Работали мы с Вовкой не покладая рук. Вчера вечером, повесив гардины, я усеялась на пол и заявила сыну, что больше не поднимусь.

Утром болели мышцы. Пока я добиралась до школы, казалось, будто у меня скрипят суставы.

В учительской было оживленно. Звенел, как обычно, голос Нелли, преподавательницы физкультуры, самой молодой и жизнерадостной среди нас. Она заметила меня в дверях, закричала:

— Пришла, чтобы сразу получить все наши призы!

— За что? Меня не было четыре дня в школе.

— Слыхали?! Она делает вид, что не знает.

— Да что за призы?

— За макулатуру. Ваши собрали столько, сколько целый район не собрал. И все Шукин. Клянусь, граждане, если бы ему было на каких-то десять лет больше...

— И был бы он чуточку лучше... — пробурчали сзади.

Это была Павла Васильевна Кликина, учительница математики, грузная старуха, почти всегда чем-то недовольная. Рядом с ней, как обычно, стоял ее муж Николай Николаевич Кликин, географ, «то же самое число, — как о нем злословили, — но с обратным знаком», человек мягкий, немногословный и тихий.

— Нет, нет! — сказала Нелли. — Вы, Павла Васильевна, не видели. Он великолепен!

Кликина еще что-то проворчала и отошла в сторону.

— Баба-яга, — шепнула Нелли и громко сказала: — А погода сегодня, кажется, будет отличная.

До начала уроков оставалось несколько минут, и я пошла к Леониду Павловичу. Вчера они с Люсей заехали ко мне, увидели, что творится в квартире, и быстро ретировались. Теперь я собиралась отчитать его: ни словом не обмолвился о классе.

Кабинет Леонида Павловича напоминал кладовую магазина игрушек. На стульях громоздились мячи, коробки с играми, на столе валялась обезьяна, задрав ноги. Это была развеселая обезьяна, казалось, она сотрясается от беззвучного хохота.

— Как же так? — набросилась я на Леонида Павловича. — Неужели вы думаете, что мне безразличны дела нашей школы?

Он вышел из-за стола, перенес игрушки из кресла на стулья, а меня усадил.

— Не обижайтесь, Маша. — Взял обезьяну и наклонил ей голову. — Да разве можно было вчера с вами говорить? Я думал, вы, и в школу-то не придете.

— По правде сказать, я и сегодня еще еле хожу, так устала.

— Значит, прощен? Ну, отлично. Но зато я вам расскажу удивительную историю. Согласны?

— Конечно.

— Ваш класс не только собрал больше других макулатуры. — Прохоренко помедлил. — Ребята сами решили поработать дополнительно за отсутствующих! Сами, сами, дорогая Маша. Ну, как вам это нравится?

— Нравится.

— Вот вам наконец и осуществление моей теории на практике!

— Я очень рада, Леонид Павлович.

Он рассмеялся.

— Нет, это они меня порадовали. Помните, я говорил: нужно не давать ребятам передышки, загружать, загружать их делами, вырабатывать положительный рефлекс на работу. Вот, бывало, мы в армии злились, когда нас в свободные часы посылали шишки собирать. Для чего? Кому это нужно? Бессмыслица! А смысл был. Мы были заняты, а кроме того, учились подчиняться, выполнять любое задание.

— В школе это иначе, — сказала я.

Он согласился.

— Иначе. И все же если бы мы не задавали такого ритма нужных, положительных действий, то, думаю, не возникло бы и замечательной идеи. Тут, Маша, вам сказать нечего, а?

— Пожалуй...

Мне показалось, что Леонид Павлович теперь похож на восторженного, счастливого своей работой пионервожатого.

— Весь день думаю, как использовать их начинание для общего нашего дела. — И пояснил: — В школе ожидаются выборы в совет дружины, и, согласитесь, сегодняшний факт мог бы основательно укрепить авторитет организаторов нашего штурма, как я люблю говорить. Я уверен, что детская стихийность всегда может быть использована опытным педагогом с огромной выгодой для коллектива.

— Да, ваша новость замечательная! — сказала я. — Но я хотела...

Леонид Павлович возбужденно перебил меня:

— Да, чуть не забыл о газете. Совет дружины решил выпустить в каждом классе экстренный номер. Помогите ребятам, постарайтесь, чтобы газета получилась поярче. Художник в классе есть?

— Есть.

— Отлично. И пусть больше пишут о себе, хвалят друг друга, не стесняются. — Он улыбнулся. — Энтузиазм, Маша, следует подогревать изнутри.

Зазвенел звонок.

— И, пожалуйста, отпустите с урока Шукина и Лукова, им поручено распределение призов.

Класс дружно встал. Я открыла журнал, достала тетради с первыми в этом году домашними сочинениями. Настроение у меня было отличное. Да и утро сегодня казалось особенным. Солнце, на всем было солнце — на детских лицах, на партах, на доске, на кусочке мела.

Я обвела ребят глазами — замечательные, открытые лица! — и засмеялась, сама не знаю чему. Они тоже ответили смехом.

— Как давно вы не были в школе! — сказала Люба Боброва.

— Всего четыре дня. Я переезжала на новую квартиру.

— Нужно обмыть, — сострил Луков.

Класс грохнул.

— Лимонадом, лимонадом! — поторопился он, заметив мое строгое лицо.

— Ладно, обмоем, — пообещала я. — Если будете умными.

— А мы и так умные! — крикнул Завьялов.

Он удивил меня. Сейчас в нем не было той угрюмой замкнутости, которая чаще всего казалась забитостью. Впрочем, еще дома, проверяя сочинения, я со страхом подумала, что совсем не знаю его. В стопке тетрадей, которую я только что положила на стол, было сочинение, помеченное грифом: «Совершенно секретно. В классе не читать!»

А ведь сколько раз я пыталась вытянуть из него хоть одну мысль! Сидит, на всех смотрит безучастно. Как-то Луков во время переключки за него ответил:

— Он здесь, и его нету.

Я раскрыла первую тетрадь. Обстановка в классе была непринужденной, и я невольно порадовалась, что нет Лукова и Шукина, при них, вероятно, все выглядело бы иначе.

Я протянула Семидоловой тетрадь.

— Возьми. Отлично.

Девочка поднялась. Она по-прежнему казалась усталой, во взгляде не было никакого интереса к моим словам. Я спросила:

— Как папа?

— Плохо.

— Он дома?

— В больнице.

— Можем мы чем-нибудь вам помочь?

— Спасибо. Ничего не нужно.

Она села, показывая, что больше говорить об этом не хочет.

— Горохов!

Мальчик подошел к столу, я протянула тетрадку.

— Молодец!

Он весело поглядел на меня.

Я назвала Стрельчикову. Валя испуганно поднялась, зацепилась за край парты, охнула.

— И тобой я довольна.

Девочка недоверчиво глядела на меня.

— В твоём сочинении всего шесть ошибок, а помнишь, в первом диктанте было четырнадцать. Если так пойдет, то по русскому ты можешь рассчитывать на твердую тройку.

Она вернулась на место, торопливо перелистала тетрадь — там было написано: «Так держать!» — и улыбнулась.

— А ты, Люба, огорчила меня.

Боброва побледнела.

— Две описки, и нет запятой. Можешь работать внимательнее. Пришлось поставить четверку, хотя ошибки-то пустяковые. Жуков!

Лева будто решал, брать ли ему сочинение.

— Четыре. Впрочем, в другой раз поставлю тройку. Буквы смотрят в разные стороны, на одной строчке крупные, на другой — бисер. Это несерьезно.

Кажется, у Жукова было одно желание: скорее вернуться на место.

— Завьялов!

Мальчик подался вперед. Какой странный! За этой его поразительной вялостью и безразличием, видно, скрывалась очень нервная натура.

Я взяла тетрадь и еще раз пролистала сочинение. «Пугачев не имел права казнить Мироновых, это его непоправимая ошибка. От такого человека ждешь особой справедливости...»

Я положила тетрадку к нему на парту.

— Там есть ошибки, пришлось поставить четверку. А вообще умница, хотя мысль о «праве» Пугачева более чем спорная. Подумай еще раз почему!

Он смутился, покраснел и быстро нагнулся, словно ему срочно что-то понадобилось в парте.

В класс вошла нянечка, за ней тихо проскользнул Луков.

— Коровкина к директору, — сообщила она.

Я не успела сказать, что Женя Коровкин в седьмом «Б», как Луков крикнул:

— Он в другом стаде!

Хохот перекрыл мой голос. Нянечка погрозила ему кулаком и ушла.

Дел в школе за четыре дня у меня накопилось столько, что я не заметила, как затих шум в коридоре, и опоздала на линейку. Нужно было выставить ребятам оценки в дневники, да еще в шкафу лежала стопка непроверенных тетрадей.

В актовй зал я вошла в половине третьего, тихонько прикрыла дверь и спряталась за спинами ребят. И все же Леонид Павлович увидел меня, укоризненно покачал головой.

Отряды были построены буквой «П», лицом к сцене. Прохоренко и Щукин стояли у стола, на котором лежали коробки с играми. За столом сидели мальчик и девочка из восьмого «Б».

Мой класс занял место у сцены. Луков кивнул мне и показал красивый, желтой кожи футбольный мяч, на нем что-то было написано белой краской.

Только теперь я увидела Константинова; он был в двух шагах от меня, привалился к подоконнику и с той же знакомой мне улыбкой, то ли доброй, то ли иронической, глядел на сцену.

— А этот приз, — Леонид Павлович поднял обезьяну, и вздох восторга вырвался у девочек, — совет штаба передает тому, кто собрал самое большое по школе количество макулатуры.

Он выждал, когда стихнет гул.

— Награду получает Лена Семидолова! — Он рукой остановил аплодисменты и весело крикнул: — Против ее фамилии стоит внушительная цифра: двести сорок пять килограммов бумаги! Это раз в пять превышает ее собственный вес.

Он опять подождал, когда стихнет шум.

— Неплохо, если Лена расскажет нам, как это ей удалось поставить такой рекорд.

Наступила тишина.

— Ну, что же, Лена, ребята просят тебя поделиться опытом, — повторил Леонид Павлович.

Он будто бы шутил, но девочка то ли не хотела понимать его шутку, то ли совсем иначе воспринимала его слова. Она молчала.

— Это ошибка, Леонид Павлович, — сказала Лена. — Я не была в школе, не собирала.

Я поглядела на Константинова. Он выпрямился и как-то по-петушиному вытянул шею. Обожженное лицо его пылало.

— Не была? — удивился Прохоренко. — Тогда, может, класс объяснит дружине, откуда взялась такая поразительная цифра?

Я разгадала его замысел. Прохоренко хотел, чтобы ребята сами рассказали о своей инициативе.

— Можно мне? Можно, Леонид Павлович? — закричал Луков.

— Слушаем тебя, Петя.

— Понимаете, — сказал Луков, — мы собирали макулатуру, а когда закончили, посчитали ребят, а Семидоловой одной-единственной нет из всего класса. Вот кто-то и сказал: давайте за нее...

— Молодцы! — похвалил Прохоренко. — Значит, весь класс работал сверхурочно, а собранную бумагу записал на счет Семидоловой? Это по-пионерски! — Он первым стал аплодировать, и мы все присоединились к нему.

Константинов сунул палку под мышку, улыбался и что-то весело говорил своим соседям, мальчишкам из шестого.

— Ну, а ты, Лена, не пришла по какой причине? Болела?

Луков крикнул:

— Она, Леонид Палыч, не болела. Ее на улице видели. Даже когда собирали — видели. Просто белоручка эта Семидолова!

Леонид Павлович поглядел на Лену с осуждением, покачал головой.

— Как же так — ты гуляла, когда все работали? — спросил растерянно Леонид Павлович.

— Я не гуляла.

— Ну, а что же будем делать с этим подарком, кому вручим приз?

— Ей и вручим, — сказал Луков. — Пускай берет.

— Подойди сюда, Лена, — попросил Леонид Павлович.

Я наконец увидела ее. Она поднималась на сцену медленно, глядела вниз, под ноги, будто бы боялась споткнуться. Шукин взял обезьяну, хотел вручить Лене, но та не брала. Тогда он с силой отвел локоть девочки и сунул обезьяну ей под мышку.

— Приз за безделье, — сказал он под смех зала.

— Но я же не могла!

Казалось, она не понимала, что происходит.

Меня кто-то тронул за плечо. Я повернулась. Константинов стоял рядом.

— Почему она не была?

— Отец в больнице...

— А Прохоренко знает?

— Н-нет.

— Вы понимаете, что говорите?! Вы классный руководитель. Исправляйте ошибку, пока не поздно.

Я сложила ладони рупором и, стараясь перекрыть шум в зале, крикнула:

— У нее болен отец, Леонид Павлович! Лена не могла прийти!

Мои слова потонули в ребячем гомоне.

— Ну, как вы решите с наградой? — спросил Леонид Павлович у ребят. — Я не хочу вмешиваться в ваше решение.

Девочка шагнула к столу, чтобы вернуть обезьяну, но Шукин преградил ей путь. Тогда Лена повернулась и побежала по сцене. Она держала обезьяну за руку, так что игрушка волочилась по полу, будто бы пыталась удержать Лену. Глаза у обезьяны стеклянно поблескивали.

— В следующий раз она и «москвич» так может зарабатывать! — выкрикнул Луков.

Это опять многим понравилось.

— А может, «Жигули»?

Лена бежала к выходу. Какой-то пятиклассник подставил ей ножку; она споткнулась, но не упала.

— Кухтарев, что ты делаешь?! Зайдешь ко мне после линейки! — крикнул Леонид Павлович.

Я взглянула на Константинова. У него было злое лицо.

— Ищите Семидолову! — приказал он. — Идите к ней сейчас же. Вы в этом виноваты.

Он сразу же стал пробираться к сцене, а я бросилась к дверям.

Как все худо вышло, как худо! Можно, да и нужно было наградить класс. А что вышло?! Унизили, оскорбили девочку...

На этаже Лены не было. Я спустилась в гардероб. Хотела снова подняться, но услышала, как за шкафом кто-то всхлипнул. Это была Лена.

Я подошла к ней и обняла.

— Успокойся. Не плачь.

Она рванулась в сторону, но я ее удержала.

— Давай поговорим с Леонидом Павловичем. Объясним ему все. Он же не знает, что у тебя болен папа...

Захлопали двери, в коридоре послышались детские голоса.

— Пойдем к Леониду Павловичу, — просила я. Это недоразумение. Он умный человек. Разберется во всем и исправит.

Я гладила Лену по голове, а сама думала: вот чего может стоить педагогический просчет.

Ребята шумели, толпились у гардероба. Мы прошли мимо них, никто не обратил на нас внимания.

Леонид Павлович подходил к своему кабинету вместе с Константиновым. Оба хмурые, видно, что-то уже произошло между ними.

— Мы к вам, Леонид Павлович, — сказала я.

— Придется подождать, — ответил он, проходя мимо. Но у дверей обернулся к Лене. — У тебя, оказывается, болен папа? Я узнал об этом случайно...

Он ничего не сказал больше и пропустил Константинова в свой кабинет.

Чертежник пробыл у Леонида Павловича недолго. Вышел рассерженный, проковылял мимо нас.

— Идите, — буркнул он. — Вас ждут.

Мы вошли. Леонид Павлович ходил по кабинету, думал.

— Так что же, Леночка, с папой? — наконец спросил он.

— Болеет, — сквозь слезы сказала она.

— Ладно, ладно, — успокоил Леонид Павлович. —

Все у вас будет в порядке. А на ребят не обижайся. Они хотели сделать лучше, я уверен в этом. Верно, Мария Николаевна?

Я не ответила.

— Вот видишь, Мария Николаевна согласна.

Он обнял ее за плечи, прижал к себе и тут же легонечко подтолкнул к выходу.

Кто-то постучал. Лена остановилась. В дверях показался Луков.

— Вот, — сказал он. — Жаконю нашли в помойном ведре.

Прохоренко взял обезьяну и положил на стол. На ее голове вместо шляпы красовалась прилипшая апельсиновая корка.

— Иди! — приказал директор Лукову. Подождал, когда затихнут его шаги, сказал мне: — Ребята всегда чувствуют, когда к ним относятся свысока, без уважения, пренебрежительно. Они подарили обезьяну от чистого сердца, а вот Лена... — Он поглядел на Семидолову с осуждением и прибавил: — Подумай об этом серьезно.

Некоторое время мы сидели молча. При Лене я не могла, да и не имела права говорить с Леонидом Павловичем, но теперь мне нужно было сказать ему все.

— Если бы вы знали, Маша, — пожаловался Леонид Павлович, — как мне нелегко! Каждый мой шаг в школе встречает самое ярое сопротивление. Вот Константинов... Чуть что — лезет со своим «особым мнением». А что стоит за этим его «особым»? Зависть. Высшего образования не имеет, не успел окончить институт до войны, и вот весь мир у него оказывается плох.

Я не ожидала такого начала и мучительно думала, как бы перевести разговор на другое.

— И главное — не уволишь. Часов у него немного, хоть это меня спасает. Но он и на полставке умудряется так навредить, что я потом месяц исправляю. Секретарь! Железобетонная личность! — И Леонид Павлович постучал по спинке стула.

Зазвонил телефон. Он снял трубку, устало сказал:

— А, это ты!.. Вот привет от Маши. — Потом вздохнул. — Настроение подпорчено. Ну конечно же, Константинов.

Улыбнулся, положил трубку.

— Ступайте, Маша. Инцидент, как говорят, исперчен.

Я поднялась, но тут же подумала, что все же должна сказать ему свое мнение; позже в этом не будет никакого смысла.

— Все, что случилось сегодня, — большая травма для девочки.

Он удивленно посмотрел на меня.

— Бросьте, Маша. У ребят это ненадолго. Они остро чувствуют, но быстро успокаиваются. Поверьте, уже сейчас Лена больше страдает от того, что огорчила нас с вами. Но, кроме всего, дети бесконечно благодарны взрослым за внимание. Вот вы обняли ее, приласкали, а я поговорил добро, поохал, даже пожурил — и она наша. Это же воск.

Я насторожилась.

— Впервые вижу, как коллектив унижает личность. Это было страшно, Леонид Павлович. А потом, Лена — председатель совета дружины.

Он устало сказал:

— Ну так ее больше не выберут.

Вышел из-за стола и, что-то обдумывая, прошел до окна и обратно.

— У меня нет и не может быть, Маша, секретов от вас. Так вот, школе теперь и не нужен такой, как она, организатор. Лена — хорошая девочка, замечательный исполнитель, а нам нужен вожак. Когда вы до конца разберетесь, что я затеваю, то поймете, в какой степени я был прав.

— Кто же должен возглавить дружину, по вашему мнению?

Леонид Павлович развел руками.

— А кто их знает? — И рассмеялся. — Как вы насчет Щукина?

— Нет, нет, только не его.

— Почему, разве мальчик не умен?

— Нет, неглупый.

— Может, не успевает?

— И не в этом дело. Он учится даже лучше, чем можно было бы ожидать. Он умеет слушать, довольно четко формулирует, и все же...

Леонид Павлович перебил меня.

— Тогда остается одно — его организаторские способности. А в этом вопросе, прошу, доверьтесь мне.

— Не делайте этого! — почти взмолилась я. — Не ставьте Щукина во главе дружины.

— Чем же он вам не нравится?

— Это жестокий, холодный, властолюбивый человек. Поглядите на класс. Щукин снисходителен только к тем, кто ему преданно служит.

— Подумайте, Маша, что вы говорите! Не хватало, чтобы мы с вами ссорились.

— Нет! — Я волновалась, и это мешало мне быть убедительной. — Вы не знаете. На первом же уроке Щукин выстрелил в меня из рогатки, а вину фактически приказал взять на себя Завьялову.

Леонид Павлович поморщился.

— То, что стрелял, — ужасно, слов не нахожу. А вот если Завьялов взял вину на себя, это только делает ему честь. Почему вы видите в этом принуждение и страх? А если это уважение? Разве солдат, который грудью прикрывает своего командира, делает это из страха перед ним?

— Ну, тут другое!

— Это ваши ощущения.

— Нет, уверенность. И если вы поддержите Щукина, то будет беда.

— Беда?

Я повторила:

— Щукин — жестокий, мстительный человек. Я была у него дома. Он не знал детства, воспитывался у глухой бабки, речи человеческой не слышал. Такого, как он, могут изменить только доброта и осторожность. Торопиться с ним нельзя. Ему многое еще придется понять, Леонид Павлович.

Прохоренко нетерпеливо отодвинул кресло.

— И все же не знаю, чего бояться? Есть мы, учителя. Будем, в конце концов, следить за ним. А потом подумайте, Маша, и о другой стороне. Парень, у которого в прошлом году было два привода в милицию, не только принят в пионеры, но и поставлен во главе дружины. Это же событие!

— Это будет удача внешняя, — не сдавалась я. — Внутренне Щукин не изменился. Он мыслит так же, как мыслил год назад.

Кажется, я все же разозлила директора.

— А меня не интересует, как мыслит Щукин. Режиссер — я, а не он. И только я могу знать, как он должен думать. Поймите, Мария Николаевна, мне неприятно объяснять такое, но с вами я хочу быть откровенным. Вы очень близкий нам человек, а в голове у вас — только не обижайтесь — каша. Можно утонуть в безбрежном море таких понятий, как «добро», «задушевность», «чуткость». Надо иметь концепцию воспитания, а не махать крыльями над детьми, как квочка над цыплятами. Вашим методом можно воспитать одного, но коллектив — никогда. — Он говорил подчеркнуто спокойно. — Вы толкуете о постепенности. Но имеем ли мы право ждать, не торопиться? В классе по тридцать пять — сорок человек. Сколько вы можете охватить своим «добрым материнским взглядом»? — Он покачал головой. — Нет, у нас всего один путь — воспитывать весь коллектив, а через коллектив — каждого в отдельности. И еще, Маша, одно, между нами: дети — это только материал, глина. Вы предупреждаете: Щукин! А я уверен: Щукина пока нет. Есть основа того, чем он станет. Помните, папа Карло взял полено и вытесал из него толкового парня Буратино? А у нас с вами материал более пластичный. И стыдно нам, учителям, не вытесать из него кого хотим: ангела, черта... В данном случае мне нужен вожак. — Прохоренко вздохнул. — Устал я сегодня, — и протянул мне руку. — Вы очень хорошо вели себя при Константинове. Он ведь так и ждет моего промаха. — Глаза Леонида Павловича вдруг стали холодными, он будто перестал меня замечать. — Как они хотят помешать, как хотят! — Улыбнулся, кивнул мне: — Счастливо, Маша! Постарайтесь запомнить главное из того, что я говорил. Это вам еще пригодится.

Я вышла на улицу. Солнце клонилось, и его желтый холодный луч будто бы запутался в телевизионной антенне.

Ветер в школьном саду гонял листья, швырял их по лужам.

Леонид Павлович стоял у окна.

— Приходите с Вовкой! — крикнул он в форточку.

Я сделала вид, что не расслышала. «Что же произошло сегодня, что же произошло?» — спрашивала я себя.

Я невольно вспомнила Андрея Андреевича. «Не могу назвать себя добрым, — как-то сказал он мне в первый

год работы, — но кричать на детей мне неприятно. Легче прощать, чем наказывать. Доверять, чем подозревать. Я никогда не помню обиды, хотя могу впасть в гнев. И если мне, учителю, нужна власть над ними, то разве та, что дает их уважение и любовь».

Было четыре. Брать Вовку из «продленки» было еще рано. Но сейчас мне нестерпимо хотелось, чтобы сын был со мной.

Глава четвертая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Из больницы я вышел немного успокоенный. Правда, не все получилось так, как хотелось. В отпуске оказался Калиновский — заведующий хирургическим отделением, главный вожевский бог. Но зато остальные врачи буквально напали на меня.

— Да почему рак? — волновалась молодая рыжеволосая докторша, заменяющая Калиновского. — Разве других болезней не бывает? Привозите маму. Положим, обследуем. Уверена, что ваш диагноз не подтвердится.

— Когда же нам приехать?

— В любой день, — она пожала плечами. — Завтра. В четверг. Или в понедельник — чего горячку пороть.

Она с возмущением повторила:

— Что за напасть такая! Все научились диагнозы ставить. Вот и лечили бы сами, раз много знаете. Сознаться, ведь считаете, что разбираетесь во всем не хуже нас, грешных?

Мне стало чуточку легче. Действительно, почему рак? Кто-то что-то сказал, а мы сразу в панику. Кстати, утром мама и выглядела лучше. Пропала землистость лица, глаза посветлели, да и худоба показалась не такой уж страшной.

Нет, нет, может, и обойдется. В такие минуты легко становишься суеверным. Жаль, конечно, что в отпуске Калиновский, но и эти доктора мне понравились.

До обратного автобуса оставалось время. Я прошелся по центру города, остановился около исполкома и вдруг подумал: не заглянуть ли в гороно? Может, встречу кого с факультета?

В мрачном узком коридоре было безлюдно. Я перечитал таблички на дверях, остановился около одной: «Инспектор по кадрам Шишкин В. М.»

Дверь распахнулась, я отступил на шаг, из кабинета стремительно вышел молодой, но уже лысеющий круглолицый мужчина. Он быстро с подозрением оглядел меня и пошел по коридору дальше. Из соседнего кабинета вышла худая высокая женщина в очках, что-то зашептала инспектору на ухо. Он морщился и все поглядывал на меня: вначале на туфли — у меня были великолепные английские туфли, Ритин подарок, предмет острой зависти московских модников; потом его взгляд прошелся по костюму, замер на секунду на уровне лацкана.

— По какому делу, товарищ? — осторожно спросил инспектор.

Голос был знакомый, и я наконец вспомнил. Конечно! Это был не просто Шишкин — никто на курсе так его не звал, — а Венька Шишкин, растолстевший вдвое, славный малый, тихий и безобидный казначей институтского профкома. Ни особо близкими с ним, ни врагами мы не были.

Мне стало весело, что я узнал его, а он, конечно, и не ожидал меня здесь увидеть.

— Я хотел... по поводу работы...

Он взглянул на женщину, будто обратилась к нему она, а не я, пожал плечами.

— Странно. Где же вы были месяц назад? Школы укомплектованы. Какой предмет?

— Черчение, — наугад сказал я.

Он живо взглянул на меня, кивнул в сторону кабинета.

— Зайдите в мою комнату и подождите минуту. Я скоро освобожусь.

Кабинет выглядел солидно. На полу — ковер, вдоль стены — стеллажи с книгами, на столе — два телефона. Я снял трубку — один не работал. Я улыбнулся: «Венька, Венька, большой начальник!»

Распахнулась дверь, Шишкин решительно подошел к столу, подписал какую-то бумагу и с нею вышел.

— Ну, — сказал он, снова возникая в дверях. — Теперь я вас слушаю. Где работали? Почему с таким опозданием? Видите ли, место чертежника как раз ожидается. У нас в одной школе есть человек, который не

возражал бы перейти. Но сним еще нужно утрясать, я пока ничего обещать не могу. Покажите документы.

— Трудовую книжку я не захватил, — виновато сказал я. — У меня с собой только удостоверение.

— Удостоверение? — удивился Шишкин.

Я вынул коричневую книжечку и, едва сдерживая улыбку, протянул ему.

Шишкин положил на стол удостоверение и внимательно стал читать. Впрочем, читать там было нечего. Видно, он хотел выиграть время, что-то обдумывал.

— Ну что же, — Шишкин сложил книжечку и вернул ее мне. — Как я понимаю, вы сюда зашли не без дела, товарищ корреспондент.

Он говорил с достоинством.

— Что вас интересует? Постараюсь ответить.

«Ах так, — подумал я. — Тогда посмотрим...»

— Что заставляет журналиста ехать в другой город? — сказал я. — Жалоба.

— Интересно! Уж не потому ли вы представились чертежником? У нас есть «чертежники», для которых черчение жалоб — любимое занятие.

— Не скрою, именно так. — Я не мог сдержать улыбку.

Шишкин прошелся по кабинету.

— Кажется, Виктор Михайлович?

— Да.

— Так вот, Виктор Михайлович, начну не с объяснения, а с вопроса. Вы ответьте, отчего это так: год только начался, люди делают первые шаги, а корреспондент уже едет по жалобе? И какой корреспондент — союзной газеты! — Он покачал головой. — Впрочем, я рад, что вы приехали. Посмотрите, разберитесь сами.

— Считаете, товарищи жалуются напрасно? — Я прикусил губу, чтобы не рассмеяться.

— Напрасно! Вот ответьте на другой вопрос: отчего так — чем талантливее личность, чем шире размах и нужнее деятельность, тем больше раздолья для всяких демагогов? Боже мой, как трудно начинать! Тут не жалобу разбирать, а, может, книгу, прекрасную книгу писать придется!

Я сказал:

— Ладно, хватит дурака валять.

Он неприязненно поглядел на меня.

— Я вас не понимаю. Подозреваю, что даже такое, — он подчеркнул последнее слово, — удостоверение не дает вам права разговаривать со мной грубо.

Я рассмеялся.

— Веня, — сказал я. — Ну неужели не узнаешь?

Он долго удивленно смотрел на меня и вдруг затрясся от смеха.

— Витька! Витька! Бог мой! А я же всерьез все принял, всерьез.

— Ну тогда ты молодец, — смеялся я. — Я поражаюсь твоей стойкости...

— Стойкости! — Венька уже хлопал меня по спине. — Тут потрясающее дело делается! Только после об этом. Ну, покажись, покажись, писатель! А ведь самое забавное, мы тебя не забыли, только, надо же, никто и не предполагал, что ты как снег на голову...

А он действительно рад мне, и это приятно. Ходит по комнате, размахивает руками, вздыхает.

— Ну и прекрасно, что ты приехал, прекрасно! Надо же! Корреспондент! Такой газеты! Писатель! Ах ты, здорово-то как! Ну-ка, дай я тебя рассмотрю. — Он снова обнимает меня. — Черт те что со мной происходит! Кажется, одни бумажки начинаю видеть. Да как же я мог тебя не узнать?! Нет уж, нет, пора мне намыливаться отсюда, пора. Дело есть, интересное, настоящее педагогическое дело.

Он наконец садится в кресло и со счастливой улыбкой смотрит на меня.

Какой-то посетитель осторожно стучится, заглядывает в кабинет.

— Я занят! — начальственно кричит Венька. — Позже! — Потом опять обращается ко мне: — Ну, а теперь рассказывай, зачем пожаловал?

— Приехал-то в отпуск, — говорю ему. — Но отпуск вроде не получается.

— Почему?

— Дома худо. Больна мама.

— Что с ней?

— Трудно сказать, она даже не обследовалась. Вчера я совсем приуныл: похудела, осунулась. Жутко стало.

— Да, да, — раздумывал над чем-то Шишкин. — Нужно в больницу. Здесь Калининский работает, замечательный врач.

— Слышал, — сказал я. — Но он в отпуске.

Доброе, домашнее выражение сочувствия не сошло с Венкиного лица.

— Я, Виктор, обещать ничего не могу, но завтра ты позвони мне часов, скажем, в одиннадцать.

— Хорошо.

— Тогда и поговорим. — Он вдруг улыбнулся, будто бы попросил меня не думать больше о плохом. — Водку ты пьешь?

— Несистематически.

— Надо же! — Он засмеялся. — Как я тебя не узнал сразу, товарищ корреспондент. Так можно и инфаркт схлопотать.

— Ну, до этого бы я дело не довел.

— Да и я бы все-таки не умер, — сказал Шишкин. — Тут мы великий эксперимент затеваем! Поверь, о Вожевске заговорят, если только одно дело удастся.

— Какое?

Зазвонил телефон. Шишкина куда-то вызывали. Он стал собирать бумаги.

— Ну, так в одиннадцать завтра позвони. И обязательно. Попробую тебе помочь.

Я поблагодарил его. Появилась уверенность, что Шишкин не обманет, что он действительно что-то сделает.

Мама сегодня выглядела бодрее, голос стал звонче.

На столе меня ждал отличный пирог с яблоками, теплый, румяный. И воздух в комнатах посвежел. Пахло ванилью, как в детстве.

— Ма, — сказал я как можно беззаботнее, — тебе нужно бы съездить к врачам, обследоваться. Кровь, рентген, ну и все такое. Вчера ты не очень-то мне понравилась.

Она улыбнулась.

— Для этого и ездил в город?

— Что ты? Просто встретил кое-кого. Сказали, приезжайте. Анну Васильевну можем, мол, положить в любой день.

Я проговорился.

Мама стояла у печки, внимательно и немного грустно смотрела на меня.

— Не поеду, — сказала она твердо. — Так решила. Да и Калиновского сейчас нет, к нему бы легла. А вот через месяц обязательно покажусь, обещаю. — Она подошла ко мне, обняла. — Я совершенно не хочу думать о плохом. Ты приехал — значит, мне уже повезло. Повезет и в другом.

Эту ночь я спал без снов. Окна в моей комнате были зашторены. Когда я поднял голову, то оказалось, что в щелочку между портьерами пробивается тонкий луч света. Я окунул руку в этот пучок, разглядывая циферблат: половина восьмого.

Мама давно поднялась, за стенкой слышались ее тихие шаги.

— Проснулся? — удивилась она.

— Да.

— Чего же в такую рань?

— А ты?

— Я? Да вот постирать захотелось. Знаешь, мне уже два месяца не хотелось стирать.

Я подумал: может, действительно теперь все пойдет на лад?

На столе пыхтел самовар. Я налил заварки, нацедил кипятку и стал вприкуску отхлебывать из блюдечка. Я чувствовал себя счастливым.

Мама угадывала каждое мое желание. Едва я закончил чаепитие, как в комнате появились мои старые, основательно стоптанные кирзовые сапоги. Сколько было исхожено в них по енюковскому лесу! Сапоги стояли против стола и будто бы ждали моего решения.

— Может, действительно сходить, проверить прежние места? — спросил я у мамы. — Только найду ли?

— Найдешь, — сказала она убежденно. — Лес подскажет.

Через калитку позади огорода я вышел на полузаросшую тропинку, нахлобучил кепку, вздернул повыше «молнию» на куртке и неторопливо затопал к лесу.

Подберезовики пошли сразу. Я снял черноголовик, отрезал ножку, выкинул ее, а шляпку аккуратно положил на дно корзины. В наших местах экономить не приходилось.

Какой, к черту, юг мог сравниться с такой тишиной и покоем!

Я проходил несколько шагов, останавливался, оглядывал полянку, взгорок, канаву и тут же отмечал глазом несколько верных мест, а потом шел наверняка «брать» гриб.

Белых не было. Но я знал, скоро начнется бор.

Первый белый торчал на открытом месте. Стоял самодовольный и, видно, глуповатый толстяк в коричневом берете, глазел на меня. Я срезал его, почистил ножом, положил в корзину. Вслух сказал: «Открывай счет».

Ондохнул на меня грибным запахом.

Хорошо! Как хорошо, черт побери! Я раздвигал кусты, стирал с лица тягучую паутину, шел дальше. Неужели я был тот же человек, на которого вчера, казалось, обрушились все беды? Нет. Не может быть!

Корзина становилась тяжелее. Я переносил ее с руки на руку, наконец снял ремень и повесил ее на плечо.

Потом присел на пень, достал мамин завтрак — два ломтя хлеба с салом — и замер: у ног стоял огромный белый. Красавец! Гигант! Я нагнулся и буквально вывинтил его из земли. Хватит, хватит, больше ни одного!

С дороги, около сельсовета, видна наша деревня на все четыре километра. Людей нет, работают. Впереди, вроде бы около амбулатории, а значит, рядом с нашим домом, «москвич» на дороге. Уж не Венька ли?

Я вдруг вспомнил, что обещал позвонить ему около одиннадцати, а теперь минимум половина второго.

За рулем сидел незнакомый человек лет сорока пяти, широкоплечий, спортивный, с сильным, волевым лицом и тяжелым подбородком. Я хотел пройти мимо, но он так пристально следил за мной, что я невольно остановился и спросил: не к Лавровым ли кто приехал?

— К Лавровым.

— А кто?

Мужчина глядел на меня с прежним любопытством.

— Калиновский.

Я бегом бросился к дому, чувствуя, как колотится сердце.

На залитом солнцем крыльце сидел Венька, грелся. Ворот его рубахи был расстегнут, рукава закатаны, пид-

жак лежал рядом. Он увидел меня издалека, помахал рукой.

— Загораю без хозяина, — добродушно сказал он. — Что же ты не позвонил утром?

Я начал оправдываться:

— Маме стало чуть лучше, и она попросила никого не тревожить. Да и я вдруг поверил, что все обойдется. Но, главное, Калиновский...

Венька был доволен.

— Раз нужно — так нужно. Привезли с дачи.

— Я тебе так благодарен...

— Хватит, — он остановил меня нетерпеливым жестом. — Не говори больше об этом.

Я подошел к окну, заглянул в комнату. Калиновский — худощавый черноволосый мужчина в очках — сидел на краю кровати, разговаривал с мамой.

Я поздоровался. Он сдержанно кивнул мне.

— Ну, так договорились? — спросил он у мамы, видно заканчивая разговор. — Другого выхода нет.

— У меня сын приехал... в отпуск... — сказала мама. Она подняла голову, искала меня глазами, как бы спрашивая совета.

— Ждать некогда, — категорически повторил Калиновский.

— Витя, — попросила мама. — Проводи Марка Борисовича помыть руки. Полотенце возьми.

Только теперь я заметил, что держу корзину. Какая-то жуткая усталость навалилась на меня. Да что усталость — безысходность.

Калиновский вышел хмурый. Повертел головой, точно шею сдавливал воротник рубашки, растегнул пуговицу.

Я показал, куда идти, и двинулся за ним следом.

Калиновский остановился около умывальника, взял мыло, покрутил его в сухих руках, ударил по кранику.

Я глядел на руки Калиновского и ни о чем больше не думал. Он наконец взял полотенце и стал тщательно вытирать палец за пальцем.

— Только медики так относятся к себе, — буркнул он. — Могла обратиться сразу, еще два месяца назад.

— Значит, совсем худо?

Он пожал плечами.

— До операции этого никто вам не скажет. Возможно, опухоль не злокачественная. Хотя, честно говоря, мы

отвыкли от таких крупных доброкачественных опухолей. Теперь они все малигнезируются раньше.

Он не заботился о том, понимаю я или нет его ученый язык.

— И все-таки?

— Конечно, мы обязаны надеяться. По крайней мере откладывать операцию нельзя. Процентов двадцать шансов у нас есть.

Я едва подавил в себе противное чувство тошноты. Всего двадцать процентов!

Я брел за Калиновским и никак не мог вспомнить, что же еще должен спросить у него.

— Что сказать маме?

Он не обернулся.

— Она знает. Сама поняла.

— Как? Она была так спокойна...

— Не хотела огорчать вас. Боялась испортить сыну отпуск. А потом... — он помолчал, — считала, что безнадежна.

Шишкин, видно, уловил что-то в моем лице, сжал на ходу локоть, сказал: «Держись». Я был благодарен ему за сочувствие.

Мама хлопотала около стола, расставляла тарелки. Она даже не подняла голову, когда я вошел.

— Принеси самовар, — сказала мне. — И позови того человека, что остался в машине...

— А кто это?

— Приятель Шишкина и Калиновского. Марк Борисович сказал, что только тот человек и смог уговорить его бросить рыбалку...

— Тоже врач? — я старался расспрашивать маму о чем угодно, но только не о болезни.

— Нет. Директор школы.

Я наконец решился спросить о главном:

— Калиновский говорит, что ты согласилась в больницу?

Она кивнула:

— Да. Марк Борисович считает, что это необходимо.

— Может, еще посоветоваться?

— Если Марк Борисович считает, то зачем же... Значит, шансы еще есть.

Я молчал.

— Вить, — мама внезапно обняла меня, — да брось ты расстраиваться. Вот если бы Калиновский сказал, что мне лучше побыть дома...

Мы ехали в Вожевск, подавленные таким быстрым и неприятным поворотом событий. Вениамин чувствовал наше настроение и старался быть веселым, буквально не закрывал рта. Он рассказывал какие-то местные сплетни, старые анекдоты, засыпал нас историями про охотников. Впрочем, тут помешал ему Калиновский: охота была его страстью.

— Талантливый человек всюду талантлив, — сдался Вениамин. — Марк Борисович не ошибается ни на рыбалке, ни в лесу, ни в операционной.

Шутка не получилась. Все вдруг замолчали, и стало слышно, как шумит мотор.

Калиновский покашлял.

— Я вас сразу же отвезу на дачу, — вмешался приятель Вениамина. — Да и дальше, если только потребуеться, буду привозить и отвозить.

Пожалуй, это была его единственная фраза за все наше сегодняшнее знакомство. Только у больницы, когда мы стали прощаться, я смущенно сказал, что нас так толком и не познакомили.

Он протянул мне руку и крепко, по-мужски сжал ее.

— Лавров, — пробормотал я.

— Прохоренко, — представился он.

Глава пятая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

На следующий день я осталась в школе после воспитательского часа. Почти все разошлись, а мне еще нужно было выставить оценки в дневники за прошлую неделю.

Я устроилась на последней парте, потому что стол был занят, за ним трудились Женя Горохов и Люба Боброва — члены только что выбранной редколлегии.

Неожиданная тишина заставила меня поднять голову. Я увидела перед собой высокую седую женщину. При-

ческа узлом, худое смуглое лицо с большими карими глазами. На ней был элегантный шерстяной костюм, белая гипюровая блузка. Посетительница выглядела бы даже молодо, если бы не беспокойный, растерянный взгляд.

Я поднялась.

— Вы Мария Николаевна? — не сразу спросила она.

— Да.

Я перебирала в уме всех учеников: чья же это бабушка?

Женщина подняла руку, пригладила волосы, и этот жест мне напомнил Леву Жукова.

— Я бабушка Левы Жукова.

— Я догадалась. Садитесь, пожалуйста. — Я показала на соседнюю парту.

Она села. Сцепила кисти рук. И вдруг ее длинные пальцы побежали по парте, запрыгали, как по клавишам, и что-то очень тревожное почудилось мне в этой беззвучной гамме.

Уж не случилось ли что слевой? Избили мальчика, попал под машину...

— Ради бога, — не выдержала я. — Лева только что ушел домой.

— Нет, нет, в этом отношении ничего, — поняла она. — Он, конечно, уже дома. И вообще он, кажется, у вас благополучный?

— Вполне, — подтвердила я. — Кругом «четыре».

— Вот видите, благополучный.

Она опустила голову, по-старушечьи сгорбилась.

Женя Горохов осторожно покашлял и вопросительно показал на себя и Любу. Женщина заметила его жест.

— Нет, нет, останьтесь, — попросила она. — Класс все равно обязан узнать об этом... Я сейчас расскажу все, только нужно собраться. Понимаете, это очень давняя история, даже не знаю, какой год можно считать ее началом: сорок второй или сорок пятый... По крайней мере помню, что девятого мая, в День Победы, мы с дочкой так радовались и веселились, что моя мама, а ей тогда было за семьдесят, крикнула нам: «Тихо! Не к добру это!» — «Что может быть теперь не к добру?» — спрашиваем мы. «Гогочете так, — отвечает мама, — будто уже ревете».

Женщина опять замолчала. Я украдкой взглянула на ребят: они сидели не шелохнувшись.

— В тот день я вынула из своего тайничка бутылку шампанского, у нас еще с довоенных дней осталась бутылка — купили, знаете, а выпить так и не успели, — и поставила на стол. Да, — вспомнила она, — я не сказала, что Лева получил свое имя в память деда, моего мужа. Понимаете, какое это для меня имя?

Ее взгляд стал неподвижным, а я опять подумала: что же случилось?

Внезапно она заговорила о другом.

— Я всю войну работала хирургом. Вы, наверное, плохо представляете, какой ад эта работа. Мы простаивали по трое суток в операционной. У нас был специализированный фронтовой госпиталь. Ранения в голову. Бывало, падали от усталости, особенно в периоды наступлений. Но ничего. Час-другой поспишь — и опять за скальпель. Никто не знал, откуда берутся силы. У меня была медсестра, ростом с нее, — и женщина показала на Любу, — так та вообще могла работать без передышки. Вздремнет минут десять — и опять за работу... Впрочем, мы так могли потому, что все это казалось пустяком по сравнению с фронтом. А как у них было — я знала. Видела. Когда поступали с ранениями в череп, то я, наверно, лучше всех понимала, что такое война. Слепые. Обезображенные. Представляете, четыре года я вглядывалась в лицо каждого поступившего, я боялась найти среди них Леву. И только постоянное чудо возвращало мне равновесие.

— Чудо? — переспросила Люба.

— Да, девочка. Этим чудом были Левины письма. Сто тридцать писем моего мужа. Он писал их почти каждый день. Иногда письма не доставлялись вовремя; иногда поздние письма опережали те, что были написаны на несколько дней раньше; иногда мы получали по несколько сразу. У нас дома был такой уговор: без меня не читать. И вот придет письмо от отца, а дочь не читает его сутки, а то и двое, ждет меня. Это был наш праздник. Мы радовались и плакали над каждой строчкой...

Она потеряла виски. Мне показалось, что в эти секунды она что-то досказывает себе. Там, вдалеке, в самой глубине ее сознания, пробегали бесконечные картины военных лет — то прошлое, которое беспрерывно продолжается в нас.

— Не помню, говорила я вам, что мы так и не выпили довоенного шампанского? Дочка сказала: давай подождем, пока придет папа. Но мы так никогда и не выпили ту бутылку. Пришло извещение, что муж убит. Погиб уже после войны. Подорвался на mine. Понимаете, для меня как хирурга война еще продолжалась лет десять; сколько человек подрывалось на минах, особенно мальчишек. Минам было безразлично, что люди уже не воюют. О чем я? О шампанском... Мы тогда совсем забыли о бутылке и вспомнили только в пятьдесят пятом, когда у моей дочери родился мальчик. Мой внук. Лева. И тогда я достала бутылку шампанского, ту, что нам так хотелось распить с дедом, и стала открывать пробку. Помню, какими торжественными все были. Я вытерла бутылку, стала медленно поворачивать пробку, но она сломалась, рассыпалась в моих руках, и из бутылки пошел легкий дымок и пахло кислым. «А мы все равно выпьем», — настоял зять. Я разлила рюмки и пригубила. Нет, пить это было невозможно. Вместо шампанского я разлила уксус... Мы много плакали с дочкой, читая Левины письма. Он был в них как живой, и в каждой шутке или фразе оставался его жест и его голос. Понимаете, я старела, а он никогда уже не старел — все те же тридцать пять, — и я в такие минуты начинала думать, что и мне не больше...

Она спросила:

— О последнем письме я говорила? — И прибавила: — Такой сумбур в голове. Все смешалось. Письмо пришло после извещения. Лева писал, что везет нам подарок: двести моих и дочкиных писем. Много позднее их нам доставил его товарищ...

Женщина распрямила плечи, откинула голову и, как-то сурово глядя мне в глаза, с горечью сказала:

— Никто и не подозревал тогда, что сын моей дочери, названный именем деда, через двадцать семь лет своими руками снесет эти письма в макулатуру.

Люба заплакала, а Горохов вытянулся, пораженный. Он стоял бледный, и желваки гуляли по его скулам.

— Мария Николаевна, — я увидела, как он метнулся к окну, — там еще летают какие-то бумажки — может, что осталось?

— Нет, — женщина покачала головой. — Я пересмотрела все. Там нет.

— А если обежать ребят? — крикнула Люба. — Все же рядом. И из других классов. Мы можем всей школой разгребать макулатуру. Мы найдем.

— Нет, — женщина остановила ее. — Не стоит. Сегодня вторник, а макулатуру отвезли в субботу. Я была там. Говорят, бумага сразу же пошла в переработку. — Она помолчала. — Как это мы его проморгали?

Не знаю, сколько мы просидели молча: на улице вроде бы стало темнее. И тут я решила.

— Завтра, — сказала я ребятам, — мы должны будем очень серьезно поговорить об этом в классе. Подумаем вместе, обсудим. Мне бы хотелось, чтобы выступил каждый.

— Выступим, — кивнул Горохов.

— «Молнию» выпустим сейчас же, — сказала я. — И хорошо бы, если бы в класс пришли бывшие фронтовики.

— Я попрошу дедушку, — сказала Люба. — Он не откажет. Я ему расскажу все, и он придет, даже если будет очень занят.

В кухне у Прохоренко горел свет. За шторами не было видно, кто из них дома.

Мы поднялись по лестнице, Вовка обогнал меня и, подпрыгнув, нажал кнопку звонка.

Послышались шаги. Дверь открыла Люся. Улыбка осветила ее лицо, она раскинула руки. Вовка влетел в ее объятия.

— Вот и прекрасно, что пришли, прекрасно! — повторила она, целуя Вовку. — А у нас твой любимый пирог.

— С вареньем?

— С яблоками.

Вышел Леонид Павлович, широко, наотмашь хлопнул по Вовкиной протянутой ладони, шутя сказал ему:

— Беги в кабинет, там тебя что-то ждет.

Вовка нырнул в дверь и тут же выскочил с «конструктором».

— Спасибо, дя Леня! — закричал он. — Спасибо.

— Зачем вы его балуете? — сказала я.

— Да полно, Маша! — Леонид Павлович отмахнулся.

— Хватит объясняться, — прикрикнула Люся. — Садитесь за стол. Леонид только что проехал половину зем-

ного шара. Я боюсь, что он с голоду начнет грызть мебель.

Вовка захохотал.

— Кстати, — спросила Люся, — тебе не хочется узнать, куда ездил Леонид?

Я все время думала, как рассказать о Леве Жукове, и невольно перебила Люсю:

— В школе случились неприятности.

— В школе? — Я увидела, как Люся изменилась в лице.

Леонид Павлович сосредоточенно смотрел на меня. Он не шевельнулся, когда я назвала фамилию Жукова, и только одна бровь его удивленно поползла вверх. Он так и сидел неподвижно, когда я рассказала о фронтовых письмах, которые мальчик снес в макулатуру.

— Леня, что это за парень? — с ужасом спросила Люся, когда я кончила свой рассказ. — Как он мог?

Леонид Павлович думал о чем-то и, мне показалось, даже не услышал вопроса жены.

— И-а-ах! — с болью выдохнул он. Поднялся. И опять сел. — Что за парень? — переспросил он. — Благополучный, домашний парень. В лагере не был. Не отпустили. Дача, видите ли, лучше. Учится тоже прилично. Дисциплинированный. . . И все же как мало мы их знаем, Маша, как мало! А ведь я мечтаю работать иначе. Хочу понять, на что способен каждый. И не только степень полезности хочу представлять, но и границу худого. Нет, я вас не обвиняю. Что можно понять меньше чем за месяц? И все же на будущее это урок всем.

Он ходил по кухне.

— Понимаете, меня огорчила не только вопиющая безнравственность этого парня, но и другое. . . Такой случай может дискредитировать наше дело. Поставить под сомнение все, к чему я стремился. Обязательно найдутся дураки, которые начнут тыкать в нас пальцами: вот к чему способна привести бесконтрольность и так называемое самоуправление.

Он приблизился ко мне.

— А вы думаете, все заинтересованы в моем эксперименте? Отнюдь! Он мешает. Выбивает из привычной будничной жизни. Это же бревно в глазу! . . . Когда, Маша, я переходил из института в школу, меня предостерегали: не зарываться, не лезть на рожон — чего только не говорили.

Я вынужден был хитрить, осторожничать. Я, Маша, готовился к лагерю. И вот тут мы показали, что значит четкая, хорошо продуманная мысль. Как мы работали! Пожалуй, это были самые интересные дни в моей жизни. Ведь я действительно на блюдечке с золотой каемочкой принес им потрясающие результаты, и тогда все повернулись ко мне. Теперь-то я знаю истинную цену слову «заговорили». Вы даже представить не можете, что для них значили две статьи в областной газете. Вожевский эксперимент! Наше начинание! Поверьте, я готов был бы работать тихо, без всякой рекламы и шума, но эти статьи заткнули рот сомневающимся, они создали атмосферу уважения вокруг дела — вот что мне нужно было от них. Только теперь у меня появилась возможность выступить с открытым забралом. Я получил кредит, в котором нуждался. И тогда все полезли сюда, всем захотелось встать рядом. А я все трудился. В поте лица. Не спал ночами, страдал, если что-то не получалось. Вот вы вчера огорчились из-за Семидоловой, а я, думаете? Но мне это нужно, нужно для общего дела. Я вынужден соблюдать в первую очередь интересы коллектива.

Его глаза лихорадочно заблестели, и мне стало немного не по себе от этого непривычного взвинченного разговора.

— Я постоянно боюсь за дело. Думаю, как убедить того, как доказать этому. Мне одному необходимо все предусмотреть, и я пугаюсь, что меня не хватит, что я поскользнусь, сделаю ошибку. Если бы мне настоящих помощников — преданных, убежденных! Но их нет. Конечно, будут, но пока я один. И вот я стал бояться своих неудач. Мне стало казаться, что каждый промах вернет меня к началу, что мне придется заново строить все здание...

Он неожиданно спросил:

— Думаете, нет таких, кто ждет моего провала? Только не считайте, что я подозрителен. — Он говорил с иронией, словно расставляя над каждым словом несуществующие кавычки. — Они скажут: дисциплины, знаний, слепого подчинения — вот чего он мог добиться таким сомнительным путем, но не нравственности. Где это нравственное начало, если мальчишка, хороший ученик, ради рекорда сжигает прошлое своих близких? Разве они по-

верят, что это частный случай? «Это типично!» — закричат они.

Он помолчал.

— С Жуковым говорили?

— Не успела. Бабушка пришла после уроков. Я зашла за Вовкой — и к вам.

— Парню нельзя давать передышки, — предупредил он. — Его следует взять в оборот.

Люся, какая-то огруженная, отяжелевшая, сидела на табуретке, положив руки в подол юбки, глядела в одну точку.

— Мы уже решили с ребятами поговорить завтра же. Я хочу, чтобы каждый в классе высказался. Вот вы, Леонид Павлович, вспоминали о нравственности, а какой урок нравственности можно будет преподать детям! Мне хотелось бы использовать этот случай для большого разговора, заставить ребят самих разобраться во всем.

— Нет, нет! — перебила Люся.

Он жестом остановил жену.

— Понимаете, Маша, — сказал Леонид Павлович, — скажу честно: мне бы не хотелось, чтобы эта история стала теперь достоянием города. При гласном же разборе она станет. Вы, видимо, не хотите мне поверить, что многие только и ждут нашей осечки.

— Но если мы сами... открыто... кто станет?!

— Кто? Вы хотите конкретно? — Он стал загибать пальцы. — Константинов, Кликина, родители, недовольные лагерем...

— Понимаете, Леонид Павлович, чего я боюсь... Если будет разговор в классе, то он коснется каждого, а недоговоренность, даже замалчивание...

— Вы не хотите понять, — резко сказал Леонид Павлович. — Я не могу согласиться на это. Мы испортим все. — Он замолчал и долго смотрел в черное окно, покачиваясь и раздумывая о чем-то. — Да, да, я боюсь развенчать своими же руками нашу приподнятость, атмосферу энтузиазма, которая уже царит в школе. Неужели вы не чувствуете этого? Когда я открываю двери вестибюля, да что двери, еще на улице, когда я гляжу на веселые, сияющие лица ребят, то мне не хватает дыхания и я каждый раз думаю, что наступил нескончаемый праздник.

Я все еще надеялась уговорить Леонида Павловича.

— Понимаете, такое классное собрание, о котором

думала я, коснется сердца каждого, даже таких, как Шукин...

— Леня мне сказал, что Шукин выстрелил в тебя из рогатки. Мы не могли понять, как это произошло. Ты молодец, что не пожаловалась тогда на него в классе. Поверь, это здорово подняло твой авторитет среди ребят.

— Леонид Павлович, — осторожно начала я, — а не кажется вам, что ребята еще не готовы к самостоятельному управлению?

— Нет, не кажется, — уверенно сказал он. — Но даже если бы вы и оказались правы, то, поверьте, у меня нет сейчас нескольких лет, как у Песталоцци в девятнадцатом веке, да и нравственные задачи другие, чем у него...

— Почему Песталоцци? А Макаренко?

Наступила неприятная пауза. Люся покашляла.

— Ладно. — Леонид Павлович вздохнул. — Давайте вернемся к истории с Жуковым. Я прошу ограничиться разбором его поступка у меня в кабинете. Могу сказать, Маша, что я не только ценю ваше мнение, но и радуюсь ему. Однако в данном случае, — он подчеркнул, — как друг, прошу: помогите.

Я вспомнила ребят — Любу Боброву, Женю Горохова, — сколько мы проговорили сегодня об этих письмах и о том, что разговор с классом необходим. Как я объясню им свое новое решение? Ничто, я уверена, не портит ребят так, как лживость и фарисейство учителя.

— Маша, — сказала Люся, — ты же самый близкий нам человек.

Я беспомощно объяснила ей:

— Но ребята хотели пригласить фронтовиков. Я обещала им. Я была уверена, что Леонид Павлович меня поддержит.

Они снова переглянулись. Это было неприятно.

— Понимаю, — сказал он. — Этическую сторону я возьму на себя. Не волнуйтесь.

Вбежал Вовка. У него не свинчивалась какая-то железяка, и он полез к Леониду Павловичу с вопросами. Люся снова спросила:

— Так ты исполнишь нашу просьбу?

— Да.

Она повернулась к плите и весело крикнула:

— Батюшки-светы! А пирог-то сгорел.

Гостиница оказалась рядом с больницей, эдакий семи-этажный вожевский небоскреб.

Над окошком администратора — и тут! — традиционная табличка: «Мест нет». На стульях около стен melancholicные командированные.

Я вынул корреспондентское удостоверение и протянул в окно. Марка газеты сработала безотказно, и через минуту я проходил мимо проснувшихся командированных, закрылся в лифте и взмыл на седьмой этаж.

Номер оказался не хуже столичных. Довольно большая комната, письменный стол с красным телефоном, над кроватью несусветная стряпня местного живописца «Букет сирени».

Из окна виден почти весь город. Черные и серые деревянные дома с цинковыми и шиферными крышами, высокие каменные здания-коробки. Вдалеке — заводы. Красные сигароподобные трубы с фитильками дымов.

Я развесил в шкафу вещи, полистал телефонный справочник, коричневыми корочками похожий на меню ресторана, и почувствовал безысходное одиночество. Что делать? Как жить эти несколько недель? Вокруг меня была пустота и нарастающая, щемящая тоска.

Сидеть в номере казалось невыносимо. Нужно куда-то пойти, что-то сделать, с кем-то поговорить... И я решил позвонить Рите.

Я схватился за эту мысль как за спасение. Там, далеко, в Москве, был человек, который должен был меня понять в такую минуту. И я вдруг подумал, что наши разногласия с ней, может быть, преувеличены, не все ведь было плохо, сколько хороших дней незаметно забылось.

Я заказал Москву. Стоило бы пойти на почту, потолкаться среди людей, в номере время шло изнурительно медленно.

Наконец телефон часто и коротко зазвонил. Я снял трубку и тут же услышал удивленный голос Риты:

— Что случилось, Виктор? Ты вроде бы и доехать еще не успел?

— Заболела мама, — торопливо начал я. — Понимаешь, истощена, землистое лицо, смотреть страшно...

— Ты хочешь привезти ее в Москву?

Меня остановила холодная интонация Риты. Это был голос практичного, трезвого человека. Пока я произносил первые фразы, она успела высчитать все возможные варианты последствий.

Я замолчал, и она опять поняла мое молчание по-своему.

— Хорошо, поговорю с главным. Только хочу предупредить, что положить ее у нас будет очень трудно: из деревни! Нет московской прописки. Не обнадеживай пока что.

— Не нужно говорить с главным, — перебил я.

— Почему? — в ее голосе было недоумение.

— Мама уже в больнице.

— А-а-а...

Мне ничего не стоило представить утомленно-скептическое выражение ее глаз.

— И какой диагноз направления?

— Опухоль.

— Это очень плохо.

Боже, разве я сам не знал, что опухоль — плохо! Неужели и тут у нее не нашлось иного слова? Насколько теплее и ближе оказались чужие люди!

— Ты дай телеграмму, как только прооперируют, — сказала она. — Я послезавтра должна вылететь в отпуск. Или лучше пиши до востребования в Сочи. В телеграмме все равно много не скажешь.

И все. Не предложила отменить поездку в Сочи, приехать, чем-то помочь...

Наверное, к ней подошла теща, потому что Рита стала объяснять: «Представляешь, у Анны Васильевны рак».

Хотелось крикнуть, что это не так, что опухоль, возможно, и не злокачественная, но я молчал.

— Алло, алло! — Рита повысила голос, когда пауза затянулась. — Черт, — пожаловалась она матери, — вечно эта междугородная! Алло, Виктор! — Она снова дула и чертыхалась. — Ладно, — наконец сказала она. — перезвонит, если захочет.

Я услышал короткие гудки и положил трубку.

Вот и поговорили, а ведь я знал, все знал наперед.

Я открыл окно — на улице было прохладно, прилег на кровать и, наверное, час пролежал неподвижно.

Темнело, и мне начинало казаться, что я уже давным-давно в Вожевске — таким бесконечным был сегодняшний день.

Я вспомнил о рукописи, оставленной дома. И впервые подумал, что ведь, пожалуй, рецензент прав. Все это хлам, вымученный хлам, и я никогда, никогда больше не стану писать понаслышке — о том, что узнал из вторых и третьих рук. Только почему же раньше нельзя было признаться в этом?

Вот первая книга была моей. В ней жили люди, которых я знал, любил или не любил, наконец там был я сам со своими сомнениями и поисками. Первая книга вызрела годами, со второй вещью я спешил, не дал ей, говоря фигурально, развиваться в себе.

Я подумал, что в писателе должно присутствовать женское начало. Ощущение зарождающейся жизни может возникнуть как случайный проблеск. Это только мгновение — писать еще рано. Должны пройти месяцы, год, иногда несколько лет, чтобы вещь созрела.

А потом это придет, как приходят к женщине схватки, только не боль, а беспокойство: именно сейчас и пора писать. И тут очень важно не поспешить, не взяться за перо до этого толчка, но и другое страшно — переносить в себе.

В одном случае жизнь книги может быть слаба, как недоношенный ребенок, в другом — засушена и безжизненна, как неполивное растение.

Почти год я рожал и хоронил своего недоноска, представляя предложение к предложению, страницу к странице. Герои были картонными, ходили на несгибающихся ногах — фантомы, а не люди. Нужно было признаться себе в неудаче, а я не мог.

Где-то далеко зазвенел телефон — похоже, что в соседнем номере. Я безразлично прислушался к его настойчивой трескотне.

И вдруг сообразил, что это звонят мне, вскочил с кровати и долго не мог нашарить в темноте трубку.

— Виктор? — Я узнал голос Шишкина. — Хотели к тебе заехать.

Я сказал: «Заезжай» — и сразу же подумал, что Венька, наверно, придет не один. Наверняка с супругой. Это в Москве женатые друзья лезут из кожи, чтобы выгля-

деть независимыми, а здесь мне все время придется иметь дело со счастливыми семьями.

Я бросился в буфет, чтобы купить вина. В буфете торговали только пивом. Тогда, не надевая пальто, я побежал на улицу — магазин был рядом. Купил бутылку коньяка и помчался домой.

Я надеялся, что приду первым: надо успеть застелить кровать, но коридорная сказала, что гости только что прошли ко мне.

Я распахнул дверь и прямо перед собой увидел женщину. Это была красивая женщина. Она глядела на меня с загадочной улыбкой и молчала.

Ей было лет тридцать. Лицо казалось бледным — возможно, из-за слишком яркой помады на губах и больших темных глаз.

Венька стоял позади. Но я почему-то подумал, что вряд ли это его жена.

— Витя, не узнаешь? — с обидой сказала женщина. Я ахнул: Люся!

Бутылка полетела на кровать. Я обнял Люсю и расцеловал.

— Люська! — говорил я, искренне радуясь этой встрече. — Как я рад! Да ты же красавицей стала! Прекрасная дама!

Я усадил ее в кресло.

— Ай да Вениамин, — говорил я. — Он сегодня мой ангел-хранитель. Сколько добра сделал! Спасибо, старик! А ты, — я снова обернулся к Люсе, — наверное, мать пятерых детей: такой высокой моралью от тебя веет.

Она засмеялась, и ее смех, легкий и свободный, показался мне очень знакомым.

— Да и ты изменился. Я даже оробела, когда ты вошел. Вот и седина, и волос стало меньше, — Люся все смотрела на меня, — но я бы даже на улице тебя узнала сразу — это только Шишкин не мог.

Венька развел руками.

— Ну давай рассказывай о себе, — настаивала Люся. — Женат? Дети? Венька ни на один вопрос мне ответить не мог, а еще кадровик.

— Женат, — я улыбнулся, — но уже хочется разводиться.

— Что так?

Я отмахнулся:

— Не стоит об этом. У меня есть беды и покрупнее.

— Знаю, — она сказала это едва слышно. — Но, может, еще обойдется. Старайся думать о хорошем. Да и Калиновский говорит: есть шансы. А он, Витя, впустую не обнадеживает.

— Дай бог.

— Ну, рассказывай о себе, — приказала Люся.

— Да что рассказывать! Работаю в газете, пишу.

— Мы читали твою книгу. Нам с мужем она нравится. А мы кое-что, надеюсь, понимаем.

Шншкин чему-то рассмеялся, но комментировать не стал.

Я наблюдал за Люсей. Удивительно, куда только делась ее скованность. Раньше многие на факультете считали, что Люси как самостоятельной личности не существует. Была Маша. Ее ум, характер, обаяние, а Люся — это бледная копия с оригинала.

Теперь я видел, как все ошибались.

Видимо, мысль о Маше появилась у нас обоих.

— Да! — вспомнила Люся, и в ее глазах что-то засветилось. — Здесь Мария.

— Я тоже сейчас о ней подумал.

— Хочешь встретиться? — Лукавство в Люсиных глазах нарастало. — Выглядит Машка прекрасно.

— Замужем?

— Нет.

— Только что вернулась из деревни, — вставил Венька. — Люся вытребовала.

— Было жалко ее, — объяснила Люся. — У нее растет ребенок.

Я не знал, что ответить. Нет, подумал, встречаться не стоит. К чему? Да и не до Маши сейчас: болеет мама. Я так и ответил.

— Как хочешь, — сказала Люся. — Я ей пока ничего не сказала о твоём приезде. Решила спросить у тебя.

— Вот и отлично. Давай об этом не будем. Да и Маша, если я только правильно представляю ее характер, встречаться со мной не захочет.

Мы замолчали. Напоминание о Маше растревожило меня. Странное дело! Разное случалось у меня за эти годы, кое-что я повидал, со многими встречался, но какие бы плохие люди ни появлялись на моем пути, какие бы поступки они ни совершали, всегда было важно

сознавать, что я знаю человека бескомпромиссного, чистого, и он, тот человек, скорее причинит вред себе, чем сделает худо другому.

Чертовски захотелось выпить. Я подкинул в руке бутылку и повернулся к Шишкину.

— Не пора ли?

— Пора, — отозвалась Люся, — но только не здесь. Мы решили тебя сегодня не оставлять одного, поедешь с нами.

Шишкин подошел к окну и долго что-то разглядывал на улице.

— Карета подана, — наконец сказал он. — Надеемся, не откажете навестить друзей.

Я накинул пальто, запер дверь, отдал ключ коридорной.

— Сейчас познакомлю тебя с мужем, — немного таинственно сказала Люся.

Я пошутил:

— Первый раз вижу женщину, которая так настойчиво рекламирует своего супруга. Ты давно замужем?

— Девять лет.

— Ого? — удивился я. — И не надоело?

Метрах в пятнадцати от гостиницы стоял «москвич»; сидящий за рулем человек читал газету.

Только подойдя вслед за Люсей к машине, я понял, что это опять мой утренний спутник.

Прохоренко улыбнулся мне как старому приятелю, сложил газету, засунул ее за щиток и пригласил садиться.

— Мой муж, — представила Люся. — Вы, по-моему, уже знакомы.

— Так вот, оказывается, кому я должен быть благодарен за маму?

— Мы ничего особого не сделали, — возразила она. — Просто в Вожевске Леня многих знает, ему проще. А я действительно хочу, чтобы у тебя все было хорошо...

Венька тяжело опустился на заднее сиденье, ждал меня.

— Леонид Павлович, — сказал я, — что же вы не поднялись ко мне? Люсин муж! Да это же двойной сюрприз.

Прохоренко покачал головой:

— Зачем? Я отдыхал, читал газету, так что не жалейте. А потом, — Прохоренко улыбнулся, и я заметил, что улыбка у него мягкая, приятная — такая бывает у открытых людей, — к чему мешать встрече старых инстинктивных друзей?

— Прошу слово «старые» больше не произносить, — заметила Люся. — Лучше — «давние».

Машина мчалась по асфальтированной, неплохо освещенной улице, потом свернула в темный проулок и сразу же запрыгала среди выбоин.

— Леня, ты не узнал у Калиновского, сколько времени будут готовить к операции Анну Васильевну? — спросила Люся.

— Недели две.

Прохоренко приспустил стекло.

— Витя, — сказала Люся и незаметно положила ладонь на мою руку — наверно, хотела меня утешить, — если будет нужно, я смогу подежурить.

Мне хотелось кричать от обиды. Чужие люди так близко принимают мою беду. А жена?!

Прохоренко включил фары. Свет полыхнул по дороге, вырвал из темноты забор, переломанный штакетник, столб. От обочины к середине дороги метался маленький человек, махал руками и что-то кричал.

Прохоренко дал длинный сигнал.

— Задавишь! — выкрикнул Шишкин.

Человек отскочил в сторону, погрозил нам кулаком.

— Я решил, — передохнул Шишкин, — что сегодня буду давать показания следствию.

— Ну, задавить его я не мог, — спокойно сказал Прохоренко. — Он же не стоял на дороге, а метался.

Прохоренко поднял стекло: дуло. Разговор оборвался.

— Как вы думаете, — внезапно спросил Прохоренко, — от чего зависит победа гроссмейстера в сложнейшем шахматном матче?

— От удачи, — сразу же ответил Венька.

— На таком высоком уровне везение — это несерьезно.

— Тогда подготовленность.

— И это ерунда. Разница в знаниях может оказаться ничтожной.

— Здоровье?

— Почти угадали. Шахматный матч в первую очередь — это соревнование нервных систем. Побеждает тот, у кого крепче нервы. В жизни, кстати, то же самое.

— Тогда ты давно должен бы стать гроссмейстером, — вставил Веня. — Крепче нервной системы, чем у тебя, я еще не видел.

Я с интересом наблюдал за ними.

— Шахматы мне никогда не нравились, — засмеялся Прохоренко. — Не тот у меня темперамент. Вот гонщиком я мог бы стать. Но, увы, никто не обратил внимания на мои наклонности.

Леонид Павлович затормозил около трехэтажного дома.

— Не все же должно исполняться из того, о чем мы мечтаем, — возразил Шишкин, выходя вслед за мной из машины. — Я, например, мечтал быть дворником.

Мне показалось, что Прохоренко вот-вот скажет колкость, острота явно висела у него на языке, но он притянул Веньку к себе.

— Веня, ты хороший человек, но не подначивай меня на остроту. Если хотите, то все, все должно исполняться. Взгляните на любую выставку детского рисунка даже у нас в Вожевске. Это же сплошь одаренные художники. Каждый из них точно впервые увидел мир. А дальше? Где эти гении и таланты? Куда сгинул их дар?

Он весело поглядел на меня. Мы двинулись за Люсей.

— Теперь вы пропали, — сказала она. — Прохоренко садится на своего конька.

— Могу и помолчать.

— Нет, нет, — торопливо сказал я, — мне очень интересно.

— Все дело в педагогах, в их подготовке и культуре, в их умении проникнуть в мир ученика, как это умели делать Макаренко или Корчак. Добиться дружбы, доверия, полной откровенности ребенка, а тогда уже можно начать помогать ему укреплять веру в себя, определять его призвание. Согласитесь, не так уж много учителей готовы к решению такой задачи, а ведь, если говорить откровенно, это проблема нашего будущего.

— Конечно, — согласился я. — Но что можно сделать?

— Готовить педагогов, предельно повышать их общий уровень. Для того чтобы определить настоящее при-

звание, помочь ученику найти себя, нужны философы и тонкие психологи. Поглядите, Виктор, что происходит сейчас. В одной семье ребенку торопятся купить пианино, а у их сына, оказывается, совершенно нет слуха. В другой во время ремонта квартиры мальчик помог родителям выбрать обои, удачно подобрал колер, и вот взрослые начинают ждать от него блестящих достижений в живописи.

— Вы хотите сказать, что именно тогда-то они и прошли мимо его настоящего призвания — это мог быть прекрасный маляр, краснодеревщик, замечательный строитель, но не художник? — Мы уже стояли около двери их дома. Я сказал: — Леонид Павлович, я невероятно восприимчивый человек. Невольно начинаю примеривать вашу философию к себе. И действительно, кто ты — художник или маляр?

— Примеривать не мешает каждому, — согласился Прохоренко. — Но вам можно не волноваться. Да и путь ваш в литературу не был простым, не так-то легко вы к ней пришли.

— Вашими бы устами, Леонид Павлович, да мед пить!

Дверь нам открыла румяная, пышущая здоровьем, полная, как кустодиевская купчиха, молодая женщина.

— Знакомься, — сказал ей Вениамин. — Мой друг и однокурсник Виктор Лавров.

Я поклонился.

— Варвара, — представилась она, раскатывая на языке букву «р».

— Моя супруга, — объяснил Венька.

Судя по энергичному и решительному взгляду женщины, в Венькиной семье царил матриархат, и я сразу подумал, что все кадровые дела гороно утверждаются на семейном совете.

— Как Севуля? — спросил Венька. В его голосе слышалось заискивание.

— Тебя это, по-моему, не интересует.

— Кха, — кашлянул Венька и, смущенный, отошел в сторону.

Прохоренко повесил пальто, помог раздеться нам. Женщины ушли в кухню — оказывается, Варвара оставалась у Люси дома, что-то доваривала.

— Пойдемте в мою обитель, — пригласил Прохоренко.

Кабинет был просторен. У окна письменный стол с красивой старинной лампой, по обеим стенам стеллажи с книгами, кожаные кресла с ампирным барельефом на спинках.

— Странные люди бабы! — Веня был расстроен и поэтому старался выглядеть таким бодрячком. — Обязательно выламываются при людях, а, глядишь, дома — другой человек.

Я подошел к стеллажу. Несколько полок в два ряда заставлены книгами по философии и педагогике: Ушинский, Герберт, Платон, Кант, Песталоцци, тут же Павлов, Сеченов, Бехтерев... Интерес Прохоренко к физиологии меня несколько удивил, я потянулся за томиком Павлова, раскрыл наугад страницу.

Нет, книги не пылились здесь. На полях были заметки, некоторые строчки подчеркнуты: видно, что хозяин кабинета основательно работал над всем этим.

— Кажется, недоумеваете, зачем мне эти мудреные труды? — Прохоренко улыбнулся — А я считаю, что глубокого знания физиологии как раз и недостает даже самым лучшим современным учителям. Иногда я очень жалею, что не мог окончить медицинского института. Врач и педагог — идеальное сочетание для настоящего учителя.

Он заглянул в открытую страницу, взял у меня книгу.

— Вот, пожалуйста: «Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение: он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас». Ну не превосходно ли? А смысл? Вдумайтесь, тут продолжение прерванного нами разговора о малярах и художниках.

Прохоренко захлопнул книгу и сунул ее на полку.

— Рефлекс цели, здоровое начало — как хотите, так и понимайте, неважно. Но за этим стоит огромное: устремленность к победе, уверенность в себе. Этот рефлекс цели, убеждение в своем назначении как личности обязан развивать в ребенке учитель.

— А вы допускаете, что тот маляр мог бы стать художником, но не стал, не сложились обстоятельства?

Прохоренко отрицательно покачал головой.

— Слово «везение», скажу честно, мне не нравится. Расслабляющее душу слово. В нем мне слышится наде-

жда на случай, на какие-то не зависящие от человека причины. За долгие годы учебы ребенка у педагогов достаточно времени, чтобы убедить каждого школьника в том, что он обязан стать незаурядной личностью, и этой моральной уверенности ребенку должно хватить на всю жизнь.

— Те-ория! — протянул Веня.

— Нет, — решительно отверг Прохоренко. — Конечно, сейчас уровень учителей таков, что возлагать подобные задачи на них еще нереально. Но кое-что можно сделать уже теперь, и мы, кажется, делаем.

Шишкин перебил Прохоренко:

— Витя! У меня есть замечательная идея! Напиши о Леониде. Когда ты согласишься, что у него делается в школе, — ахнешь! Я тебе сразу об этом сказал.

— Вениамин, о чем ты? Сейчас, когда у Виктора столько дел... И вообще это совершенно не нужно.

Вениамин обиделся. Я молча обнял его и подумал, что если у мамы все обойдется благополучно, то о таком человеке, как Прохоренко, я действительно с удовольствием напишу. Вот где выдумывать не придется, все есть: и размах, и глубина, и значительная проблема.

Люся приоткрыла дверь, позвала нас к столу. Мне было жалко прекращать интересный разговор, но Прохоренко категорически заявил:

— Есть хочу!

Он пошел в ванную вымыть руки, а я остался в коридоре.

— Осознал, что за фигура? — шепотом спросил Шишкин.

— Любопытный человек, — согласился я.

Люся закричала из столовой:

— Вы скоро там? Леня, ты заморочил всем голову!

— То, что говорит твой муж, очень интересно.

— Вот-вот, — подхватил Шишкин, — поэтому я уговариваю Виктора написать о Леониде.

— Прекрасная кандидатура, — шутя сказала она. — Титан мысли! Если писать, то, конечно, только о нем. — Она подхватила меня под руку. — А вот если ты с голоду упадешь в обморок, Витя, отечественная литература мне этого не простит.

Стол был организован на славу. Прохоренко наполнил рюмки.

Люся поднялась, но Варвара стала требовать, чтобы первый тост произнес я.

— Пусть писатель говорит, писатель! — кричала она.

— Может, для тебя он только писатель, — сказала Люся. Она стояла с поднятой рюмкой. — Но для меня Виктор — прежде всего друг юности. Я хочу выпить за Анну Васильевну, за ее здоровье, за то, чтобы у вас все, все обошлось хорошо.

Я отдыхал после тяжелого, напряженного дня. И невольно надежда стала вселяться в меня. Казалось, что в Вожевске, где я окружен такими людьми, мне не может не повезти.

Я поднялся. Прохоренко спокойным, умным взглядом следил за мной. В Люсиных глазах были доброта и нежность. Должно говорить было незачем. Я посмотрел на всех и сказал:

— Если бы я мог отплатить таким же добром за ваше добро к нам с мамой!

Глава седьмая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

В эту ночь я почти не спала. Лежала с открытыми глазами и ждала, когда наступит рассвет.

Я думала о сегодняшнем дне, о том, что скажу ребятам. Я обращалась к ним, шепотом произносила фразу и с тревогой прислушивалась к своим интонациям: репетировала разговор с детьми. Если бы Вовка проснулся, то решил бы, что в квартире есть кто-то еще, кроме нас.

И сколько я ни повторяла доводы Леонида Павловича, спокойнее мне не становилось.

Но, может, поступить иначе? Прийти в школу. Дождаться Горохова и Боброву. И если у них готова газета, то сразу же повесить ее в классе. Нет. Я не чувствовала в себе силы выступить против Леонида Павловича.

Значит, есть одно-единственное решение — делать то, что он просит. Дружба, в конце концов, требует компромиссов и уступок.

Итак, все. Решила — и больше не думаю об этом! Ну вот, стало легче. И отпустило в груди. Главное — не колебаться.

Я брожу по комнате, придумываю себе работу. Времени уйма. Нахожу Вовкину рубашку, стираю. Как же быть? Прийти в класс, сказать ребятам, что Леонид Павлович сам во всем разберется? А почему? Получится, что я чего-то испугалась.

Вешаю рубашку в ванной. Еще нет семи. Кипячу чайник и иду будить Вовку.

Как же быть? Как поступить?

Вовка одевается еле-еле. Моется еще медленнее. Ест — едва шевелит губами. Я нервничаю, боюсь закричать на него. Меня раздражает медлительность.

Потом он, вялый и полусонный, идет по улице, а я смотрю вслед, жду, когда он перейдет дорогу.

А вдруг Леонид Павлович понял, что я права? Неужели мне не придется лукавить ребятам, изворачиваться перед ними?

...В моем классе кто-то уже побывал. Список учеников был перевешен на другую стенку, но доска для стенгазеты оказалась пустой. Я спустилась вниз и увидела Женю Горохова. Он стоял возле кабинета директора.

— Женя?

Он вздрогнул.

— Мария Николаевна! А Леонид Павлович забрал нашу газету. Он говорит, ее нельзя вешать. И что вы тоже не разрешаете.

У меня запылало лицо.

— погоди, Женя, — я заторопилась, стараясь не встречаться с ним взглядом, — пойдем в кабинет литературы, давай разберемся вместе. Помнишь поговорку, — я еще пыталась шутить, — не лезь поперед батьки?

Он побрел за мной.

Я закрыла дверь на задвижку, для чего-то ее потрясла. Горохов сел. Насупился.

— Вчера, Женя, я была дома у Леонида Павловича и рассказала ему эту ужасную историю с Жуковым. — Фраза прозвучала слишком торжественно, и мне показалось, что я начала читать какое-то стихотворение. — Поверь, он был потрясен и убит поступком Левы... — Я внезапно забыла слова, которые столько раз повторяла сегодняшней ночью. — Как бы тебе сказать... дело, начатое в школе, очень важное и значительное, но если мы признаемся, что первая же игра кончилась таким проступком, то это сразу запятнает весь коллектив.

— Что же, скрывать тогда?

— Нет, ты меня не хочешь понять, Женя! И не хочешь понять Леонида Павловича. В школе начато интересное дело!..

В его глазах отразилась скука.

— Большое дело, — уточнила я. — И вот из-за одного Жукова, из-за его безнравственности (ага, все же нашла слово!) это дело пойдет насмарку. А Лева все равно будет наказан. И директором, и мною. Так скажи, имеет ли значение, будет сбор или не будет?

— Конечно, с Левкой могли бы поговорить и вы, — согласился Женя. — Но понимаете, мы все были виноваты. Весь класс. Я бы сказал на сборе об этом. Честное слово. — Его взгляд блуждал по классу, не хотел встречаться с моим. — У нас было такое... рекорд, рекорд, обязательно рекорд! Мы уже дней десять эти рекорды обсуждали. И о подарках знали. Что куплено, за что дадут. Ну конечно, всем хотелось получить. И Лева хотелось. А потом, когда начали штурмовать, так вообще не разбирали: увидим — хватаем.

Наконец раздался звонок. Оказывается, я все время ждала его. Я бросилась открывать дверь.

— Мария Николаевна, — остановил меня Горохов, — так сбора не будет?

Я смешалась.

— Позже поговорим, на перемене подойди ко мне.

Он хотел еще что-то спросить. Я подняла руку, точно защищаясь от вопроса, и толкнула дверь от себя. Влетели ребята, захлопали крышки парт.

— Женька, ты чего здесь? — кричали они.

Я взглянула на парня, мысленно прося у него прощения.

Вбежала Люба Боброва, бросилась ко мне и заговорщицки зашептала:

— Дед придет. К концу пятого... Я уговорила.

— Садись, садись, — попросила я. — Пора начинать урок.

— Женька, — вертелась Люба, — а «молнию» не повесил?

Он даже не повернул головы в ее сторону, стал выкладывать на парту тетради.

Я отметила отсутствующих, против фамилии Жукова

поставила точку: он, возможно, был у директора и еще вернется в класс.

— Ну что же, — устало сказала я. — Пора начинать. Откройте тетради с домашним заданием.

Я боялась идти к Прохоренко. Дважды спускалась на первый этаж, подходила к кабинету и снова возвращалась. Как с ним говорить? Вчера дала ему слово...

К Жукову я тоже не подходила. В класс он пришел ко второму уроку и сидел, как сказали мне ребята, заплаканный.

На большой перемене директора в кабинете не оказалось, и я обрадовалась этому. Оставалось два урока, четвертый и пятый, а там... Я помнила, что придет Бобров.

Перед четвертым уроком я все же зашла в кабинет. Прохоренко что-то писал и, когда я подошла ближе, предложил мне сесть.

— Ну и устроил я Жукову головомойку! Запомнит надолго.

Я открыла портфель, закрыла, потом снова открыла. Мне нужна была какая-то вещь, но я не могла сообразить — блокнот, ручка, платок? Ах да, платок. Вынула. Торопливо вытерла сухие руки.

Леонид Павлович встал, подошел ко мне.

— Вы не больны, Маша? Сходите-ка к медсестре. Или переутомились? — И неожиданно спросил: — В классе порядок?

— Да.

— Ну и хорошо. Идите, работайте. У меня масса дел. Я встала, шагнула к двери, но остановилась.

— Я хотела... — На моем лице выступила испарина. — К нам фронтовик придет. К концу пятого урока. Страшная нерешительность овладела мной.

— Вы не говорили об этом раньше.

— Я забыла.

— Вчера забыли, а сегодня?

— Я приходила, но не застала вас. (Господи, что это — я как ученица перед ним!)

— Слушайте, Мария Николаевна, давайте без хит-

рости. Неужели мы не заслужили правды? Я же, как только вы вошли, понял, что у вас приготовлен какой-то сюрприз.

— Нет, нет, — оправдывалась я. — Я сделала, как мы договорились. Но ребята считают, что сбор нужен. Они даже говорят, что виноват не только Жуков, а все... И это будет несправедливо, если...

— Как «не только Жуков»? — Прохоренко спросил почти испуганно. — Кого пригласили?

— Боброва — своего дедушку.

— Ах дедушку!

Я почувствовала на себе невероятно холодный, непрощающий взгляд Леонида Павловича.

— Вы позвали только дедушку Бобровой? Это же замечательно, Мария Николаевна. Остроумнее трудно придумать. — Он прошелся по кабинету, стараясь успокоиться, и резко сказал: — Вы ловкий человек, Мария Николаевна. Константинов, надеюсь, тоже будет? Секретарь партбюро должен, обязан узнать об этом. Вы успели, конечно, сказать и ему...

— Больше я никому не говорила. И вообще... Я не понимаю...

— Не понимаете? А то, что Бобров — председатель Вожевского исполкома, вы не знали?

— Нет.

Он, кажется, почувствовал, что я не вру, опустил голову и долго над чем-то думал.

— Ладно, — вздохнул он. Засунул руки в карманы и покачался на носках. — Пускай будет по-вашему, Мария Николаевна. Только не собрание в классе. Не душеспасительная проповедь. А настоящий пионерский сбор. Сбор дружины.

Леонид Павлович сдержанно улыбнулся.

— В конце концов нам скрывать нечего.

Я невольно вспомнила войну, когда по школьному радио зазвучали позывные важного сообщения. Растерянность появилась на лицах ребят.

— А что это?

— В чем дело, Мария Николаевна?

— Случилось что-нибудь?

И тогда густой и торжественный голос Прохоренко,

усиленный микрофоном, перекрыл голоса тридцати семи человек.

— Внимание! Внимание! Совет дружины объявляет чрезвычайный пионерский сбор. Отрядам построиться в актовом зале.

Заиграл горн. Его тревожная мелодия, как нарастающая волна, подняла класс, а пожалуй, и всю школу — послышалось хлопанье дверей и топот бегущих ног.

Я пробивалась через эту всклокоченную, возбужденную, встревоженную гурьбу детей к сцене — там, как обычно, строились мои.

Справа, у стены, сидел пожилой человек с густой, падающей на лоб седой шевелюрой.

Лева Жуков стоял на левом фланге последним — так вышло из-за его роста, — но теперь казалось, что это было сделано специально. Он прижался к помосту, упирался в него рукой, стоял понуро, опустив глаза. Красные пятна горели на его щеках.

— Смирно! — Голос Лены Семидоловой едва достиг первых рядов.

— Смирно! — повторила учительница физкультуры. — Внести знамя дружины.

Грянула барабанная дробь.

И вдруг все стихло. Я повернула голову в сторону двери и увидела Прохоренко. Он шел четким шагом к сцене. На нем была фуражка и военная гимнастерка, перепоясанная портупеей. И когда Леонид Павлович стал подниматься по ступенькам помоста, то скрип его сапог буквально пронзил тишину зала.

Я невольно вытянула руки по швам и замерла.

Леонид Павлович остановился у знамени — шелкнули каблуки — и повернулся к строю.

Он был удивительно красив. Я даже забыла в ту минуту о своей обиде.

— Я собрал вас, — начал он тихо, — я собрал вас, — повторил он, — в минуты огромного несчастья, которое произошло в нашей школе.

Нечто вроде зыби всколыхнуло ряды.

— Я надел военную форму потому, что когда оскорблена память о войне, то каждый бывший солдат, чем бы он теперь ни занимался — учителем или работает на стройке, — вновь чувствует себя солдатом. Он не может не чувствовать себя солдатом, потому что есть свя-

тая святых, то, что никогда не сотрется, — память. Я надел военную форму, потому что готов защищать наше прошлое, поруганное вашим товарищем.

Скорбь вспыхнула в его глазах. Он глотнул воздух, и его волнение передалось всем.

— Я надел военную форму, — продолжал он чеканить каждое слово, — потому что в этом зале сегодня незримо присутствуют миллионы погибших за ваше счастье. Это ваши деды. Отправляясь в бой, тогда еще молодые, они помнили о великой ответственности перед будущим — перед вами.

Он опять замолчал, и тишина стала невыносимой.

— Четыре дня назад ваш товарищ, ученик седьмого «А» класса пионер Жуков, сдал в макулатуру сто тридцать фронтовых писем своего погибшего деда. Он снес в макулатуру двести писем, которые послали на фронт его мать и бабушка. Триста тридцать писем на фронт и с фронта снес в макулатуру пионер Жуков. Я не знаю, — продолжал Прохоренко, — поймете ли вы, что такое сто тридцать писем с фронта и двести писем на фронт, не знаю. Капитан Жуков был убит через несколько дней после окончания войны, он подорвался на mine. Боевые друзья нашли в его вещах письма жены и дочери и отвезли их назад, семье. Они думали: пройдут годы — и внук капитана Жукова многое узнает из этих писем, и вот тогда рано погибший дед будто протянет ему руку из прошлого, поможет стать таким же мужественным и честным, каким был сам. Пионер Жуков знал все это, когда нес письма в макулатуру.

Я невольно взглянула на Леву — его лицо казалось совсем взрослым, даже постаревшим. Он стоял закрыв глаза, и мокрые ниточки бежали по его щекам, и он кончиком языка слизывал скопившиеся капли.

— Пионер Жуков, два шага из строя!

Лева посмотрел на ребят и точно измерил всю пустоту между собой и ими.

Я испугалась. А может, моя беда в том, что я не переносу чужой боли? Я же сама настаивала на сборе, нервничала, что Леонид Павлович не соглашался... Но разве такого разбора мне хотелось? Умный, серьезный разговор — вот что было необходимо. А не судилище, не арена...

— Два шага из строя! — приказал Прохоренко.

Как поступить? Вмешаться? Получится еще хуже.

— Жуков, понимаешь ли ты свою вину? — спросил Леонид Павлович.

— Понимаю.

— Громче! К тебе обращаются твои же товарищи.

— Понимаю.

Иногда мой взгляд встречался с глазами учеников. Луков был счастлив — кажется, лучшего дня не было в его жизни. Горохов хмуро глядел перед собой. А Лена стояла рядом с Прохоренко, руки по швам, тоска застыла в ее взгляде.

— Как случилось, что ты, пионер, совершил такой поступок?

Мальчик молчал. Ему трудно было говорить, он глотал слезы.

— Твоего ответа ждут не только товарищи и учителя. Твоего ответа ждут фронтовики. В конце концов, этого ждет твой дед, капитан Жуков.

— Не знаю.

— Громче.

«Что он делает?» — с ужасом думала я.

— Не знаю.

— Мы ждем твоего объяснения. Дружина должна решить, имеешь ли ты право оставаться пионером.

— Мы сдавали макулатуру, — начал Лева. — И седьмой «Б» тоже. А всем показалось, что у них больше. А те и правда хором кричат: «У нас больше! У нас больше!» Шукин и скомандовал: «По домам! Всю бумагу на бочку». Я прибежал домой, мы же рядом. Схватил какую-то пачку. Я забыл, что это письма. Честное слово забыл.

— Ты сейчас поразил меня, Жуков, еще больше, — возвысил голос Прохоренко. — Оказывается, тебе хочется, чтобы весь класс нес кару. Ты сваливаешь свою вину на класс. Так я тебя понимаю, Жуков?

Мальчик опустил голову. Тогда Леонид Павлович холодно обратился в зал:

— Решайте сами. Вы — коллектив, вы — сила.

Кто-то крикнул:

— Выгнать из пионеров!

— Исключить!

— Может быть, есть другие мнения? — спросил Прохоренко.

— Леонид Павлович! — крикнула я. — Можно мне? ..

Он сказал недовольно:

— Пусть решают сами ребята.

Из-за спины Стрельчиковой, самой высокой среди девочек, вышел Женя Горохов.

— Леонид Павлович!

— Что, Горохов?

— Леонид Павлович, конечно, Левка подло поступил, но, правда же, все виноваты. Все орали. И седьмой «Б» надрывался больше других. Вы не были, когда макулатуру сдавали, а жутко, что творилось. Тащили — не разбирали: и книги, и бумаги какие-то. . .

— Вот что такое ложная дружба, — перебил Леонид Павлович.

— Так я говорю: он виноват, но и мы все. . .

— Выгнать Жукова, выгнать! — перебил Луков.

— Этого требует класс?

— Выгнать!

— Этого хочет дружина?

— Выгнать!

Если бы я могла не слышать этого крика. . . Я опять попросила слова, но Леонид Павлович только махнул рукой. . .

Нелли, учительница физкультуры, о чем-то переговорила с Прохоренко и подошла к Семидоловой.

— Снять галстук с Жукова, — нерешительно сказала Лена.

Тревожно застучали барабаны, все было как на эшафоте.

Щукин вышел из строя и стал развязывать галстук. Он торопился. Галстук был повязан узлом, и Щукин, видно, потянул не за тот конец, узел только затянулся. Тогда он дернул. Лева крутил головой, точно раненый зверек, в его глазах была боль.

Я подбежала к нему, но меня оттеснила женщина — я увидела ее расширенные, злые глаза и не сразу узнала бабушку Левы.

— Не троньте его, — сказала она. — Я вам запрещаю.

И тогда раздался гневный голос:

— Стойте!

Бобров шагнул к нам, раздраженно поглядел на Прохоренко, на меня и положил руку на плечо Левы.

— Только один мальчик нашел в себе силы сказать правду. — Он вздохнул. — Исключить товарища просто.

Наказать — очень просто. А вот до конца разобраться в том, что произошло, нет ли здесь вины каждого, — это сложнее. Подумайте. Разберитесь в классах, да не так, как сейчас, а серьезно, с полной ответственностью друг перед другом, не зло. А Жуков, я уверен, запомнит случившееся на всю жизнь. И все же справедливость может восторжествовать только тогда, когда вы все, каждый присутствующий на сегодняшнем сборе, поймете долю своей вины.

Он замолчал. Постоял в полной тишине, пошел к выходу. Но через несколько шагов остановился и повторил:

— Да, да, подумайте еще, что же случилось в вашей школе, поживите со своей бедой.

«Москвич» остановился около исполкома. Бобров стал прощаться.

— Жаль, что вышло так нескладно. А можно было бы добиться многого. Мальчишка-то, кажется, совсем не плохой.

— Хороший мальчишка, — сказала я.

— Одного человека можно наказать и в кабинете, да еще с большей пользой, а вот заставить задуматься всех — это задача.

— Именно этого мне и хотелось, — сказал Леонид Павлович. — Но я был, видимо, слишком взвинчен. Меня потряс факт.

— Понимаю, — Бобров кивнул. — Война — это такой кусок жизни! — Он задумался о чем-то своем. — Я год назад в Ленинграде был, рвался туда много лет. Так вышло, что я там полгода раненый пролежал на Суворовском проспекте, в госпитале, а города так и не пришлось увидеть. Выписали — и опять на фронт. И это было у меня как мечта: съездить, поглядеть. И вот в первый же день в парке на Островах присел на скамейку, вижу — детское ведро валяется, поднял, а в нем что-то побрякивает. Сунул руку, а там медаль «За оборону Ленинграда». Честное слово, я от боли никогда не плакал, мне осколок в медсанбате без анестезии вынимали, а тут вздохнуть не могу, так сжало. Хотел уехать. Как же так, думаю. Пусть ребенок эту медаль потерял, но ведь дали-то ему ее взрослые. Кому-то она безразлична стала. А по-

том, что с этим ребенком дальше будет, да и с другими детьми, которые с ним рядом. . .

— Неужели сегодня у нас так худо вышло? — смущенно спросил Леонид Павлович.

— Плохо, — подтвердил Бобров. — Очень плохо. Вы бы посмотрели, как умно и глубоко работают с детьми в Седьмой или, скажем, в Четвертой школе. Музей памяти погибшим, походы по боевым местам, встречи с фронтовиками. — Он вспомнил о чем-то. — Как-то пришел я в Четвертую школу — меня попросили рассказать о партизанских боях — и вдруг вижу своего старшину, он механиком теперь работает под Вожевском. Столько лет прожили рядом, а увидеться не приходилось. Стал он что-то рассказывать, а я говорю: «Ваня! Иван Васильевич! Товарищ старшина!» Он поглядел на меня — и онемел. Стоим в обнимку перед детьми и плачем. И они притихли. Вот мне потом директор школы и говорит: «Это и есть патриотическое воспитание. Да если бы вы ничего больше не сказали — эта встреча запомнится детям на всю жизнь».

— Да, — повторил Бобров задумчиво. — А у вас сегодня вышло нехорошо. Человека унизили. Унижением нельзя достичь ничего путного. И еще меня огорчила та карающая функция, которую вы предоставили детям. Роль судей не дает им возможности задуматься о своей вине. — Он улыбнулся. — А Горохов у вас замечательный парень. Когда он рвался со своей справедливостью, я гайдаровского Тимура вспомнил. Вот таких традиций терять нам никак нельзя! А вы, если энергию ребят обернете к добру, то горы своротите. Пусть берут шефство над инвалидами войны, стариками. Пусть больше отдают. Помните: щедро дающий. . .

— Щедро и получает! — закончил Прохоренко.

— Да разве мне вас учить! — Бобров захлопнул дверцу «москвича».

Я наклонилась вперед и в водительском зеркале увидела почти испуганные глаза Прохоренко. Ну что же, подумала я, рано или поздно, но ему нужно было понять это.

Машина остановилась. Но Прохоренко даже не повернулся ко мне.

— Извините, — сказал он, — я не могу отвезти вас домой.

Я вышла. Машина проскользнула вперед. Только теперь я почувствовала, как безумно устала. Я шла по дороге и, кажется, ни о чем не думала. И вдруг увидела Жуковых: бабушку и внука. Они брели рядом.

Я остановилась на мгновение, еще не зная, что сказать им, но тут бабушка подняла на меня глаза — ее рука, будто чужая, согнулась в локте, механически дернула Леву.

Мальчик повернулся, и бабушка торопливо повела его на другую сторону улицы.

«Дорогой Андрей Андреевич!

Я очень виновата, что задержалась с ответом.

Мальчик, который сдал письма в макулатуру, выздоровел. Была у них дома, разговаривала с мамой и бабушкой.

Я, кажется, писала в прошлом письме, что Лену Семидолову не выбрали председателем совета дружины. Правда, Леонид Павлович напомнил ребятам о ее заслугах, и ее оставили в совете.

Во главе дружины — Щукин. Деятельность новый совет развил бурную.

Поймите меня правильно, я бы полностью разделяла энтузиазм ребят, но тревожит слишком возбужденная обстановка в классе да и во всей школе. На уроках летают записочки, приказы, бумаги на подпись. Так трудно, пожалуй, никогда не было.

На педсовете сказала Леониду Павловичу: игра, говорю, игрой, но давайте и об учебе подумаем. Он воспринял мое выступление как новый выпад.

«Значит, не умеете заинтересовать», — сказал он.

Кстати, тут же на педсовете Леонид Павлович придумал «экспромт», предложил мне в ближайшие дни провести открытый урок, на который придут не только учителя, но и представители гороно. Почетное начинание — так он оценил свою мысль. Но я-то поняла это «на-

чинание» как первое, говоря фигурально, серьезное предупреждение. Поживем — увидим.

Странная вещь, Андрей Андреевич. Хотя с того раза мы с Леонидом Павловичем ни о чем не говорили, но отношения наши из дружеских незаметно превратились в подчеркнуто вежливые, да и Люся ведет себя иначе. Ко мне больше не приходит, а когда я ей звоню по телефону, отвечает скороговоркой. Раньше она много расспрашивала о школе, о моих делах, теперь это будто перестало ее интересовать.

Вот какие дела, дорогой Андрей Андреевич. А что, если в другую школу перейти? Впрочем, штаты уже укомплектованы, уйти непросто, да и к ребятам привыкла. Беспокоюсь за них постоянно, все время кажется: уйду, а у них что-то произойдет, случится непоправимое. . .

Впрочем, ерунда это, хандра. Нашло что-то. . .

Огромный привет всем нашим.

Меду, ради бога, не присылайте. Мы еще старый не съели.

А вот лечитесь ли Вы? Недавно получила письмо от девочек, жалуются: Вы два дня в школу не приходили. Зная вас, испугалась. Наверное, совсем было плохо?

Поберегите себя, Андрей Андреевич, очень вас прошу.

Ваша

глупая Маша.

Да, открытый урок все же придется провести. Решила поговорить о поэзии. И это в моем полунепроницаемом классе! Но зато ва-банк!

М.»

Я накинула пальто, вышла на улицу — почтовый ящик висел на соседнем доме, — и вдруг издали донеслись до меня звуки военного оркестра. Я постояла, прислушиваясь к его могучей, всегда радостной мелодии, к этому захватывающему ритму, и невольно вспомнила наши военные игры в Игловке. Бывало, идем строем по единственной, но зато бесконечной деревенской улице,

чеканим шаг. Открываются окна, вылезают удивленные деды и бабки, качают головами, бегут маленькие ребятишки, пристраиваются к нам. Трубит горнист, бьют барабаны. А рядом со знаменосцем идет Андрей Андреевич — будто бы выше, чем всегда, веселый, с орденом Красной Звезды и медалями.

Я вернулась домой. Сколько раз я еще буду вспоминать вас, милый Андрей Андреевич! Помню, как-то мы говорили об абсолютном слухе у музыкантов... Так и в педагогике, сказали вы мне, — если у учителя нет абсолютного педагогического слуха, то будет фальшь...

Об открытом уроке Леонид Павлович предупредил меня больше недели назад. Я решила готовить тему: «Что такое поэзия?»

На первом же уроке после педсовета я задала ребятам выучить любое стихотворение, на свой выбор.

— Только не из учебника, — попросила их. — Я в эти дни вас проверю.

— И отметки будете ставить?

— Обязательно.

— А если мое вам не понравится?

— На отметке это не отразится. В крайнем случае мы поспорим.

Мне хотелось провести урок, как говорится, с блеском. И не потому, что у меня особое учительское самолюбие, — нет, я понимала, что первое знакомство или утвердит меня, или опрокинет в глазах учителей.

Было и еще одно соображение — Леонид Павлович. Каждый раз он чуть быстрее проходил мимо в школьном коридоре, чуть сдержаннее здоровался в кабинете. Я поняла, что разговор о Семидоловой и о Жукове, а затем мое выступление на педсовете он принял как объявление войны.

... Уже к следующему уроку несколько человек сообщили мне, какие стихотворения они знают. Люба Боброва решила прочесть «Гренаду» Светлова; Тася Курочкина, тихая, замкнутая, флегматичная, из разряда «неактивных», предлагала отрывок из «Думы про Опанаса».

— Ты сама выбрала? — поразила я.

Она испугалась.

— А разве нельзя?

Мне стало спокойнее. Появился актив. Правда, «в подполье» существовала оппозиция, и я понимала, что сна еще может поднять голову.

Лена Семидолова посоветовала завести листок, в который каждый бы записал, какое стихотворение он выучит. Оказывается, подозрения мои были не случайными. «Трактора» — стояло против фамилии Щукин. «Травка зеленеет» — Луков, а против фамилии Завьялов — явно не существующий в природе поэт Александр Сушкин! «Про лошадь».

Я решила не переубеждать их. В какой-то степени мне даже выгодно иметь на уроке такую группировку. Конечно, печально, что среди них был Завьялов.

Теперь на меня смотрели тридцать шесть пар глаз. Если бы я даже не видела учителей на последних партах, Леонида Павловича и инспектора горно, помощницу Шишкина, то я бы догадалась о комиссии по сосредоточенным лицам ребят и той необычной беззвучности, именно беззвучности, а не тишине.

— Садитесь, — сказала я, раскрывая журнал. — Кто дежурит? Ты? Подай список. . .

— Сегодня пришли все.

Неожиданное нашествие, кажется, совсем парализовало ребят. Я читала это в неестественно напряженном выражении их лиц. Луков и Щукин оказались на первой парте, перед моим столом. Видно, их пересадили.

— Сегодня мы проведем не совсем обычный урок, — начала я.

— Потому что комиссия? — не улыбаясь, спросил Луков.

Леонид Павлович нахмурился, покачал головой. Инспектор поглядела в окно — она будто ничего не слышала.

— У нас будет разговор о поэзии. Попробуем разобраться, что же такое стихи?

— Стихи — это вещь! — Луков подмигнул Щукину, но тот не ответил. Сейчас, когда Прохоренко сидел за спиной, Щукин был молчалив и серьезен.

— Договоримся так, — предложила я, — читайте, что вам нравится, а потом мы вместе разберем стихотворения. Кто хочет?

Я обвела глазами колонки: руку поднял один Луков.
— Еще? ..

— Я, — Шукин тоже поднял руку.

Третьим оказался Завьялов. Как договорились, подумала я. Хорошие или растерялись, или боялись начинать и теперь перешептывались со своими соседями, рылись зачем-то в портфелях, но рук больше не было. Я кивнула Шукину.

Он поднялся, откашлялся.

— К доске?

— Можешь не выходить. . .

— Это не новое стихотворение, — сказал Шукин.

— Читай, читай.

Я увидела школиво-радостное выражение его глаз.

Покрыта легким паром весенняя земля,
Мы тракторы выводим с рассветом на поля,
Стальные наши кони бегут, не отстают,
Ребята-трактористы о доблести поют.

— Достаточно. Это, видимо, ты учил давно?

— Порядком.

— Отчего, Юра, то, что ты прочел сейчас, называется стихами?

— Ну-у, во-первых, складно. . .

— Рифма?

— Да. Во-первых, рифма.

— А во-вторых?

Он замялся.

— Тогда попробуй пересказать эти слова прозой, без рифмы, по-своему.

Он кивнул.

— В стихах говорится о трактористах. Они выходят на поля рано утром на своих машинах, которых называют стальными конями.

— И поют о себе, какие они герои, — подсказал Луков.

Все засмеялись.

— Вот видите. То, что Юра прочел, он назвал стихами. Но мне думается, что его пересказ даже более интересен, с юмором все же. К чему же тогда писать стихи, если даже лучше можно сказать — прозой? Видимо, что-то еще должно появиться в стихотворении?

— Можно? — закричал Луков.

Он вскочил с парты.

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка весною
В сени к нам летит.

— Против этого стихотворения возражать трудно. Пожалуй, мы о нем еще вспомним. А других не знаешь?

— Знал, — сказал Луков. — Про цыпленка. Хулиганы привязали его к палке, и он умер. Сильное стихотворение. Все плачут.

— Что ж, прочти.

— Забыл, — буркнул Луков и сел, недовольный, что план провалился.

— Что-то пока у нас неудачно...

Не хотелось обращаться к девочкам, чтобы все не выглядело подстроеным. Пусть как будет...

— Завьялов, давай, — приказал Щукин.

Мальчишка робко поглядел на меня и так же нерешительно стал поднимать руку. Нет уж, хватит, подумала я. Теперь я жалела, что не поговорила вчера с девочками, не предупредила их. «Ну что же вы, давайте выручайте...» — мысленно просила я их.

Карандаш Леонида Павловича так стучал по листку, что даже мне было слышно. Завьялов осмелел, приподнялся, тянул руку. И тут я увидела, что хочет читать Семидолова.

— Пожалуйста, Лена.

Девочка встала. Она была, как обычно, нетороплива. Поглядела на меня и нараспев, как читают сами поэты, начала...

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...

Она чувствовала стихи. И читала отлично. А мне показалось, что она действительно в тот момент слышала, как выла за окном вьюга, шуршала солома на обветшалой лачуге, и сидела одинокая старушка — няня поэта.

— Ну, кто взялся бы пересказать стихотворение?

Луков поднял руку.

— Попробуй.

Он завертел перед собой кулаком, как штопором.

— Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как ребенок...

Класс грохнул. Даже Леонид Павлович и инспектор улыбнулись друг другу.

— Вот вам другой пример, — сказала я. — Оказывается, не каждое стихотворение сохранится, если его попробовать пересказать своими словами. Луков чуть-чуть изменил текст — и стихотворение исчезло. Куда только делась его ритмика, музыкальность, стройность. Кто хочет еще?

В классе началось гудение, и я чувствовала — сейчас прорвется. Теперь вверх тянулось минимум десятков рук.

— Мария Николаевна!

— Можно?

— Вы обещали. . .

— Раз вас так много, то читайте подряд, а потом поговорим. . .

— Где широкая дорога,
Вольный плес днестровский,
Кличет у Попова лога
Командир Котовский. . .

— Это из «Думы про Опанаса». Очень хорошо. Ты? Горохов склонил голову, поглядел на меня и начал:

— Россия. . . Родина моя, Россия. . .
Я с каждым днем люблю тебя сильней.
Любая неказистая осина,
Звнящая среди болотных пней,
Ветла какая-нибудь у дороги
Да и сама дорога впереди
Мне так близки, что только сердце вздрогнет
И разольется нежностью в груди.

Леонид Павлович перестал писать, слушал. Я не могла понять, нравится ли ему то, что я делаю, — впрочем, теперь это меня уже перестало тревожить.

Из новой волны шума я уловила голос Завьялова. Стоит ли? Теперь, когда все наладилось, вновь возвратиться к началу урока?

— Я хочу! Спросите. . .

— Читай, — неуверенно сказала я.

Он вскочил, необычно для него резво.

— Про лошадь, — сказал Завьялов. — Стих Александра Сушкина.

— Стихотворение, — поправила я, холодея из-за своего легкомыслия.

Мальчишка несколько раз кивнул, словно шел в упряжке.

Я решила прервать его сразу же и обратилась в слух. От страха он мог натворить больше всех бед.

Завьялов поднял грустные глаза и как-то обреченно посмотрел на меня.

— Если передумал — садись, — выговорила я.

— Нет.

Я подняла руку, призывая к тишине. И он стал читать стихотворение неизвестного Сушкина:

Шла замученная,
Шла усталая,
Шла по улице
Лошадь старая.
Прямо — вперед,
Не разбирая дорог.
Шла, куда прикажут,
Не выполнишь — накажут:
Только вперед.
Вся жизнь так.
— Лошадь идет! —
Дети кричат.
Что им за дело,
О чем она думает.
Главное — лошадь...
А лошадь идет.

Он замолчал. А мне по той неожиданно беспомощной концовке, по потерянной рифме в конце стихотворения, по какой-то особой, присущей только детям и большим поэтам достоверности чувства становилось ясно, кто такой поэт Александр Сушкин. Это было неожиданностью: Завьялов пишет стихи! Что там, за этими еще беспомощными, но такими искренними строчками? Неустроенность? Большая обида?

Я ничего не знала о парне.

Но уже тот факт, что Завьялов, самый тупой, по мнению Леонида Павловича и, может быть, многих здесь, ученик, читал такие стихи, был для меня фактом замечательным. Даже если я ничего больше не добьюсь, то уже достаточно случившегося.

— Хорошо, — похвалила я мальчика. — Очень хорошо.

Он поблел и сел, опустив глаза.

— Что же такое поэзия, ребята?

Наступило молчание. Даже Щукин и Луков не острились.

— Тогда иначе: какие стихи вам показались сегодня хорошими?

— «Буря мглою...»

— «Дума про Опанаса»!

— О Родине...

— Пожалуй, вы ответили на мой вопрос, так как перечислили лучшие стихотворения. Но чем они вам запомнились?

И опять тишина.

— Ладно, — улыбнулась я. — Кое-что перед тем, как читать, я вам подскажу.

На меня напряженно, но не так, как в начале урока, а совсем иначе, смотрели ребята. Как мало я их знаю! И как просто о них думала! Вот и приоткрылись они сегодня еще одной стороной...

— Какие разные стихотворения прочли вы сегодня! Одни насыщены мыслью, полны героического или лирического содержания, как «Дума про Опанаса» Багрицкого. Слова в них будто пришли прямо из жизни, с улицы, с поля боя, как мелодия, которую вы слышали и еще долго потом несете в себе. Другие стихотворения похожи на живопись, на картину, и, прочтя несколько строчек, вы невольно чувствуете, что действительно сверкает солнышко, зеленеет трава, в гости к нам летит ласточка. Только большой поэт может экономным мазком, точным сочетанием слов передать так много...

— А я что говорил, — сказал Луков.

Я засмеялась со всеми.

— Я тебе очень благодарна, Петя, за эти замечательные стихи. А вот послушайте, что говорил такой прекрасный поэт, как Николай Заболоцкий...

Я взяла бумажку, где выписала давно одну его мысль.

— «Смысл слова — еще не все слово. Слово имеет звучание. Художественное звучание возникает лишь в сочетаниях слов... Сочетания... где слова трутся друг о друга, мешают друг другу, толкаются и наступают на ноги, — мало пригодны для поэзии...»

— Это «Трактора» щукинские, — сказал Горохов.

Я читала дальше:

— «Слова должны обнимать и ласкать друг друга, образовывать хоромы, они должны петь, трубить, пере-кликаться, словно влюбленные в лесу, подмигивать, значать тайные свидания и дуэли». — Я положила листок. — Я могла бы вам читать сейчас разные стихотворения. Одни полны музыки, грусти, вспомните хотя бы «Буря мглою небо кроет. . .», другие точно рисунок — черный карандаш на бумаге: «И, как обугленные груши, на ветках тысячи грачей», третьи радостны и многокрасочны, подобны детской картинке. Но, кроме того, в настоящей поэзии всегда присутствует сам поэт, его правда, его переживания. И чтобы вы восприняли эту правду, поэт работает всем своим существом: сердцем, умом, душою.

Я следила за классом: не сложно ли? Слушают серьезно, внимательно.

— А какого удивительного мастерства достигли поэты! Почитайте Пушкина, Лермонтова, вслушайтесь в них. Они умеют передать и звук колокола, и голос вьюги, и вскрик птицы, и запах Родины. Поэт может передать даже тишину, движение времени, ощущение зимней стужи, летнего оцепенения, цвет глаз, оттенок сумеречного неба, освещенность пространства.

Я нарочно сделала паузу — никто не пошевелился.

— Настоящий поэт щедр и открыт для каждого. Мудрость, зрелость свою — все вкладывает он в слова. Он научит вас чувствовать, понимать боль другого как свою собственную боль, удивляться жизни, делать поразительные открытия. Каждый вечер, гуляя, вы смотрите на небо, а поэт увидел вот что: «Я гляжу на небо робко, там впазд и невпазд, как по спичечной коробке, чиркал звезды звездопад. . .»

Ребята заулыбались. Константинов что-то шепнул Кликиной.

— А теперь я хотела бы спросить вас. . . О чем стихотворение, которое прочел классу Сережа Завьялов? Скажи, Лега.

— О лошади. — Девочка морщила лоб, искала более точную фразу. — О том, как лошадь устала, а никому нет дела до этого. . .

— Ну а ты, Сережа, что скажешь?

Завьялов пожал плечами, он, видимо, не хотел говорить.

— Для меня это стихотворение в первую очередь о людях. Вот вам еще одно свойство поэзии... Настоящие стихотворения многомерны, каждый может воспринять их, как и музыку, по-разному.

Я подумала, что теперь должна обязательно что-то прочесть классу. Дома я выбрала «Письмо к матери» Есенина, но сейчас мне показалось, что я должна завершить урок несколько иначе. Энергия надвигающейся поэтической строки придала мне уверенности и даже силы. Я откинула со лба упавшую прядь и начала читать:

...Я песней, как ветром, наполню страну
О том, как товарищ пошел на войну...

Раздался звонок, но никто не пошевелился.

Ветер революции — ветер молодости — будто бы вошел в класс, мелодия площадей, народной стихии, энтузиазма подчинила ребят, засветила в их глазах огоньки радостной гордости.

— Мы бросили шпаллеры по столам,
Мы дружбу ломали напополам!
Ветер — лавиной, и песня — лавиной...
Тебе половина, и мне — половина!
Мы здорово хлопнули по рукам.
Четыре тумана встают по бокам.

Неисчерпаемая бодрость прокофьевского стиха передалась детям, я понимала, что завлела классом окончательно.

Леонид Павлович поднялся. Прошла мимо Кликина, сжала мне локоть, буркнула:

— Молодец. Большое спасибо.

Проковылял, опираясь на палку, Константинов, неожиданно улыбнулся мне, сказал:

— А я и не думал, что вы такой учитель! — и показал большой палец.

Остальные учителя стояли рядом, но не решались говорить раньше директора.

— Ну что ж, — Прохоренко обвел всех взглядом. — Думаю, что я выражу общее мнение, если скажу, что урок удался. Поздравляю. И все же, — прибавил он и поглядел на часы, — не могу понять, как вы, опытный педагог, могли задержать ребят после звонка.

Он повернулся, взял инспектора под руку, направился к дверям. Я шла сзади.

— Нет, — громко говорила помощница Шишкина. — Сумбурно. Путано. Где четкие выводы? Я совершенно не уверена, что ребята поняли все, о чем им толковали...

Прохоренко покачал головой:

— С этим я никак не могу согласиться.

Он повернулся и поглядел на меня:

— А вы, Мария Николаевна, идите на следующий урок, не расстраивайтесь. Я постараюсь доказать Вере Федоровне, что она не совсем права.

Ребята ушли на физкультуру, а у меня пустой урок. На улице уныло и мокро — несколько дней шли дожди. Прохожих мало. Отчего-то больше мужчины, спешат, воротники подняты, нахлобучены шапки. Листьев на деревьях нет, только кое-где между ветвями дрожат случайные желтяки.

Последнее время часто думаю о взрослом сиротстве. Сколько раз взрослый человек переживает это чувство! Чем старше, тем труднее с друзьями, и каждая измена, каждая потеря ощущается как внезапная пустота. Может, оттого, что отношения с Леонидом Павловичем и Люсей стали совсем холодными? Мудрый Андрей Андреевич, что скажете вы на это? Я мысленно обращаюсь к нему, но он молчит...

«Как быть, Андрей Андреевич?» — «Быть, Маша, самой собой».

Выписала из классного журнала оценки Завьялова. Хорошего мало. Пятерка по литературе, остальные тройки и двойки. Особенно математика. Понимаю, без помощи учителя не обойтись.

И опять — как? Как уговорить Павлу Васильевну Кликину, взбалмошную старуху, у которой все зависит от того, с какой ноги она встала... Правда, после открытия урока Кликина вроде бы потеплела ко мне, но кто знает, что будет через минуту?

По расписанию у нее тоже был пустой урок. Я спустилась на первый этаж, заглянула в столовую. Кликина сидела у окна, спиной к двери, тугой седой узел ее прически был уложен будто бы раз и навсегда. Она казалась почти квадратной. Черная широкая кофта спадала с ее плеч, такая же юбка, длинная, низко закрывавшая толстые больные ноги.

Я попросила у буфетчицы стакан чаю и пошла к Павле Васильевне.

— Можно?

Она подняла на меня смуглое, с глубокими морщинами лицо, кивнула.

— Стылый чай, — сказала она и повернулась к буфетчице: — Татьяна! Что, чай подогреть не могла? Холодным торгуешь.

Буфетчица вышла из-за прилавка и, постукивая сапожками, на которых болтались не по возрасту легкомысленные кисточки, сгребла оба стакана — мой и Кликиной, — а на их место со стуком поставила другие.

— Вечно недовольные. . .

— А ты была бы довольна?

— Да не капризничала бы.

Кликина отхлебнула.

— Другое дело. А то бурду продает. — И повернулась ко мне: — Кстати, голубчик, я про урок ничего вам тогда не сказала, а ведь неплохо вышло, честное слово, неплохо. И держитесь вы отлично, как говорят, без страха.

Она вздохнула и отклонилась на спинку стула.

— И все же послушайте старую стреляную воробьишу. . . Вы очень, по-моему, рисковали. — Она опередила мой вопрос. — Да, рисковали, играли с огнем. Кто же, голубчик, начинает с Лукова, Завьялова или Щукина? Ну какую поэзию вы могли ждать от них? «Генерал» не дурак, не зря Прохоренко на него молится, но стихи! . . . Понять не могу, откуда он про трактора-то знает.

Она помешала ложечкой, зазвонила по всей столовой.

— Впрочем, память у него хорошая, я много раз убеждалась. И слушать умеет, когда в настроении. Способности есть. Это не Завьялов.

— Мне хотелось, чтобы весь класс работал.

— Победителей не судят, но риск был. Да и позже вы чуть не просчитались. У меня даже сердце защемило, когда Завьялов стал головой крутить. Александр Сушкин! И где он его выкопал?

— Ему и копать не пришлось, это его стихи.

— Я их не слушала, но Сушкин. . . так он Сушкин и есть, с него взятки гладки.

— А стихи хорошие, — улыбнулась я. — Может, мы этого парня недостаточно знаем?

— Вы, вероятно, не знаете, а вот я — знаю.

— Но, Павла Васильевна, не бывает же так, чтобы один человек оказался и тупым, и мудрым?

Кликина иронически поглядела на меня и стала подниматься, опираясь руками о стол.

— Пора идти... к вашим дарованиям. — Повернулась к буфетнице: — А за чай, Таня, спасибо. — И снова ко мне: — Да если вы, голубчик, скажете, что Завьялов — гений, то и это меня к нему не расположит. Взгляните в журнал, что у него творится!

— Видела. И особенно по математике.

— Может, я не объективна.

— Нет, — сказала я. — Но мальчик мог отстать...

— Мальчик! Бросьте эти институтские штучки. Парень он, взрослый человек, и за свои дела обязан нести ответственность. А если может учиться, так еще хуже, что не учится. Вам, голубчик, наверно, кажутся странными мои разговоры, жестокими? — Она прищурилась: — А сколько вам лет, если не секрет?

— Тридцать три.

— Ага. Так вот, когда вы родились, я уже думала над всеми этими делами и тогда пришла к странному, непонятному вам выводу: мы, учителя, тоже люди. Да, да, и не смотрите так удивленно. Мы имеем право на любовь к ученикам, да и на нелюбовь к ним. На нелюбовь к комарам вы же имеет право? А они — кровопийцы куда меньшего размера, чем ваш Завьялов.

Она передохнула на первом марше лестницы.

— А потом, он ли пишет? Фантазируете, Мария Николаевна. Чудес не бывает. Ничего ваш преподобный Завьялов написать не может.

— Ну ладно, — отмахнулась я. — Его стихи или не его, я и действительно не знаю. Так показалось. Но что же с ним делать? Может, индивидуально попробуем?

Она возмутилась:

— Думаете, не пробовала? Да если бы не я, то он седьмого класса в жизнь не видел бы. Мать мне его жалко, а нужно было бы тогда себя пожалеть. Как из-под палки ходил, а уроки делал безобразно. Но я решила: дотяну, и дотянула. А вот теперь — увольте. Я его и в прошлом году предупреждала: «Сережа, последний раз помогаю, дальше на себя пеняй».

— Павла Васильевна, — отважилась я. — Не сердитесь только, может, попробуем еще раз? Я сама послежу.

— Вот те на! Опять двадцать пять. Да у вас, голубчик, веревки, оказывается, а не нервы. Да что скажет Завьялов, если он действительно умный? Он на дополнительные-то не придет. Зачем ему? Марии Николаевне нужно.

— Жаль, — расстроено сказала я. — А мне объясните?

— Что?

— Уроки, математику. . . А я ему попробую.

— Голубчик, это у вас чисто нервное.

И пошла по коридору.

Завьяловы жили в маленьком покосившемся флигельке рядом с новым кирпичным домом. Вход во двор был каменный, высокая арка вела и во второй двор, но во дворе все было неустроено, грязно. Мы прошли с Вовкой по тропинке, обошли штабель досок и щебень, а затем вернулись назад. Я была не уверена, что иду правильно.

В окне первого этажа открылась форточка, и в нее боком просунулась старушечья голова. Кожа у старухи была желтая, морщинистая, лицо маленькое, длинная, в гармошку шея. Она то втягивала голову в форточку, то вытягивала ее, точно черепаха из своего панциря.

— Завьяловы здесь живут?

— Издесь. Во флигельке.

Она так и не ушла, следила за нами до тех пор, пока мы не скрылись за дверьми флигеля.

В коридоре было темно, тянуло откуда-то щами. Загремело. Это, оказывается, Вовка зацепился за что-то железное и испугался.

Дверь распахнулась. И в неярком кухонном свете появилась женщина в косынке.

— Завьяловы здесь?

Женщина качнула головой вправо, где из темноты выступала еще одна дверь, обитая гранитом.

— Шура на работе. Дети одне: Серега и Леша. . .

Она вернулась к плите, зачерпнула деревянной ложкой дымящиеся щи, подула на них и стала пробовать, вытягивая губы и шумно засасывая жидкость.

— А муж? . .

Она рукой махнула:

— Был, да весь вышел. — И бросилась к печке: там что-то бурлило и двигалось в чугушке. — А вы учительница будете?

— Да.

— Новая? — Она перешла на шепот: — Я давно Шу-ре говорю: отдавай парня в ремесленное. Чего зря тер-зать, пускай к делу приспособится. Так не хочет. Как же, говорит, теперь неграмотным. . .

Вовке надоело стоять, он дернул меня за руку.

— Да ты погоди, — сказала соседка. — Все им некогда. А про Серегу чего еще? Ну, молчаливый, конечно, это уж так. И нервный. Если что не по нему — нагрубит. Вот только что вышел посуду помыть, а сам молчком, молчком, как хорек. Я ему: «Серега, ты чего такой?» А он: «Какой?» — «Смурной». А он: «Вы бы в цирк сходи-ли, там все веселые».

Она приподнялась на цыпочки, опасливо взглянула через мое плечо.

— Матери начну жаловаться — защищает. Ты, ска-жет, Фрося, к нему не приставай. Он сам знает. А если знает, спрашиваю, чего плохо учится? — Она ждала мо-его сочувствия. — Другие мальчишки к отцам тянутся, а этот — за мать. Шурка-то мягкохарактерная. Мужик ейный, когда отрезвеет, дак и неплохой был. Совестьли-вый. А бабе, сами знаете, ласка нужна. Простит. А он завтра напьется еще хуже. Про ее мужика-то слышали?

— Нет.

Фрося от удивления приложила ладонь к губам:

— Так его весь город знал. Говорили, в Москве в ин-ституте работал, да начал пить. Там и семья, и кварти-ра — все развалил. Как его Шурка отыскала — никто не поймет. А говорун, говорун какой! Ну, конечно, если под этим делом. . . Выйдет на кухню и складно так читает: ды-ды-ды! ды-ды-ды. . .

Она сдвинула кастрюлю с огня.

— Вначале они без росписи жили. Конечно, маялась, но все же терпела. Потом, значит, Серега родился — рас-писались. Остепенился. Галстук надел. На работу устро-ился. Я даже позавидовала. Только недолгая была за-висть — запил хуже прежнего. Бывало, до того дойдет — все спустит, не одетым явится. А уж когда Серегину фор-му пропил, тот его сам выгнал. С кулаками на него ки-нулся.

— А Леша?

— Этот от Котьки. — Фрося взяла дуршлаг, пошла к раковине. — Котька женатым был. Не знаю, на что надеялась. Серега совсем озверел, свихнулся. Гонит его, да еще и Котькой зовет. Тот на него: «Зови отцом!» А чего он отцом будет звать, когда никакого уважения этот Котька не заслужил! — Она вздохнула. — Да они с Котькой недолго жили. С полгода. Котька на семь лет младше был. Влюбилась, да так — ни к чему. След, правда, оставил — Леху...

Скрипнула дверь. В коридор вышел Сережа — что-то блело в его руке. Из темноты разглядывал меня. Потом неуверенно шагнул вперед, все еще не понимая, как я оказалась в его квартире, и бросился по коридору.

— Дикий! — объяснила соседка. — Да еще с горшком застали, стесняется.

Она пошла за ним и тут же вернулась.

— Убег. Теперь не ждите...

В комнате у Завьяловых было неуютно, накидано, но не бедно. Деревянная кровать и шкаф полированный были еще новыми. Правее окна — буфет, за стеклом которого был расставлен красный сервиз в горошек. По всей комнате валялись рейки, колеса от детского велосипеда, кубики. Среди этого беспорядка на шерстяной подстилке сидел, поджав ноги, маленький человек с серьезным лицом. Леша, догадалась я.

— Селеза, смотли, какое лузье я сделал...

— Разве это ружье, — возразил Вовка. — Обыкновенная палка.

Леха обернулся, вытаращил глаза и вдруг завыл, как гудок.

— Сейчас, сейчас придет твой Сережа, — я погладила мальчика по голове.

— Ты кто?

— Учительница.

— А тот, лызый?

— Какой же он рыжий, он — черный.

— Давай я тебе построгаю, — предложил Вовка.

— Нет.

— А я корабль могу...

Леха думал.

— И поплывет?

— Еще бы.

Я осмотрелась. Половики были скомканы, под столом валялась швабра. Я собрала палки — как-то неудобно сидеть в таком хаосе, — сложила в угол. Потом села за стол и закрыла глаза. Мне показалось, что кто-то стоит за спиной, я обернулась — Сережа.

— Прости, — сказала ему. — Вошла без разрешения. Не ругаешь?

Он промолчал.

— Мне хотелось поговорить с тобой. . .

— О чем говорить-то? — ироническая улыбка пробежала по его губам.

— О тебе. . .

— А что обо мне? Про меня все известно, спросите у директора. . .

Он не хотел разговаривать и искал возможность нагнубить. Я сказала спокойно:

— Давай-ка о деле. Я поглядела твои отметки. Знаешь, сколько у тебя двоек?

— Не считал.

— А напрасно. В этой четверти будет три: по алгебре, геометрии, физике. Возможно, четыре — и по химии. Я разговаривала с Павлой Васильевной. Оказывается, ты в прошлом году ходил на дополнительные.

— А что толку?

— Ты сейчас говоришь назло. Я давно за тобой наблюдаю. Вначале ты мне не понравился. Понимаешь, о чем я?

Он опустил глаза.

— Это была трусость. А трус — ничего, кроме брезгливости, вызвать не может. Но когда ты прочел свои стихи. . .

— Какие стихи?

— . . . когда ты прочел свои стихи, — повторила я, — то я поняла, что, может быть, ошибаюсь. . .

Он молчал.

— Как ты смотришь, — спросила я, — если мне попросить девочек, Семидолову или Боброву, — они бы с тобой позанимались. . .

— Нет, я не буду. . .

— А Павлу Васильевну?

Он покачал головой:

Она не станет.

— А если я все же уговорю ее?

Сережа отвернулся и промолчал.

Я сняла с гвоздя Вовкино пальто, надела свое. Уже приоткрыв дверь, я внезапно решила сказать главное:

— У меня к тебе просьба... Дай почитать твои стихи?

Он наклонился и стал что-то собирать с пола.

— Нет, нет, — глухо ответил он. — У меня нет стихов. Мне нечего вам давать.

На улице совсем стемнело. Я стояла на крыльце, нащупывая ногой ступеньку, — нащупала и наконец сошла вниз. Глаза постепенно привыкли, и теперь я различала едва заметную серую утоптанную тропинку, по которой мы шли сюда. Правее был каменный дом, я примерно рассчитала, где должна быть арка.

Мы прошли с Вовкой шагов пять или семь и сбились: лезли по кучам щебня и досок. Нужно было вернуться и попросить Сережу проводить нас. Но не успела я повернуть, как рядом тявкнула собака. Вот кого я панически боюсь с детства! Меня сразу же бросило в пот. Я остановилась и дернула сына за руку, прижала к себе.

— Песик, песик, свои...

Собака не унималась.

— Хозяева есть? — стараясь быть грозной, крикнула я. — Уберите животное!

Собака подошла совсем близко, и теперь я увидела ее лисью вытянутую морду и мохнатую спину. Если кинется, буду кричать...

Минуто мы смотрели друг на друга. Собака села и теперь, видимо, ждала, когда мы пошевелимся, чтобы наброситься. Чем больше я на нее смотрела, тем более крупной и черной она казалась. Ее глаза светились зеленым светом.

— Пошла прочь, — неуверенно сказала я, все еще не решаясь сделать первый шаг.

Собака повернула голову, мне было отчетливо видно, как поднялись ее уши. Это был грозный сигнал.

Рядом хлопнула дверь. На крыльцо флигеля кто-то вышел.

— Тут собака, — жалобно сказала я, — вы не можете ее прогнать?

Никто не ответил.

Половицы на крыльце закрипели, кто-то все же там был.

— Помогите! Тут собака. Мы с ребенком боимся...

— Кто?

Это, кажется, был Леша.

— Собака, — сказала я. — Лешенька, это ты? Сбегай за Сережей. Она нас держит...

— Кто делзит?

— Собака. Да позови же Сережу...

Собака повернула голову, завиляла хвостом, взвизгнула и побежала к мальчику.

— А где собака? — спросил мальчик, он все еще не понимал, кого мы так испугались.

Снова хлопнула дверь.

— Леша! — я узнала голос Сережи. — Зови Шарика. Нам пора за мамой.

— Салик твою учительницу чуть не съел, — доложил Леша.

— Мы тут заблудились, не можем найти тропинки, да и действительно немножко испугались.

Сережа засмеялся.

— Шарика бояться нельзя, он как игрушечный... Вы, Мария Николаевна, подождите. Я посвечу. Тут хоть глаз выколи.

Он бросился назад и почти сразу же выбежал с фонарем. Вспыхнул свет, и мы с Вовкой благополучно перешли на тропинку.

— А теперь сюда. — Он шел впереди, светил под ноги, то слегка удалялся, то поджидал нас с Вовкой. — А Шарика вы зря испугались. Он даже понятия не имеет кусаться. Мама его так воспитала. Собаки, знаете, такой характер имеют, какой у них хозяева вырабатывают. А наш Шарик уж слишком добрый.

Он будто старался меня утешить. Я никогда не слышала от Завьялова такой длинной речи.

— Да, — сказала я, — собаки часто имеют характер своих хозяев, это я поняла в детстве...

— Вас кусали?

— Не кусали, но боюсь именно с того времени...

Шарик попрыгал около нас и бросился к Вовке и Леше, которые стояли уже на дороге.

Мы вышли из-под арки. Улица была освещена. Сережа погасил фонарик и спрятал его в карман.

— Я знаю про собак много историй, — сказал Сережа, — но это больше хорошие истории. Я, пожалуй, даже не знаю о них плохого. Правда, говорят, что некоторые действительно кусаются, но, я думаю, это больные. А здоровой собаке чего кусаться — человек ей только добро делал.

— Ну, а если у собаки хозяин — плохой человек, ты же сам говоришь?

— Этого я не видел, — сказал Сережа. — Я только так думаю.

Он замолчал. Мне казалось, ему хочется спросить, что же было в моем прошлом, но он стеснялся. А я сама еще не знала, нужно ли рассказывать. Я не любила эту историю. Стоило ее вспомнить, как детство, такое далекое, будто бы приближалось ко мне.

— А зачем вы собрались к маме?

— Так она вроде вас — жуткая трусиха. Правда, собака она не боится, но, если где-то что-то заухает или заурчит, домой прибежит без памяти.

— Ты молодец, что так к маме. . . — Я чувствовала его плечо, линию неподвижно вытянутой руки, точно он нес в ней что-то. Я помнила: человек, который идет, не размахивая руками, то ли нервный, то ли замкнутый, это такой признак.

И вдруг поняла, что сейчас, безо всяких, расскажу ту историю. Это было давно, в сорок третьем, в год маминой смерти. Мы жили в деревне, недалеко от Вожевска. В начале войны, когда папу взяли на фронт, мы, чтобы прокормиться, уехали к маминой тетке, там жить было немного легче.

Мама работала в колхозе, да еще приходил аттестат за папу, но, когда его убили, и особенно в год маминой болезни, нам пришлось туго. И вот тогда мама стала брать папины вещи, которые хранила все это время, и уносить к Спекулянту.

От него мама никогда не приходила пустой, приносила не только муку и картошку, но, бывало, и масло. Я всегда ее просила: возьми меня к Спекулянту.

И вот однажды мама меня взяла.

Помню, как я радовалась, когда мы шли по деревне. Я пела песни и скакала.

Мы остановились около двухэтажного дома, где жил

продавец сельмага Семеныч. Мама огляделась и поступала три раза.

— Это ты, Струженцова?

— Я, Семен Семеныч, — заискивая, сказала мама.

— Одна?

— С дочкой.

Он открыл дверь и отступил. Рядом с ним стояла собака. Я сразу узнала ее, потому что в деревне много о ней говорили. Она сторожила сад, и, хотя Семеныч никогда ее не пускал за калитку, никто из самых смелых мальчишек не решался лезть к нему за яблоками. Это был зверь побольше меня, наверное, на голову, глядел на нас безразлично и даже зевал — кажется, мы с мамой его разбудили. Раззевавшись, зверь открывал огромную пасть, обнажая черные десны, скручивая в трубочку свой длинный и красный язык.

— Зачем с девчонкой? — хмуро сказал Семеныч.

— Поможет. Что-то все не могу последнее время. Без нее санки не довести.

— Только держи язык за зубами.

Он повернулся к собаке и сказал ей, как человеку:

— Антип, пошли. . .

И собака пошла. Впереди Семеныч, потом собака, дальше мама и я.

— Санки оставь здесь, — сказал Семеныч, а Антип повернулся и подождал, пока мы их оставим. Потом пошел не спеша, повиливая хвостом, будто подзывая нас. И трудно было понять, кто здесь главный, Антип или Семеныч.

В чулане мы встали у дверей, Семеныч принял у мамы вещи.

— Пальто принесла?

— Принесла, — сказала мама. — Оно совсем новое. Коля его не носил. Мы справили его в мае — весной всегда меньше заказов, а в июле Колю уже взяли.

Семеныч развязал узел, погладил воротник, потом поднял к свету и долго смотрел на него.

Чего только не было в чулане! Мешка три муки, на крюке кусок свинины, масло, сахар.

Голова моя закружилась. Я схватилась рукой за маму. Антип оскалил зубы.

— Сейчас, сейчас, — сказал Семеныч. Он не обернулся, а взял с окна нож, отрезал кусок свинины и бросил

туда, где стоял Антип. Пес поймал сало, щелкнув челюстями.

Тогда Семеныч встряхнул пальто — он, кажется, был им доволен — и стал одеваться.

— Ну и мужик у тебя был складный, все лезет.

Он так в пальто и отвесил нам сахар, но потом снял пальто, завязал в узел и стал откладывать сала, муки, крупы.

— Разбогатела ты, — говорил он маме.

Глаза у мамы стали такие, что я испугалась. Семеныч вынес все из чулана, привязал к санкам, а пакет с салом дал мне в руки.

Мы дошли до калитки, но не успели выйти, как Антип подбежал сзади, встал на задние лапы, а передние положил мне на плечи. Я онемела.

— Он выкуп просит, — объяснил Семеныч, — иначе не отпустит.

— Убери собаку! — крикнула мама.

Антип все стоял на задних лапах, а я шаталась от тяжести, но не выпускала сало.

— Собака слов не понимает. Дай ей кусочек сала. Там есть довесок.

— Я салом лечусь, — сказала мама. — И девочке оно нужно...

— Подумаешь, довесок. Довеском не спасешься.

Антип оскалил зубы и толкнул меня к забору. Я упала. Тогда он бросился к пакету, дернул бумажку и выхватил довесок, точно знал заранее, что этот кусок предназначен ему.

— Паразит, — всхлипнула мама. — Подавись нашим салом.

— А где же Спекулянт? — спросила я маму, когда порядочно отошли от дома.

— Спекулянт — Семеныч.

И тогда я разревелась...

— А что же дальше, Мария Николаевна? — спросил Сережа, когда я замолчала.

— Дальше? Мама умерла. Помню, у нее горлом пошла кровь, и, пока мы с теткой бегали за фельдшером, ее не стало. В ту зиму я ходила в первый класс. Школа была на другом краю деревни, и мне каждый день приходилось ходить мимо дома Семеныча, которого в ту самую зиму арестовали. Антип стал бесхозной собакой, бродил

по деревне. И вот, представь, он узнал меня и стал требовать выкуп. Проследил, где я живу, и, только я отходила от дома, он откуда-то появлялся и ждал, когда разойдутся люди, а затем требовал выкуп.

— Выкуп?

— Да. Тетка давала мне в школу кусок хлеба или картошку, и Антип не отходил, пока я ему все не перекидаю. Да еще не верит. Из сумки-то пахнет хлебом. Подойдет, сунет голову в сумку, убедится, что больше нет, а тогда уходит. Так и кормила всю зиму.

— У нас Шарик добрый. Он с голоду умрет, но не попросит.

— Так ты же и говоришь: смотря какой характер у хозяев.

— У нас Шарик добрый, — повторил Сережа.

Он сделался грустным и на меня не глядел. Не знаю, может, и зря я ему рассказала о себе? А может, нет... Мы мало знаем о детях, но ведь и дети ничего не знают о нас.

— А что было потом?

— Летом меня устроили в детдом как дочь погибшего фронтовика.

Мы свернули за угол и увидели ярко освещенные окна.

— В этом магазине работает мама.

Со мной разговаривал мягкий и тихий мальчик, и было странно, что несколько минут назад он отвечал мне грубо.

— Может, зайдете?

— Нет, я ведь действительно шла к тебе. — Мы остановились. — До свидания, — я подала ему руку. — Так поговорить с Павлой Васильевной?

Он опустил голову.

— Или давай иначе, — осторожно сказала я. — Завтра же, не откладывая, подойдем к ней вместе... Для нас важно, чтобы ты сам...

— Как хотите.

Мальчик не отходил. Казалось, сейчас он что-то мне скажет. И вдруг тетрадка — я ощутила рукой бумагу — ткнулась в мою ладонь. Я зажала ее в кулаке. Завьялов повернулся и бегом бросился на крыльцо.

— Только никому, Мария Николаевна!

Дверь в магазин захлопнулась. Я полистала тет-

радь — там были стихи, написанные его рукой. Мы прошли с Вовкой улицу, остановились около фонаря.

Первая строчка удивила меня. Я перечитала ее снова, потом стихотворение целиком.

Птицы прячутся за домами
в щелях и желобах.
А кот из-за угла на это смотрит
и кусает лапы от голода.
А мне его как-то жалко,
потому что он голоден.
И не жалко,
потому что он живодер
и разоряет гнезда птиц.
...Сосна упирается в небо,
покачивает ветвями.
Облака опустились на землю
и спрятались за камнями.
Пусть лучше кошки помирятся с птицами
и птицы с кошками станут друзьями.

Я не знала, радоваться или огорчаться, что этот ребенок открылся мне. Как быть с ним дальше? Чем помочь ему?

Я понимала, что сегодня добилаcь большего, чем могла предположить.

Глава восьмая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Все эти дни я почти не уходил от мамы. Она прогнала меня, требовала, чтобы я чем-то занялся, но я не мог. Даже с Прохоренко я виделся только в больничном дворе или в палате. И Люся, и Леонид Павлович приходили ежедневно, всегда с пакетами, и я в шутку говорил, что об их приближении догадываюсь по запаху яблок.

В ночь перед операцией я несколько часов пролежал с открытыми глазами, закинув руки за голову, и с каким-то озлоблением глядел на «Букет сирени». Я раздумывал о безымянном маляре, который взялся не за свое дело.

Мысль Леонида Павловича преследовала меня постоянно, и теперь я невольно думал о хирурге, которому при-

дется завтра оперировать маму. Художник он или маляр? Маляр или художник? Нет, нет, говорил я себе, я не имею права плохо думать о Калиновском.

Неожиданно для себя я приподнялся на локте и перевернул натюрморт лицом к стенке. Пусть так!

Потом надел ботинки, свитер и вышел из номера. На улицу! Скорее на улицу. Больше не могу здесь. Душно...

— Не спится что-то, — сказал я коридорной, когда она удивленно поглядела на меня.

...Ночью Вожевска будто бы не существовало. Дома за палисадниками были размыты, как на картинах импрессионистов. Черные стены едва угадывались сквозь тьму.

Иногда, через большие промежутки, возникали фонари. В их тусклом свете я чувствовал себя неловко, будто актер самодеятельности под юпитерами.

Я сворачивал в маленькие улочки, в узкие переулки, туда, где не было тротуаров, и мои шаги стали совсем беззвучными на мягкой земле.

Тишина окружила меня. И в какую-то секунду мне показалось, что я сливаюсь с ночной пустотой моего городка.

Что я знаю о маме, в который раз спрашивал я себя за эти дни. Почти ничего...

Ей скоро пятьдесят три, а много ли хорошего случилось в ее жизни?

Прошел однажды солдат мимо нашего дома, забыл вернуться...

Потом вырос я, но оказался не лучше солдата. Семь лет не был дома. Уехал в Москву, нашел место под солнцем. Разве помнил я мать в эти годы?

Приезжала, боялась стеснить, ходила боком. Угла, дивана, раскладушки не нашлось для матери у ее единственного сына.

Как я мог! Как я мог!

Неужели только теперь, перед лицом катастрофы, я сумел понять маму?

А раньше? Где был я раньше?

Даже не знаю, как оказался я на берегу Прокши. Далеко от моста, от главной дороги. Ободранный шатер церкви едва просвечивал в темноте, и сквозь него были видны круглая луна и звезды,

А если пойти к больнице? Постоять у окон маминой палаты? Нет, нельзя. Увидит, расстроится. Надо вернуться в номер.

Швейцар в гостинице долго гремел ключами, потом что-то бурчал мне вслед.

Я включил лампу, постоял около перевернутой картины.

По всей поверхности холста была растянута паутина. Несколько секунд я разглядывал геометрическую правильность и красоту паучьей работы, подумал: «Вот это настоящий художник...»

И потушил свет.

Только в кровати я почувствовал страшную усталость, вытянулся и как будто провалился в бездну.

Все утро мы просидели с Люсей в больнице.

Я словно окаменел в эти часы, сидел покорный, готовый ко всему.

Около часа дверь распахнулась, вошел Калиновский.

Мы встали. Это был суд, от его приговора зависело все.

— Ну-с, — Калиновский покопался в карманах, поискал зажигалку, чиркнул.

Я тупо разглядывал его. В колпаке и халате он был почти неузнаваем: энергичный, крепкий, худощавый парень, его годы бесследно исчезли.

— Ну-с, — повторил он с улыбкой и затаился дымом. — Нам с вами повезло...

Я показал на папиросу. Он протянул мне пачку.

— Опухоль очень большая, но по всему — доброкачественная. Конечно, мы обязаны перестраховаться, я послал срезы на гистологию, но думаю, нового они нам не скажут.

Я сел на стул.

— Значит, жить будет?

Я еще не мог радоваться. Неужели правда?

Потом мелькнула мысль: нужно бежать на почту, дать телеграмму Рите.

И тут же: зачем? И куда телеграмму? В Сочи?

За эти дни я получил от нее две открытки с описанием южной погоды, цен на фрукты, а в конце обязательное: «Как мама? Волнуюсь».

Нет, только не ей, не в Сочи. Придет с пляжа, безразлично возьмет бланк, пробежит глазами.

Я знал все, что будет, представлял каждый ее жест, — это было так знакомо.

И вдруг я невольно подумал о Маше. Вот кто понял бы все, что сегодня случилось. Она же здесь, рядом. Может, пойти, сказать: знаешь, сегодня спасли маму, я все эти дни думал, что она на волоске от смерти. Как это страшно, когда узнаешь, что человек обречен. . .

Маша, Маша! Нет. Ни к чему это.

Люся взяла меня за плечи, притянула к себе.

— Витька, теперь выходим ее, не сомневайся.

— Спасибо. Спасибо за то, что вы есть.

— Марк Борисович, сейчас придет Леонид и отвезет вас на дачу.

— Я, пожалуй, ей больше не нужен, — сказал Калиновский. — Врачи все знают, я предупредил.

Он пошел к гардеробу.

— Устал, — пожаловался он какой-то сестричке из приемного покоя. — Пришлось основательно повозиться. Редкое чудовище, хотя и доброкачественное. — Повернулся к нам: — У нее можно дежурить.

Я поднялся, чтобы идти к маме.

— Витя, — попросила Люся, — сегодня лучше мне побыть с ней. От женщин в таких случаях больше проку. — Она кому-то улыбнулась.

Я обернулся.

В дверях стоял Леонид Павлович и тревожно смотрел на Люсю.

— Все благополучно. — Она опередила меня. — Анне Васильевне ничто не угрожает.

Прохоренко шагнул вперед, сжал ладонь Калиновского двумя руками:

— Марк Борисович, спасибо. . .

Я тихо вошел в палату и остановился возле маминой кровати. Мама была еще под наркозом.

Я наклонился над ней, прислушался к дыханию. Все, кажется, хорошо. Только бледна, лицо без кровинки.

Губами я прикоснулся к ее лбу.

— Миша. . .

Я огляделся. В палате больше никого не было.

— Миша, — позвала она снова.

Теперь я видел, что мама пристально смотрит на меня.

— Это я... Виктор...

Она глядела на меня не мигая.

И вдруг я понял. мама назвала имя моего отца. Имя, которое ни разу не произносила раньше

Я попятился, спиной открыл дверь и вышел.

Калиновский был уже одет, ждал меня.

— Ну, как она?

Я был так ошеломлен, что не сразу понял вопрос.

— Как мама? — переспросила Люся с испугом.

— Мама? — Я словно очнулся. — Она еще спит.

Через полчаса мы возвращались с Леонидом Павловичем в Войжевск. Пожалуй, только теперь я начинал сознавать всю значительность происшедшего. «Жива! Будет жить», — про себя повторял я

Прохоренко ехал не спеша. Объезжал рытвины, бугры, ямы. Несколько раз я поглядывал на него. Он казался озабоченным и усталым, и я невольно подумал, уж не случилось ли чего у него на работе

— Леонид Павлович, — сказал я. — Мне бы хотелось написать о вас очерк. То, что вы и Шишкин рассказывали о школе, мне кажется чрезвычайно интересным.

Он не удивился, но возразил:

— Эксперимент только начат. Пока не все идет так, как хотелось бы. Спотыкаешься на тех местах, на которых казалось, и споткнуться-то никак невозможно.

— Тем более. Очерк в газете только поможет вам укрепиться, создаст общественное мнение.

Я чувствовал, с какой жадностью он слушает мои слова и все же не может почему-то решиться.

— Я должен все хорошо обдумать. Критерий у меня один: не помешает ли ваше выступление делу.

— Да чему? Чему может помешать? Разве у вас нет недоброжелателей? Статья, очерк о вас только закроет рты маловерам.

Он пожал плечами.

— А потом, мне и самому выгодно было бы привезти из отпуска очерк. Да что выгодно — необходимо для новой командировки. Понимаете, Леонид Павлович, — я го-

тов был открыть ему все карты, — я мечтаю о новой книге. . .

Он взглянул на меня.

— О документальной повести. То, что вы делаете, это же бесконечно важно и интересно. . .

Прохоренко нахмурился.

— Спасибо, — сказал он. — Скрывать не хочу, обстоятельства складываются так, что я не могу отказаться от вашей помощи. — Он тяжело вздохнул. — Я знаю, что каждое дело начинается трудно, но пробивать новое в педагогике — особенно. Вы не все представляете, Виктор. Впрочем, никто, даже Люся, всего не представляет. . .

Взгляд его становился острым и непрощающим.

— Меня не смущают ваши противники. Даже интереснее писать, если есть с кем спорить.

— Нужно все взвесить, — сказал Прохоренко и улыбнулся. — Впрочем, поговорить нам никто не мешает. Сама идея написать о нашей школе мне нравится.

Глава девятая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Я подошла к Завьялову на большой перемене. Он стоял у окна и внимательно глядел на улицу. Там шел первый, совсем не по времени, снег.

Снег падал медленно, крупными, точно взлохмаченными, хлопьями, наискось пересекая в школьном саду деревья. У самого окна, защищенного карнизом, снежинки кружились и будто бы поднимались немного вверх.

Дохнул ветер, взметнул белый хвост, смахнул, как метлой, все, что собралось на подоконнике, оставил ржавый лист железа.

Завьялов взглянул на меня.

— Надо же, — сказал он, — начало октября, а зима. Я обняла мальчика, притянула к себе за плечи.

— Пойдем к Павле Васильевне. . .

Он побледнел.

— Боишься?

— Боюсь.

В учительской было накурено. Открыли форточку, но и это не помогло. Учителя не ходили, а будто плавали в дымке. Ближе всех ко мне стояла Нелли, учительница физкультуры, и кокетничала с физиком. Физик был широкий в кости, с плоским, приплюснутым, как у боксера, носом. Седой, плохо выбритый. Нелли рядом с ним выглядела семиклассницей.

Завьялов втянул голову в плечи. Он знал этих людей другими, а точнее, вообще их не знал. Его не замечали. Вошел — значит, нужно.

— Мария Николаевна, может, не сейчас? ..

— Держись — сказала я и слегка сжала Сережину руку.

— Павла Васильевна, мы к вам, — начала я бодро. Кликина безразлично сказала:

— Неужели? Вот повезло!

Достала пачку сигарет, вышибла щелчком одну и покрутила ее своими толстыми малоподвижными пальцами. Сигарета лопнула. Она выбросила ее, взяла другую.

— Хотели поговорить... .

— О чем же?

— Видите ли... — я все еще надеялась, что Сергей заговорит сам. — Он попросил меня...

Завьялов поднял удивленный взгляд, но сразу потупился. Однако этого было достаточно. Кликина ухмыльнулась.

— Наверстывать захотелось... — сказала она так, что стало понятно: хорошего от разговора ждать нечего.

— Да.

— Интересно... А как, прости, ты собираешься это сделать? Можно наверстывать, когда отстал на один день, на два, на неделю, а ты отстал на месяц, плюс самые ничтожные знания прошлого года. А ведь я с тобой занималась.

Она поджала губы и укоризненно поглядела на меня.

— Мария Николаевна, я вам на днях объясняла, почему не верю ему. Вы не первый год преподаете, а все еще считаете любого лоботряса жертвой.

Учителя одобрительно зашумели.

— А жертва — учитель. Сколько я занималась с ним в прошлом году... А результат? Сказать нечего, Завьялов. Молчишь. Глаза спрятал. Так я сама напому: два месяца оставляла его после уроков. Понимаете, себе, а

не ему доказать хотелось, что любой это может осилить, любой! И что, спрашивается, доказала? В этом году запустил еще хуже прежнего. Нет уж, милый человек, на твоём месте я бы сюда не приходила, если, конечно, у тебя еще есть совесть.

Сережа молчал.

— Я вижу, Мария Николаевна женщина душевная, сердечная, — говорила Кликина, — ей всех жалко. А ведь я дословно могу пересказать ваш разговор. стыдила часа полтора, мамой увещевала — вот, мол, как тяжело ей, бедной. И ты согласился. — Она выпустила изо рта кольцо дыма.

— Так и было, — с вызовом сказал Завьялов.

— Сережа, зачем же...

Отступить я не могла. Не сейчас — значит, никогда. Я повторила:

— Павла Васильевна, а если все же попробовать еще? Я обещаю...

— Вы? Так разве вы не в ладу с алгеброй? Ну, это другое дело. А я все о Завьялове думала...

Я сделала вид, что не заметила ее иронии.

— Я обещаю, что сама буду контролировать его.

— Ага. Это уже не так обидно. Значит, не я одна буду терять время, но и вы? Прекрасно. А что, если попросить еще Прохоренко? И завуча не мешало бы. Тянуть так тянуть.

Мальчишка что-то буркнул, но не пошевелился.

— Нет, вы подумайте, обиделся! Не так с ним разговариваем! Нужно обрадоваться, поклониться. Спасибо, ваше величество, снизошли, изволили...

Сергей сжал кулаки и бросился в сторону, между учителями, точно боялся, что его задержат.

Я не успела даже сообразить, что делать, как Кликина властно — такой силы я в ней не подозревала — приказала:

— Стой!

Он замер.

— Подойди.

Она больше не повторяла, ждала. Завьялов побрел к ней.

— У тебя сегодня сколько уроков?

— Пять.

— А у меня шесть. — Она подумала. — Подождешь. А теперь иди.

Сняла с подоконника сумку, достала тетради и стала перебирать их.

Хлопнула дверь.

Я хотела идти в класс, но Кликина усталым жестом остановила меня:

— А ведь это вы виноваты, милая барышня. Кто же так действует?

Я махнула рукой.

Днем основательно грело солнце. Ранний снег стаял, и только вокруг деревьев да неглубоких канав и рытвин еще лежали серовато-белые полосы. Играть во дворе из-за грязи стало трудно, и Вовка с ребятами убежал на дорогу. Ему пора было возвращаться, уроков он не делал, и я уже несколько раз собиралась позвать его.

На улице смеркалось, и потускнело в комнате. Я походила из угла в угол, оглядела стопку тетрадей, но, вместо того чтобы взяться за дела, прилегла на диван.

Было чертовски одиноко. Тоска, как правило, приходит у меня внезапно, ни с того ни с сего. Так же, как сейчас, приближается вечер, и я вдруг замечаю, как разрастается пустота вокруг.

Я поглядела на часы — нет, пора звать сына. Встала, включила свет в коридоре и тут услышала, что кто-то трет ноги около двери. Вовка позвонил бы сразу. Видно, не ко мне.

Я вернулась, но короткий звонок заставил меня вздрогнуть.

Успела взглянуть в зеркало около двери: боже, как растрепалась! Провела по волосам расческой, но когда спешишь — разве уложишь...

С удивлением разглядываю незнакомку. Выше меня и, пожалуй, старше. Лицо круглое, полные губы, из-под платка — кудряшки.

— Вам кого?

— Марию Николаевну Струженцову.

— Проходите.

Показываю, где раздеться, и все не соображу, что ей нужно.

— Может, я сниму туфли?

— Нет, ни к чему.

Она все же снимает и идет в комнату в чулках.

— Не знаю, как и начать, — говорит она. — По дороге слова были, а пришла — растеряла. Вы поняли, наверно, меня прислал Серега...

— Кто?

— Да вы были у нас дома. Я — Завьялова Шура, его мама.

Я даже всплескиваю руками.

— Как замечательно, Шура, что вы пришли сами. Мне давно хотелось поговорить с вами.

Я гляжу на ее кудерьки, на ее полные губы и щеки, и она кажется мне милой.

— Работы много, а теперь заболели двое, приходится в две смены. Ну, конечно, понимают, что у меня дети, отпускают, когда нужно. Вот и сегодня отпросилась. Говорю, делайте что хотите, а к учительнице я сходить должна... Вы чего же вчера с ребятами не зашли ко мне в магазин? — Шура вздыхает. — Сережка-то мой очень хороший. Идешь на работу — спокойна. И Лешу накормит. И обед доварит. А в школе — беда. Не хулиган, а учителей всех против себя поставил. Сама не пойму, то ли не хочет учиться, то ли не может. Раньше даже бить пыталась. Сбежал из дому. Приду с родительского собрания — ног не чую, схвачу ремень, а размахнусь — самой больно. Начинаю плакать. Он молчит, смотрит. Брошу ремень, сяду. Думаю: будь что будет, сколько ни поучиться — все польза. Сама забирать не стану.

Она рассказывает о себе:

— Живем-то мы без отца. Был муж. Пока пил в меру, не хуже людей жили. И зарабатывал неплохо. Я его питья не боялась. Скажет: купи маленькую — купишь. А потом озверел. Напьется — личность теряет. Пропил Сережкину форму, тот его сам и выгнал.

Она затихает — видно, думает о своей жизни.

— А он, мой Сережка, не безнадежный? — И, не дожидаясь ответа, прибавляет: — Сегодня после дополнительных у меня был. Говорит, Павла Васильевна похвалила.

— Этого я еще не знаю.

— Похвалила, — повторяет Шура. Она смотрит на меня с сомнением, будто не решается что-то спросить. — Мария Николаевна, только честно... Парень у меня нормальный?

— О чем вы спрашиваете, Шура! Конечно...

Она достает платок и вытирает слезы.

— Только вам скажу... — и плачет. — Пишет он что-то ночью. С вечера ходит угрюмый. А потом крутится на кровати, вздыхает. Я притворюсь, что сплю. А он встанет, почиркает бумажку — и назад. А бумажку с собой возьмет. Повернусь к стенке, и, пока подушку не проплачу, уснуть не могу. Другой раз найду бумажки-то эти, а там одни каракули. Слов не разобрать. Понимаете, Мария Николаевна, пока отец с ним был, я не боялась. Тот поговорить мог. Они часто о чем-то... А теперь...

Я обняла ее.

— Вы зря беспокоитесь, Шура. Он мне вчера эти бумажки показывал.

— Сам?

— Конечно. Это стихи. Очень хорошие стихи пишет ваш сын, Шура. Только прошу, не мешайте. Да еще не проговоритесь, что я сказала...

— Нет, что вы...

Она затихла и долго глядела в одну точку. Потом поднялась. Задержала взгляд на Вовкиных игрушках.

— Мальчишка?

— Да.

— А муж?

— Не было.

Кивнула.

— А я, дура, сколько за каждого держалась! Думаешь, думаешь, как одной? А вдвоем-то бывает тяжелее. Ну их, — махнула рукой. — Такого добра — моргни глазом, да только вот ребята... — Она вздохнула. — Тут недавно понравился человек, а прийти куда? Так и не решилась...

Зазвенел звонок. Влетел Вовка.

Шура вышла со мной в коридор и стала обуваться.

— Может, и неудобно такое... Но я от всего сердца. Если вам что из промтоваров нужно — пальто или костюм, — скажите. У нас сейчас есть.

Мне действительно было многое нужно. То, что казалось приличным в деревне, тут выглядело старомодным, на первом же педсовете я это почувствовала. Но, с другой стороны, никогда мне к родителям ребят не приходилось обращаться.

Она все поняла.

— Да вы не беспокойтесь, Мария Николаевна. Ничего незаконного не будет. Только что получили товар, все равно пускают в продажу.

— Прямо не знаю...

— Да чего же — не знать? — возмущается Шура. — Придете, как все. Примерите и заплатите в кассу.

Я молчу.

— Станный вы человек! — смеется Шура. — Не с черного ведь, не из-под полы.

— Спасибо, — все же соглашаюсь я. — Костюм мне бы действительно хотелось...

Я надеваю костюм в маленькой квадратной примерочной. Зеркала расставлены со всех сторон, и хотя пройти невозможно, но я отлично вижу, как хорошо он сидит.

Шура рядом. Она покачивает одобрительно головой, причмокивает даже. Да и мне самой вещь очень нравится.

— Не морщит?

Выхожу из примерочной и иду к кассе. Все головы повернуты ко мне. Директор одобрительно кивает, улыбаются продавщицы. Кажется, такие минуты приятны и для них. Еще бы! Сделали человека красивым.

Хорошо, что все оказалось так просто. Даже с директором Шура не пришлось шептаться, костюмы уже лежали на прилавках.

— Вы переоденетесь?

— Нет, не буду. Заверните старое.

Накидываю пальто. Прощаюсь с Шурой и выхожу. На улице стемнело. Идти домой? Нет, лучше всего к Прокше.

Спускаюсь к мосту. Невольно думаю, что когда-то по этим же местам разгуливала одна очень серьезная девчонка.

Интересно, что она думала, вот бы вспомнить. У девчонки, говорили, было не совсем хорошо с юмором. Думала так, как читала.

Она, вероятно, рассуждала о смысле жизни и, уж конечно, — о любви.

Кто не мечтает об этом, когда двадцать.

Любовь промелькнула. Жизнь? Жизнь выгибалась та-

кой спиралью, что на ее витках и поворотах не всегда легко было удержаться.

Впереди идут трое: женщина и двое мужчин.

Люсю узнаю по голосу, потом — Леонида Павловича. Третьего не знаю. Уходить поздно.

— Маша! Ты? — удивляется Люся. — И это называется подруга! Целый месяц не была у нас... — Она представляет мужчину. — Познакомься, Марк Борисович Калиновский, великий исцелитель Вожевска.

И, улыбаясь, прибавляет:

— А это Мария Николаевна, моя подруга. Марк Борисович, нельзя ли ее сделать чуть теплее?..

— Медицина все может, — шутит доктор. — Но лучше пусть Мария Николаевна исправится сама.

— А не исправитесь — уволю, — шутит Леонид Павлович. — Правда, как директор я могу уволить только из состава друзей, больше не разрешат профсоюзы.

— Молчи, законник! Пусть Маша отчитается о Вовке. Как он? Нас вспоминает? Леонид постоянно говорит о нем. Чтобы в субботу у нас были. Обещаешь?

— Будем.

Нужно что-то сказать еще, но слова исчезли. Стоим, как актеры у суфлерской будки, ждем, не подкинет ли кто фразу.

— Вот что, — говорит Люся. — Мужчины пускай идут дальше, а нам нужно о своем, о бабском...

Она берет меня за руку и тянет к фонарю.

— Что у тебя там зеленеет? — спрашивает она и открывает полу. — Ого! Новый костюм! Слушай, где ты достала такую прелесть? Уму непостижимо. Не костюм, а праздник.

— Только что купила.

— Где?

— В универмаге, — как-то неуверенно говорю я и скиваю от своей неправды. Сама не пойму, отчего не говорю так, как было.

— Но сегодня я заходила в Центральный.

— Нет, на Ленинградской.

— Там есть какой-то магазин, но универмага...

— Да, в магазине. Зашла случайно...

Люся грозит пальцем:

— Понимаю, по блату. Ну и блатмейстерша, оказывается, ты, Машка! А мне не можешь?

Я краснею. Не очень-то приятно слышать такое, если это даже и шутка.

— Я же сказала где.

— Ладно, схожу, только вряд ли что выйдет.

Люся смотрит на меня со странной улыбкой, будто не может решить: открыть или нет какую-то тайну.

— Не знаю, надо ли об этом, но чтобы потом ты не сказала... Здесь Виктор.

Невольно оглядываюсь. Впрочем, ерунда это. У меня ничего не может быть общего с Лавровым. Все в прошлом.

— Успокойся!

Пытаюсь взять себя в руки.

— Слушай, — умоляю ее. — Только ни слова о Вовке. Ни слова! Я не хочу! Понимаешь, не хочу! Прошло девять лет. Лавров не должен знать об этом.

— Перестань. Неужели ты думаешь, что я могу сказать без твоего разрешения? А потом...

— Что потом?

— Он сам не хотел тебя видеть.

— Вот и отлично, — бормочу я. — Отлично.

Леонид Павлович и доктор уже далеко, что-то кричат Люсе.

— Ну успокойся, — просит она. — И пойдем погуляем с нами.

— Нет, нет, — говорю я, — только не сейчас, Люся. Дела у меня. Вовка...

Я вышла из дому немного раньше. Сегодня сбор металлолома. «День лагеря».

На улице горели фонари, но из-за тумана свет их казался неярким. Я не люблю эту пору. Не поймешь, утро на дворе или вечер. И первый урок не люблю. Дети точно еще не проснулись, безразлично глядят на тебя. Их улыбки, ответы, движения — все как в замедленной съемке.

Но сегодня было иначе. Около школы шум, хохот, крики, а у дверей толчея. Какой-то карапуз стоял в стороне и плакал, на него даже не смотрели.

— Ты что? — наклоняюсь я к нему.

— Не пу-у-ускают.

— Кто?

— Ча-асовые. Я забыл пропуск.

— Пропуск?

— Да. Дома у нас уже все закрыто, папа и мама на работе.

Я обняла его за плечи и стала проталкивать к двери. Теперь и я увидела часовых. Это оказались мальчишки из восьмого, рослые и сильные. Они стояли с деревянными ружьями в дверях, и каждый ученик, проходя мимо, накалывал на штык свой пропуск.

В гардеробе Кликина снимала боты, но это, видимо, было непросто. Рядом стоял ее муж, Николай Николаевич, держал туфли.

— Ноги отекают, — пожаловалась она. Стянула один ботик, передохнула. — Вот теперь другое дело. Иди, Коля. Мы с Марией Николаевной поговорим немного.

Мимо прошел Леонид Павлович, развел руками, показывая, что спешит, не может остановиться, и взбежал на второй этаж.

— А я думала, вы вчера к нам зайдете, — сказала Кликина.

Я извинилась.

— Хотела, но не смогла. Не обижайтесь.

— За что же обижаться, голубчик? — удивилась Павла Васильевна. — Я вам очень благодарна.

— Вы?

— Да, за урок. — Она вздохнула. — Страшное дело, голубчик, привычка. Учишь десять лет, тридцать, и тебе начинает невольно казаться, что ты понимаешь ребят чуть ли не с первого взгляда. Вот хвалишь себя: другому нужны годы, а мне час, чтобы оценить ребенка. Но не так это, не так, голубчик. Оказывается, ты стала чуточку черствее, безразличнее. Чуточку, оказывается, меньше их любишь, а себя чуточку больше. И в этом вся причина...

Мне неожиданно захотелось сказать ей о стихах Завьялова. Может быть, я нарушала слово, но Павле Васильевне я могла довериться.

— Хочу вам открыть не свою тайну.

— Не свою? — она поглядела на меня с сомнением. — Может, не стоит?

— Стоит.

Я вынула из портфеля завьяловскую тетрадку и протянула ей. Она открыла страничку, кивнула.

— Сам дал?

— Да, — проговорила я с гордостью, как победительница.

На лестнице нас обогнал Щукин и члены совета дружины. Луков шел рядом с начальником, почтительно выслушивал его указания. Меня окликнул Прохоренко. Я оглянулась. Рядом с Леонидом Павловичем стояла инспектор горно.

— Вот Мария Николаевна как раз из тех учителей, — будто шутя пожаловался Прохоренко, — кто еще не до конца поддерживает и понимает наше начинание.

— Что же вас не устраивает? — довольно резко спросила инспектор.

Леонид Павлович за меня объяснил:

— Мария Николаевна не может понять, как это мы решились дать детям такую власть.

— Да? — Инспектор кивнула, и усмешка пробежала по ее тонким губам. — Для такого эксперимента требуется недюжинное воображение.

— Скажем, не воображение, — поправил Леонид Павлович, — а смелость.

По коридору под барабанный бой пронесли знамя.

— Мария Николаевна, — попросил Прохоренко, — предупредите учителей, что занятий не будет. Дадим звонок на урок и сразу же объявим сбор в актовом зале.

Учителя готовились расходиться по классам, когда я объявила, что уроки отменяются.

— С Завьяловым, что ли, позаниматься? — предложила Кликина. — Думаю, что у них ничего не случится, если один человек не будет участвовать в игре.

— Спасибо, Павла Васильевна.

Она холодно поглядела на меня.

— Слушайте, что вы все: спасибо да спасибо? Я никакого одолжения вам не делаю. Я занимаюсь с учеником, который очень отстал. Вот и все. Это моя обязанность, и прошу категорически — без реверансов.

Весь класс внимательно смотрел на черную коробку радио. Голос Леонида Павловича звучал тихо. Видимо, он был уверен, что ребята слушают его.

— На сегодня вся власть в школе передается вам. Ни директор, ни учителя не будут вмешиваться, давать

советы, опекать вас. Мы оказываем вам такое доверие, потому что совершенно убеждены в вашей сознательности. Операция разработана всем штабом, коллегиально. Руководить будет Щукин. Противник — прежний, и вы имеете опыт борьбы с ним: это металлолом. — Он замолчал, понимая, что сейчас в классах смеются над его шуткой. — Правда, ваша борьба напоминала раньше стихийные налеты отдельных отрядов, сегодня же на штурм пойдет регулярная армия сознательных бойцов. Вы взяли на себя большие обязательства — постарайтесь их выполнить.

Я обвела взглядом ребят — какие серьезные лица!

— Щукин только что познакомил меня с планом. И уполномочил рассказать об этом. Вашими командирами отрядов заготовлены карты районов, где вам предстоит действовать. Запрещается переходить из своего района в другой, в противном случае собранный металлолом будет передан целиком тому отряду, на территории которого он был собран. За выполнение заданий лучшие бойцы и командиры будут награждены.

Зазвучал горн. Захлопали крышки парт. Завьялов побежал вместе со всеми, но я позвала его.

— Павла Васильевна хочет с тобой позаниматься. Он беспомощно поглядел на Лукова.

— Чего ты?

— Вот, — сказал Завьялов. — На дополнительные.

— Нельзя, сегодня должны все, — сказал Луков. — Я тебе приказываю...

Завьялов как-то виновато поглядел на меня, но повторять я не хотела. Он опустил голову и промолчал.

— Эх ты, мямлик, — с сожалением сказал Луков и бросился по коридору догонять класс.

Глава десятая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Я ходил по комнате, обдумывая все, что увидел за последние дни.

Леонид Павлович почему-то не звонил, хотя шел двенадцатый час. Я начинал нервничать, нужно было еще

черт знает сколько успеть до вечера: и побывать в школе на сборе металлолома, и часа в три забрать маму из больницы. Хотелось засветло приехать в Енюковку.

Из окна гостиницы я видел взгрустнувший Вожевск. Крыши домов опять были припудрены снегом; последние дни то таяло, то начинались легкие заморозки.

Я отошел от окна, остановился у натюрморта. Картина больше не раздражала; к любому уродству постепенно привыкаешь.

До конца отпуска оставалось четыре дня — пора было бы начать очерк. Хотелось показать черновик Прохоренко.

Я искал сюжетный ход и вдруг понял, что герой может оказаться вот так же, как я сейчас, перед подобной мазней, и ему придет мысль о маляре и художнике. Это была находка. На моей стене висел реализованный тезис Леонида Павловича.

Я решил использовать картину несколько раз, как движущуюся метафору. Сколько оттенков сразу же почувдилось мне в этом названии! Записанные в последние вечера рассказы Леонида Павловича о школе давали колоссальную пищу для раздумий.

Да и название очерка — «Художник и маляр», — по моему, удачно отражало философскую суть проблемы.

На столе лежал блокнот с моими записями и чистые листы. Если бы знать, что Леонид Павлович задерживается, то можно было бы сесть за работу, но только сосредоточиться — и тебя прервут, зайдет Прохоренко.

Вот и прошел отпуск, думал я. Тяжелый, страшный и одновременно такой удачный месяц! Я вспомнил о рукописи, оставленной в Москве, и почувствовал, что стал безразличен к ней. Нет, нужно все начинать сначала. Не выдумывать несуществующее, а делать только то, что хорошо знаешь, чувствуешь. Я журналист, и мой жанр — очерк, документальная проза. Вот здесь — моя сила.

Я встал у стола, перелистал записанные страницы. Беседы с Леонидом Павловичем, с Шишкиным, с учителями, с ребятами в школе...

Я испытывал настоящее нетерпение: скорее, сейчас сесть за стол.

Школа Прохоренко на первый взгляд ничем не отличалась от других школ. Чуть спокойнее было в коридорах, чуть больше порядка в кабинетах.

Особое впечатление на меня произвел гараж — тут стояло четыре мотоцикла — приобретение школы после трудового лета.

Леонид Павлович объяснил:

— Так захотела дружина. Я не был согласен, но настаивать на другом не стал. Коллектив имеет право принять решение.

Я напомнил Прохоренко о главной, как он говорил, мечте детства — стать гонщиком. По крайней мере тренером гонщиков он мог бы теперь стать.

Леонид Павлович признался:

— Клянусь, Виктор, когда я в роли старшего смотрю, как они гоняют на мотоциклах, то у меня холодеет кровь. Невольно начинаю чувствовать себя их отцом, матерью и бабушкой одновременно.

С ребятами Леонид Павлович держался отлично, выглядел скорее их старшим товарищем, а не педагогом. Перед тем как познакомить меня с несколькими мальчишками «из своих», он рассказал коротко их предысторию:

— Те, что придут, — моя гордость. У каждого в прошлом по несколько приводов в милицию. Зато теперь один из них школьным плебисцитом, как в Риме, выбран председателем совета дружины.

— Щукин? — вспомнил я. — О нем мне рассказывал Вениамин.

— Да, — подтвердил Леонид Павлович. — Перед пионерским лагерем я не очень-то надеялся на него; меня пугали в детской комнате милиции. Сказали: просчитаетесь, этот экземплярчик обработке не поддается.

— На что же вы надеялись?

— На гипертрофированное честолюбие. Обычный психологический расчет. Я рассуждал так: раз уж эти молодцы захватили власть на улице, стали вожаками, то организаторские способности у них есть. Значит, моя задача не очень сложна: направить их энергию в нужное нам русло.

Леонид Павлович порылся в своих бумагах, протянул мне телеграмму председателя колхоза.

— Заработали две тысячи рублей! — ахнул я.

— Да. И, учтите, ребят в лагере было меньше ста человек. В этом году я собираюсь взять вчетверо больше. Он спрятал телеграмму.

— Впрочем, не это, конечно, главное. Теперь мои мальчишки стали полноправными членами здорового коллектива, вот что отрадно.

В дверь постучали. Я с любопытством разглядывал вошедшего мальчика. Маленький, беленький, с некоторой рыжиной. «Подсолнух», — подумал я.

— Петр Луков, — серьезно представил его Леонид Павлович. — Деятельный, энергичный человек, моя опора.

Луков оказался непоседой. Бухнулся в продавленное кресло. Смутился. Вскочил на ноги.

Он еще не сказал ни одного слова, но характер мальчишки был ясен. Он пристально следил за директором, будто бы ждал для себя какого-то важного приказа.

Второй мальчик пришел несколько позже — это был антипод Лукова: высокий, стройный, с голубыми глазами и длинными черными ресницами. Взгляд прямой, неподвижный, холодный, пожалуй. Улыбка сдержанная. Щукин будто бы боялся себя распустить, кривил уголок рта.

Леонид Павлович взглянул на часы, спросил:

— Я вам, надеюсь, не нужен? Ребята смышленные. Все сами расскажут.

Я подождал, когда за ним закроется дверь.

— Вы познакомились с Леонидом Павловичем в пионерском лагере?

Луков хотел ответить, но не решался. Видно, между ними еще существовала уличная негласная субординация.

— Да, — сказал Щукин.

Дверь приоткрылась, и Прохоренко заглянул в кабинет.

— Юра, — обратился он, — я забыл предупредить: Виктор Михайлович — мой друг, будьте с ним откровенны.

Он исчез.

— Можно, я? — Луков поднял руку.

Я рассмеялся от его непосредственности.

— Конечно.

— Мы с ним в милиции познакомились.

— И он вам сразу понравился?

Оба прыснули.

— Очень! Юрка тогда сказал: «Мы у этого хмыря машину разуем. Пусть кузов на плечах носит, полезно для здоровья».

— И разули?

— Нет, — улыбнулся Щукин. — Скорее, он нас разул.

— Расскажите что-нибудь о лагере...

Я боялся спугнуть ребят, не вынимал блокнота.

— Хоть два кило, — согласился Луков. Он взглянул на Щукина.

— Рассказывай, — кивнул тот.

— Про что?

— Про курево, можешь про побег...

— Так это же ты лучше...

— Рассказывай, — повторил тот. Сел поглубже в кресло, сложил руки на груди и с какой-то забавной начальственной невозмутимостью приготовился слушать знакомую лагерную историю.

— Можно, я кое-что запишу? — спросил я их.

— Хоть два кило, — повторил Луков.

Зазвонил телефон. Я снял трубку, думая, что это наконец Леонид Павлович, но на другом конце провода оказалась женщина. Ее голос дребезжал, как у молодых актеров, которым приходится играть стариков.

— Попросите, пожалуйста, корреспондента газеты.

— Да, — удивился я.

— С вами говорит учитель математики Кликина из Второй школы, — представилась она.

Я на всякий случай черкнул фамилию в блокноте.

— Слушаю вас...

Она молчала, а я пытался вспомнить, не была ли она среди тех, с кем меня успел познакомить Прохоренко. Нет, математика я не видел.

— Вы были вчера в нашей школе?

— Да.

Мне не понравился ее тон: какая-то чересчур категоричная, почти прокурорская интонация мало сомневающегося в себе человека. Я старался отвечать предельно благожелательно.

— Мне необходимо встретиться с вами. Думаю, и вам это будет полезно.

— К сожалению, сегодня я уезжаю в район.

— А вернетесь?

— Не раньше среды.

— Хорошо, — сказала она. — Давайте в среду.

Мы назначили место и время. Опыт журналиста подсказывал, что нет ничего ценнее, как встретиться не только со сторонниками своего героя, но и с его противниками. Это придает материалу настоящую остроту и полемичность.

Я ничего не знал о ней, но подумал, что она наверняка из тех, с кем Леонид Павлович вынужден воевать всерьез. Ну что ж интересно понять аргументацию и недругов бесспорного для тебя дела.

Только обидно, если ее аргументы окажутся склокой. Вот, мол, имела тридцать лет безупречного стажа, сотню благодарностей в приказе, а пришел мальчишка и сразу полез в наставники, пытается доказать, что учить нужно иначе.

Опять зазвонил телефон — на этот раз Прохоренко.

— Куда вы пропали? — налетел я на него. — Мы через час обещали быть у мамы. Теперь со школой не выйдет.

Он подтвердил:

— Да, в школу мы уже не успеем. Можно после, когда вернетесь из Енюковки.

У него был очень усталый голос.

— Идите к маме, а я приеду в больницу, как только освобожусь. Это будет часов в пять, в половине шестого.

— Так долго?

— Да, раньше не успеть.

Он подумал и предложил:

— Нет. Лучше я позвоню в отделение и попрошу передать Анне Васильевне, что мы задерживаемся, заедем позже. А вы, если у вас есть дела, занимайтесь ими.

— Можно и так.

— Отлично, — бодрее сказал он. — Я заеду. Ждите.

Он повесил трубку, будто куда-то спешил. Что-то у них там случилось, подумал я.

Стало грустно, что и такой человек, как Леонид Павлович, не может спокойно заниматься своим делом.

Я открыл блокнот и в который раз перечитал самые

интересные свои записи. Материала для очерка было с избытком. Я подумал: если хорошо пройдет первая статья, возьму командировку и приеду вторично. Нужно набрать больше фактов с расчетом на книгу.

Глава одиннадцатая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

На этаже ни души. Школа будто вымерла. Я прошла по коридору — где-то тут в пустом классе занимается Завьялов. Хотела заглянуть, но не решилась: могу помешать.

Против лестницы — доска объявлений. Газета «Пионерская правда». «Молния»: «Все на сбор металлолома!» Самодельная карта Вожевска разделена на районы. Каждому классу — район.

Ищу кварталы, где «воюет» мой седьмой «А». Вот, закрашено зеленым. Каждый день я проходила тут, но ни мастерских, ни заводов не видала. Откуда взяться металлолому?

Вышла на улицу. Пересекла маленький грязный сквер, в центре которого стоят скамейки с выломанными досками. Сыро. Под ногами вода. Она выступает из почвы, обволакивает грязью сапоги, чавкает и хлупает при каждом шаге.

Где-то рядом мои. Повернула налево, заглянула в ближайшие подворотни. Беспокоюсь чего-то. «Да бог с ними, — говорю себе. Но тут же: — И все-таки нужно поглядеть!..»

Задержалась у автомата. Может, позвонить Люсе? А зачем?

Прохожу вдоль деревянного забора, за которым высится опустевший четырехэтажный дом с облупившимися стенами и черными, как после артобстрела, провалами окон. Его недавно поставили на капитальный.

Во дворе что-то ухнуло и зазвенело. Раздался знакомый мальчишеский голос:

— Порядок! Сильнее! Эх, мазины! Толкайте сильнее!..

Это кто-то из наших.

Я вошла в подворотню. Напротив, на горе щебня,

стоял маленький Луков, размахивал руками, командовал. Забавный человечек! Все время в кого-то играет. У меня в Игловке был похожий на него Костя Капитонов.

— Э-эх, мазила-раззява! Каши мало ели. Кидайте же, кидайте!

Заскрежетало железо. Я высунула голову и тут же отступила назад. Прямо надо мной, раскачиваясь, висела газовая плита.

— А ну взяли! Все вместе!

Опять заскрежетало. И плита вместе с листом железа, прикрывавшим подоконник, рухнула, обдирая штукатурку. От грохота у меня заложило уши, и я секунду стояла оглушенная, как после взрыва.

— Давно бы так, — сказал Луков и вытер лоб, словно сам работал. — Забирай, — приказал он кому-то, кто стоял на лестнице, — да поживее!..

Я наконец вышла из укрытия. Луков без всякого удивления поглядел на меня.

— Отойдите, Мария Николаевна, а то испачкают. У нас черная работа.

С тачкой подъехали Иванов и Чижилов, к ним подбежали еще трое. Плита была сплющена от удара о землю, и из нее торчали разможенные железяки.

— Давайте грузите! За ножки, одним махом!..

— Там есть еще плиты? — спросила я.

— Сколько угодно, нам рекорд обеспечен. Считайте сами: дом тридцатидвухквартирный, да еще батареи снимем, если удастся. — Луков рукавом вытер нос. — Ломать вот трудно.

— И много уже успели?

— Ерунда. Всего пока штуки четыре. Но сейчас пойдет веселее, мы теперь знаем, в каком месте бить ломом. — И Луков улыбнулся, как взрослый, удовлетворенный своим значительным делом. — Первый блин всегда комом.

— Я погляжу, что там у вас творится, а ты пока попроси ребят, чтобы не кидали.

Луков подумал и согласился.

— Эй, там, на верхотуре! Перерыв на две минуты. Мария Николаевна хочет подняться.

Я подошла к двери, но Луков вдруг решил:

— Подождите, я с вами.

На первом этаже никаких следов разрушений не было. Зато на третьем и четвертом лежали содранные батареи, снятые бачки от туалетов, вывинченные дверные ручки. Я остановилась надо всем этим потрясенная. Вот чего я боялась! Боялась варварства.

Чего стоили все мои половинчатые предостережения на педсовете? Нужно было смелее говорить с Прохоренко, доказывать. Как теперь исправлять ошибки?

Я снова услышала скрежет железа, и в пролете пятого этажа показалась эмалированная спинка плиты.

— Перестаньте сейчас же ломать! — крикнула я.

— У нас нет времени, — объяснил Луков. — Больше мы ждать не имеем права.

Я сказала как можно тверже:

— Сейчас же собери класс, понял?

Он не ответил, пришлось повторить снова.

— Ладно. Только быстрее. — Засунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. — Прекратите работы, идите сюда, тут Мария Николаевна что-то хочет...

Я ждала, когда соберутся ребята. Перемазанные и вспотевшие, они окружили меня. Я спросила:

— Как вы думаете, что сейчас здесь происходит?

Семидолова удивленно поглядела на меня, не понимая вопроса. Лева Жуков покраснел и, потупившись, ответил:

— Собираем металлолом.

— Это?

Я показала на разбросанные батареи.

— Да.

— Согласна. Но когда это стало металлоломом? Теперь, после того, как вы их сломали.

— Но дом идет на капитальный. Тут все равно привезут другие плиты и батареи.

— Скажи, — я повернулась к Лукову, — когда у тебя разорвется ботинок, ты и брюки выбрасываешь? Ты же носил их одновременно. В доме будут менять полы, возможно, крышу, но плиты! Тридцать две хорошие плиты и сотня батарей — разве они кому-то мешали?

— Но что же теперь делать, Мария Николаевна? — Лена с ужасом поглядела на меня.

— Прекратить...

Это взорвало Лукова.

— Дом идет на капитальный, все равно выбросят. — Он повернулся к мальчикам. — Сейчас же по местам, иначе потеряем рекорд. Мы сегодня учителям не подчинены. А вы, Мария Николаевна, идите к Щукину и с ним говорите.

Ребята стали расходиться. Я видела гордость в их глазах: они были довольны своим командиром. Не каждый сможет так сказать учителю. Я закричала:

— Сейчас же прекратите работы! Я запрещаю вам, поняли?

Все повернулись не ко мне, а к Лукову.

— Как это запрещаете? Вы нам не начальник. Идите в штаб и там договаривайтесь. По местам и за работу! — крикнул Луков. — Иначе будете иметь дело со штабом.

Я осталась одна. Сверху опять доносились глухие удары — видно, ребята сбивали чугунные батареи. Нужно было спешить.

Первый телефон-автомат проглотил две копейки, на втором трубка была срезана, теперь до школы оставалось не больше квартала. Нужно немедленно привести сюда Прохоренко. Это убедительнее всех моих возражений.

Пробежали с веселым гиканьем восьмиклассники. Весь отряд был впряжен в тачку, на которой громоздился железный бак для мусора. Рослый Мальцев, их председатель, стоял на нем и размахивал кнутом, подгонял бегущих.

— Мария Николаевна, садитесь! — крикнул он. — Такси сработано еще рабами Рима!

Я спешила. Отчего так все вышло?

Прохоренко сделал ставку на честолюбие, жажду власти — на худшее, что было в ребячьих главарях.

Я опять думала об Игловке, о наших военных играх. Как увлекались ребята! И бои были, и разведка. За десять километров проникали в тыл противника, доставляли любые сведения.

Я невольно вспомнила такой случай. Как-то ранним утром влетел ко мне Андрей Андреевич: проснулся, а его участок, почти двенадцать соток земли, вспахан и засажен картошкой.

— Это возмутительно! — кричит. — Было решено помогать фронтовикам, инвалидам и пенсионерам.

— А вы, — спрашиваю, — разве не подходите по этим пунктам?

Он так саданул дверью, что чашки зазвенели.

Да, мы играли, думала я, но, кроме игры, было и другое, наше «Игловское бюро добрых услуг». постоянная помощь людям... Прав был Бобров, когда говорил о Гайдаре...

Не раздеваясь, я вошла в канцелярию, но меня не пропустили.

— Подождите, Мария Николаевна, — попросила секретарша, — у Леонида Павловича инспектор.

Я взмолилась:

— Но хотя бы предупредите, что я здесь. Дело не терпит.

Она пожала плечами, но все же встала и скрылась за дверью директорского кабинета.

— Просил подождать, — сказала она сухо, села и тут же стала печатать на машинке.

Я ходила из угла в угол, стояла у окна, разглядывала с болью, как подъезжают один за другим «добытки» из разных классов. Подвезли сломанные плиты, сгрузили.

Двое, раскрасневшиеся от работы, волокли чугунную крышку от люка. Они то тянули ее по земле, то поднимали и несколько шагов пробегали по двору, а затем бросали, изнемогая.

Минут через пять Прохоренко вышел из кабинета и извинился:

— Простите, Мария Николаевна, — сказал он. — Мы не могли прерваться. Но что случилось?

Я волновалась.

— Леонид Павлович, — без обиняков начала я, — нужно срочно остановить ребят.

— То есть?

Он хмурился.

— На Ленинградской. Они орудуют в доме, который поставлен на капитальный.

Его возмутило это слово — орудуют.

— Трудятся, хотите сказать вы?

— Разве это труд?! Они ломают газовые плиты, батареи, краны, тащат мусорные баки. Взгляните в окно — те двое только что приволокли крышку от люка...

Прохоренко метнул взгляд на инспектора.

— Не будем пороть горячку, — совершенно спокойно и тихо, будто бы пытался успокоить меня, больную, попросил он. — Думаю, все не так страшно. Вот, Вера Федоровна, типичный пример демагогического подхода к делу. Штаб готовил операцию, серьезно ее продумал. Мы рассчитывали, что работа дружины окажется большой помощью строителям. Я не поехал туда специально. У меня нет оснований не доверять ребятам

— Но взгляните, как они действуют! Только ломать, рушить, и ни одной мысли, что это может еще пригодиться кому-то...

— Конечно, надо посмотреть, но я убежден, что вы преувеличиваете, как обычно

Я могла понять желание Прохоренко все сгладить, но теперь, мне казалось, не до дипломатии. Нужно было действовать, а не говорить комплименты друг другу. Тем более что многое еще можно исправить.

— Вы сколько еще будете здесь заняты, Вера Федоровна?

— Минут пятнадцать, а потом и я бы с вами подъехала...

— Прекрасно. Тогда я попрошу вас, Мария Никс-лаевна, подождать немного в учительской или в своем классе...

Я поднялась и нерешительно пошла к двери, все еще опасаясь, что выезд затянется.

— Да не волнуйтесь вы, дорогой мой учитель, все окажется в полном порядке.

...В коридоре я столкнулась с Павлой Васильевной Кликиной. Она шла в сторону восьмого класса и, заметив меня, остановилась

— Попробовала дать Завьялову легонькую контрольную. Если решит, так и быть, поставлю ему в четверти тройку. — Смерила меня взглядом и спросила: — А вы что — заболели?

— Нет, здорова.

— А ведь самое забавное, что еще утром думала выставить ему двойку, а вот начиталась его стихов и размякла... — Она погрозила мне пальцем. — Ну и хитрющая вы, голубчик. Знали, чем разжалобить старуху. Талантлив, очень талантлив. Мы с ним о многом уже гово-

рили. — Она улыбнулась. — Про стихи я ему сказала, но не беспокойтесь, он принял с полным доверием.

— А тетрадь?

— Вернула.

Мы разошлись, но не успела я дойти до учительской, как Кликина позвала меня.

— Вы это можете объяснить? — сказала она, стоя у раскрытых дверей своего класса.

Я подошла. Парты были сдвинуты. Окна распахнуты настежь. В классе гуляла стужа.

— Один бы он такого не натворил, — буркнула Кликина.

Я поглядела на нее с ужасом, но она опустила глаза. Я подумала, что она о чем-то догадывается, но боится произнести это вслух.

На полу валялся портфель Завьялова. Сквозняк перебирал грязные листы затоптанных тетрадей. Одиноким листик подлетел к моим ногам. Я взяла бумажку. «Шла замученная, шла усталая, шла по улице лошадь старая...»

Я повернулась и бросилась по коридору.

Шукинский штаб находился в физкультурном зале. Я сбежала вниз. Дверь оказалась запертой.

Я постучала — мне не ответили. Я с силой потрясла дверь. И опять молчание.

— Нет, вы откроете, — повторяла я, с ожесточением налегая на дверь. Если бы у меня хватило сил, я бы сняла ее с петель.

А может, они в другом месте? Может, на чердаке? Нужно куда-то бежать, искать их. Но тут я улавливаю шепот... Я даже узнаю Щукина. Нет, я все же заставляю их открыть дверь. Заставлю. И сил у меня достаточно.

Я так дергаю, что дверь выгибается дугой. Только теперь там держат. Тогда из всех сил я быю каблуками. Гул и грохот сотрясают воздух школы.

— Откройте!

— Что вам нужно?

— Откройте сейчас же...

И задвижка щелкает.

Шагаю через порог. Стена. Живая стена. На лицах решимость. Нет, они ни за что не пропустят меня дальше.

И тогда я иду на них. Я наступаю на эту живую стену и прохожу сквозь нее.

Они сзади. А я в пустом зале. Беспомощно оглядываю брусья, маты, коней — все как обычно. Фанерный лист у стены. Может, там? Шагаю туда и спиной чувствую, какой напряженной становится тишина.

Откидываю лист фанеры и вздрагиваю. Завьялов сидит у шведской стенки, прижимается к ней и затравленно глядит на меня.

Мы смотрим друг на друга, и я не знаю, что сказать.

— Вставай, вставай, — протягиваю ему руку.

Но он не встает. Я не могу ничего понять. Я сажусь на корточки и тогда замечаю, что руки его связаны.

— Они тебя били?

Молчит.

— Вы его били? — кричу. — Били?

Стучит в висках.

И тут я вижу на его голове выстриженную лесенку, от самого лба и до макушки. Гады, гады!

Я должна быть злой и жестокой, такой же, как они, а я веду себя худо. Встала, как первоклассница, и размазываю слезы. Я ненавижу себя за это,

— Чуть-чуть постригли, — улыбается Шукин. — И то, Мария Николаевна, не сразу, а когда он стал плевать. Понимаете, школа работает, все как один, а он не выполняет решения нашего штаба. Тогда трибунал приговорил... Нет, нет, мы его не трогали, что вы... Мы ему почитали, чтобы не было скучно с нами сидеть.

— Что — почитали?

— Стихи. Стихи, Мария Николаевна. Понимаете, Сушкин — это же, оказывается, он сам. Вот в чем дело.

Шукин берет из рук приятеля блокнотик, хорошо знакомый мне блокнотик, и начинает листать его.

— Тут много, — объясняет он. — И главное, хорошенькие стишки. Мы же теперь понимаем, какие стишки хорошие, а какие — нет.

Завьялов так сжал веки, что морщинки образовались на его лице. Я шагнула к Шукину и вырвала стихи.

— Зачем же так грубо, Мария Николаевна?

Я развернулась и ударила Шукина по щеке. Его глаза округлились, и он несколько секунд с недоумением смотрел на меня.

— Вы за это ответите! — дрогнувшим голосом выкрикнул он.

— Возможно. Но никогда не пожалею.

Мне стало легче. Я приказала ему:

— А теперь развяжи.

Он оглянулся на всех, но они молчали. Тогда Щукин пошел к Завьялову. Присел. Дернул за веревку. Я увидела красные полосы на руках.

— Идем, — сказала я.

— Тут еще стихи...

Щукин торопливо поднял несколько листов и протянул мне. Я забрала их и бросилась по коридору за Сергеем.

— Подожди...

Он провел рукой по голове, будто убеждаясь, что случившееся с ним — правда, и вдруг крикнул:

— Ну что вы хотите? Что? Добились? Это же вы все устроили! Вы!

Он кинулся к двери, я — следом. Он бежал большими прыжками, высоко поднимая ноги, точно боялся, что его схватят.

Его необходимо было догнать. Но надо предупредить Прохоренко.

Я рванула дверь и оказалась в кабинете

— Щукин с друзьями линчевали Завьялова.

— Линчевали?

— Да, остригли, связали руки...

— Успокойтесь, — попросил Прохоренко, — Вера Федоровна бог знает что вообразит о нашей школе. Вначале — погром. Хорошо решили съездить на стройку, поглядеть вместе. Теперь — линч. Да вы подумайте, что говорите. — Он обратился к инспектору: — Извините, пойду взгляну. Идемте, Мария Николаевна, идемте.

Он открыл дверь, посторонился и пропустил меня вперед. Остановился у кабинета физики, отпер дверь ключом и попросил:

— Зайдемте...

Я вошла — он повернул ключ, в упор поглядел на меня.

— Что вы хотите?

Я не поняла.

— Вы ненавидите нас с Люсей, за добро ненавидите, которое мы сделали для вас. Есть такие: за тепло — злобой, за ласку — гадостью. Вы не можете нам простить свою

неустроенность, вас все раздражает, и вы ищете повода, чтобы нас испачкать.

Я молчала.

— Какое вам дело до газовых плит, до бачков от туалета, до этого Завьялова, в конце концов? Вы только играете в принципиальность, а на самом деле все много проще. От вашей принципиальности, простите, не тем пахнет. Мы сделали для вас все. Вынули из дыры, достали квартиру, поселили у себя дома. И что же?

Я сказала:

— Откройте!

— Не волнуйтесь, я выпущу вас, — сказал он спокойнее. — Но запомните одно: вы зря надеетесь помешать моему делу, Я добьюсь своего, чего бы мне это ни стоило.

Он распахнул дверь, я бросилась к выходу.

Школьный двор бугрился от металлолома. Лежали батареи, ванны, плиты, замысловатые механизмы, трубы. Казалось, все городское железо, нужное и ненужное, валялось здесь. А к школе волокни и волокни трофеи. Я больше не могла думать об этом, я спешила. Перед последним поворотом моя тревога стала такой острой, что я побежала. Выскочила из-под арки и остановилась: перед флигелем Завьяловых стояла «скорая помощь». Я ухватилась рукой за штакетник и больше не могла сделать ни шага.

Двое фельдшеров вынесли носилки и вкатили их в кузов. Хлопнула дверца. И тогда я закричала, замахала руками. Но было поздно. «Скорая» с воем промчалась мимо.

Я поплелась к флигелю. Дверь была открыта. На крыльце толпились соседи, я отыскала глазами Фросю и бросилась к ней.

— Что с Сережей?

— Отравился...

Я закрыла глаза, чувствуя, что у меня подкашиваются ноги.

— Да не пугайтесь. Сказали, что не опасно, все будет, сказали, в порядке. Хватил уксусу стакан. Хорошо, что вовремя увидела. Зашла, а он не дышит..

Я повернулась и тут увидела Шуру. Она бежала без пальто, простоволосая, с безумными глазами.

- Живой? — выкрикнула она.
- Живой, сказали — не опасно.

Шура поглядела удивленно на Фросю, потом узнала меня. И с плачем ткнулась в мое плечо.

Глава двенадцатая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Прохоренко больше не звонил. Я сходил пообедать, потом без всякого дела долго бродил по комнате.

Из больницы позвонила мама. Я поговорил с ней и решил сесть за работу.

Приход Леонида Павловича застал меня за столом.

Прохоренко спешил, казался необычно нервным, говорил торопливо, отрывисто, даже — мне показалось — избегал прямого взгляда.

Я спросил, уж не случилось ли у них чего с Люсей. Он удивился.

— Нет. Все прекрасно. Просто сегодня очень тяжелый день.

Я собрал бумаги, положил в портфель.

У администратора никого не было. Я расплатился за номер, поглядел, нет ли писем на мое имя, — оказалась открытка от Риты. Сунул ее в карман — прочесть можно будет потом.

По дороге я опять невольно подумал, что Леонид Павлович чем-то встревожен. Машину он вел плохо, то и дело переключал скорости. У светофора просто рассвирепел — ему показалось, что слишком долго не дают зеленый.

— Да, — неожиданно спросил он, — я видел в вашем блокноте фамилию Кликиной. Не ошибся?

— Звонила незадолго до вашего прихода. Просила аудиенции.

— И вы согласились?

— Когда вернусь...

— Предупреждаю, — сказал Прохоренко. — Это злобная старуха. У вас останется неприятный осадок. Я бы на вашем месте отказался от этой встречи. Впрочем, как хотите. Боюсь, что вы поймете меня превратно...

— Слушайте, Леонид Павлович, — сказал я, — неужели вы думаете, что меня так просто переубедить? Разве я не встречал склочниц? А потом... — Я почувствовал, что сейчас его нужно как-то успокоить. — Я еще не знаю, пойду ли. Может, и действительно нет необходимости с ней встречаться, тем более что очерк почти написан.

— Ну вот и приехали, — сказал Леонид Павлович. Он открыл мою дверцу. — Не торопите Анну Васильевну. — И уже вдогонку крикнул: — Привет Калиновскому!

...Мама была одета, ждала меня в приемном покое. Она поправилась, как будто даже помолодела, румянец появился на ее щеках. Такой возбужденно-счастливой я ее просто не помнил. Она говорила без умолку, обращалась то ко мне, то к Прохоренко. Весь мир она любила сегодня, и когда вспомнила о Рите, то сказала, что очень хотела бы ее увидеть.

— Что-то у вас не так, Виктор, — сетовала она. — Вот приеду, разберусь, да и выпорю вас обоих, чтобы дружно жили.

Я вспомнил об открытке, и мама сразу же вцепилась в нее, стала читать вслух.

Рита, как всегда, писала по-деловому. Просила, когда вернусь в Москву, позвонить ее шефу, что она выйдет на неделю позже: в Сочи у нее был грипп, теперь она хочет до конца использовать свой отпуск.

Единственно, чего не хватало в письме, — это вопроса о маме. Я сразу заметил, какими неподвижно-сосредоточенными и грустными стали ее глаза.

— А помнишь, Витя, — неожиданно спросила мама, — у тебя была замечательная девушка в институте? Маша. Она мне так нравилась! Ах, какой это был милый человек, Леонид Павлович, если бы вы знали! Прямая, немного резкая, но честная до вреда себе, есть такие натуры. Я ей во всем верила. Как-то по-женски чувствовала, что такая не обманет. — Мама мечтательно улыбнулась. — Я тогда чуть ли не молилась, чтобы ты женился на ней.

Я повернулся к Прохоренко.

— Леонид Павлович, вы говорили, что Струженцова в Вожевске?

Он не ответил.

— Что было, то было, мама, — сказал я. — А человек она действительно редкий. Только в юности мы мало что видим.

— Нет, — не успокаивалась мама, — тебе нужно с ней встретиться. Ну хотя бы перед отъездом. Не знаешь, она замужем?

— Кажется, нет.

— Значит, и у нее не сложилось, — вздохнула мама.

Только мерный шум мотора нарушал наступившую тишину. Прохоренко неотрывно глядел вперед, — я видел, как напряженно его руки сжимают руль. Каждый думал о своем. Мама кивала каким-то своим мыслям, а я снова, в который раз, думал о нас с Машей. Да, могло бы выстроиться все в жизни иначе, могло бы! Прошное настигало меня, никогда, как бы я ни старался уйти от него, не оставляло совсем.

Встретиться, думал я. А зачем? Глупо ворошить старое, у каждого из нас своя жизнь...

Я решил перевести разговор на другую тему и предложил прочесть кусочек из очерка. Дорога была хорошей, и машина шла ровно.

— Правда, — сказал я, — это не в моих правилах. Я никогда не читаю незаконченных вещей. Боюсь сглазить.

— Витька, да ты суеверный! — Мама засмеялась. — А ну читай. Я хочу знать, что ты написал про Леонида Павловича.

Ей не терпелось сделать что-то особенно приятное для Прохоренко.

Я достал листы. Маме нравилось все, что я успел написать. Леонид Павлович долго молчал даже после того, как я закончил.

— Вы не представляете, Анна Васильевна, — как-то беспомощно пожаловался он маме, — сколько у меня недоброжелателей.

— А вот напечатают Витин очерк, — пообещала она, — и все сразу стихнут. Да еще извиняться приползут.

Я рассмеялся, крепко обнял маму и поцеловал. Какое счастье, подумал я, что мы едем назад в Енюковку, что все страшное позади.

— По секрету, мама, — шепотом сказал ей, — это

только первый шаг. Я мечтаю написать о Леониде Павловиче книгу.

Она обрадованно всплеснула руками:

— Неужели?

— Клянусь! — торжественно произнес я.

Глава тринадцатая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Суббота оказалась такой длинной, что превратилась в бесконечность. Неужели все случилось сегодня? И история с Сережей? И разговор с Прохоренко? И то, что сказал доктор...

Я бродила по комнате, перебирала книги, сметала пыль с полок, а сама мысленно возвращалась к одному и тому же.

Мы стояли в детской больнице, в приемном покое, и старались не мешать сестрам. Проходили врачи в халатах, брали истории болезни, шутили, предлагали друг другу завтрак, наливали горячую воду из титана и исчезали, оставляя за собой запах эфира. Ни меня, ни Шуры, ни Прохоренко они будто не замечали. Но я знала: когда Сереже станет лучше, они скажут.

Прохоренко сидел согнувшись, локти упирались в колени. Со мной он старался не встречаться взглядом. Иногда он поднимался и уходил куда-то по коридору. Шура вздрагивала и тревожным взглядом провожала его, пока дверь за ним не закрывалась.

Возвращался Прохоренко такой же мрачный — видно, ничего утешительного там не говорили.

Появился врач, почти юноша, в халате, надетом на голое тело, с закатанными рукавами, с папиросой во рту, которую он жевал и, перед тем как сказать слово, перегонял ее из одного угла рта в другой.

— Вот что, мамаша, — сказал он Шуре. Мы встали. — Думаю, обойдется. Теперь мы за него отвечаем.

Шура заплакала.

— Ну будет, будет, — сказал он сухо.

— Идемте, Александра Михайловна, — обратился Леонид Павлович к Шуре. — Я хотел поговорить с вами.

Шура нерешительно поглядела на меня.

— Может, вы тоже?

— Нет, — обрезал Прохоренко.

— Тогда до завтра, Мария Николаевна, — и она протянула мне руку.

Я осталась. Врач подошел к барьеру, за которым сидели сестры, и заговорил с ними.

— Простите, доктор, . . . можно быть спокойной?

— Спокойной? — он резко повернулся. — За себя?

Я почти бежала к дому, там хоть ждал меня Вовка. Только разве ему расскажешь? В Вожевске не было Андрея Андреевича, никого здесь у меня не было. . .

Завьялов лежал на больничной койке бледный, с круглой остриженной головой. Устало, не по-детски глядел на меня.

Сестра принесла лекарство, сказала, что пришел еще посетитель.

Я подумала, что это, наверное, Леонид Павлович, хотела выйти. Дверь приоткрылась, и в палату вошел Прохоренко.

Он поздоровался с больным, пожал руку Шуре, кивнул мне, шепотом спросил:

— Ну как? Лучше? — и пристроился на краю кровати.

— Принимай подарки.

Положил пакет. Яблоки выкатились, одно упало на пол. Леонид Павлович поднял его, отложил в сторону.

— Это придется вымыть, а остальные чистые. — Потом поставил банку компота, — Он любит? — спросил у Шуры.

— Любит, спасибо.

— Ну вот, — сказал Прохоренко. — Давай поздороваемся для начала.

Мне показалось, что Сережа стал бледнее. Он испуганно смотрел на директора.

— Здравствуйте. . .

— Э, нет, — весело перебил его Леонид Павлович. Размахнулся, но не ударил, а мягко опустил ладонь на ладонь Сергея: — Кто же так здоровается, братец-кролик?

Он повернулся ко мне.

— Помните, Мария Николаевна, у Новикова-Прибоя, кажется, был офицер, которого называли «пять холодных сосисок» за то, что он вяло подавал руку? Нет, я бы не хотел, чтобы к тебе прилипло такое имя.

Сережа молчал.

— Ладно, — мирно сказал Прохоренко, — я пошутил, не обижайся. Я понимаю, тебе худо. И нам с Марией Николаевной нехорошо, честное слово. И дело не в том, что кого-то накажут, — меня убило, что все это случилось в нашей школе... — Он махнул рукой. — Ну, не будем. Разговор грустный, давай о чем-нибудь другом. — И повернулся ко мне: — Мария Николаевна, мы завтра поговорим с учителями. А ты, Сережа, собери все силы. Как только окрепнешь, подошлем к тебе педагогов. Я уже поговорил с главным, он обещал предоставить свой кабинет для занятий.

— Это хорошо, — сказала я.

— Ну, — он погладил Завьялова по голове, — будем заниматься?

— Будем, — сказала Шура, так и не дождавшись ответа сына.

— По поводу ребят не волнуйся. Это я беру на себя. Никто тебя больше не обидит. А прически у всего седьмого «А» с сегодняшнего дня — под ноль, как у настоящих солдат.

В уголках Сережиных глаз набежали слезы, он прикусил губу.

— Отставить! — сказал Прохоренко. — Нужно быть мужчиной. Договорились? Я не хочу, чтобы тебя называли «трагическая личность».

Он рассмеялся и объяснил больным мальчишкам, которые молча за ним наблюдали:

— Я в армию попал чуть ли не таким, как он. Немного постарше. После десятого класса. В сорок четвертом. И вот у нас во взводе появился солдат, которого старшина прозвал «трагическая личность». Сапогов фамилия. Понимаешь, — сказал он Сереже, — с ним постоянно что-то случалось. Дрова колет — по коленке тюкнет, воротничок пришивает — уколется. И вот, представь, в один день, не скажу чтобы в прекрасный, мы оказались на заминированном болоте. И кому-то нужно было идти первому, чтобы провести за собой взвод, а остальные могли бы тогда по его следам двигаться. Построил

нас командир и спрашивает: «Есть добровольцы?» — «Есть», — говорит Сапогов и делает не шаг, а два сразу. Командир поглядел на него недовольно, покачал головой. «Тебе, говорит, Сапогов, нельзя ни в коем разе. Ты, говорит, Сапогов, не то что на минном поле, ты всюду можешь взорваться». — «Нет, клянется Сапогов, не взорвусь».

Рыжий мальчик, чья кровать стояла у окна, рассмеялся. Прохоренко громко поддержал его. Он делал вид, что не замечает мрачности Завьялова.

— Ну, я пойду, пожалуй, — сказал он.

— А что же Сапогов? — сразу спросил рыжий. Он вылез из-под одеяла и с открытым ртом слушал Леонида Павловича.

— Ага, интересно! — воскликнул Прохоренко, поворачиваясь к рыжему. — И вот, представь, болото метров чегыреста — пятьсот, всюду мины, а Сапогов идет спокойно, оглядывается иногда да улыбается. И, знаешь, вывел.

Я подумала, что в уме и ловкости Прохоренко не откажешь. Он ни разу не взглянул на меня, чувствовал, что я слишком хорошо его понимаю.

— А знаешь, отчего я про Сапогова вспомнил?

Прохоренко опять поглядел на Сережу, ласково хлопал его по руке.

— Отчего? — моментально спросил рыжий.

— Да потому, что Сапогов очень на Сережу похож. — Он вздохнул. — Сила духа в нем была поразительная.

— А он жив, Сапогов-то? — опять встрял рыжий.

— Жив, — сказал Прохоренко. — Герой Советского Союза.

Он всем кивнул и вышел, больше не поглядев на Сергея.

Ребята о чем-то зашептались, а мы с Шурой молча сидели на кровати.

— Ну что, Сережа, притих? — сказала я, преодолевая какую-то неловкость.

— Думаю.

— О чем?

— Да так... — И вдруг он поднял на меня глаза, полные слез. — Я не верю ему, Мария Николаевна. Это неправда все с Сапоговым, это он выдумал...

— Да что ты, Сереженька! — испуганно заговорила Шура. — Разве можно такое, он ведь директор.

— Это он все нарочно... — всхлипнул Сережа. — Не верю я ему, не верю...

В учительской уже знали о случившемся. И все же не успела я войти, как на меня набросились с распросами.

Павла Васильевна стояла в стороне, хмурилась. И вдруг я почувствовала, что мой голос зазвучал слишком громко, будто через усилитель, а на лицах появилось выражение непричастности. Я обернулась. В дверях стоял Прохоренко. Он направился ко мне.

— Мария Николаевна, у вас, кажется, пять уроков?

— Да.

— Тогда давайте сразу же после пятого соберемся у меня. Позже я уеду. В гороно вызывают. — Он отыскал глазами пионервожатую, сказал ей: — И вы, Галя, обязательно. Еще Шукин, Луков, весь совет дружины.

Прохоренко коротко поглядел на Кликину, вздохнул.

— С Завьяловым худо вышло. Очень худо. Правда, врачи уверяют, что все обойдется, да я и сам его видел в больнице, выздоравливает как будто, а все же неприятно...

Зазвенел звонок. Учителя стали расходиться по классам. Я взяла журнал, хотела идти, но Кликина отозвала меня:

— Что будет дальше с Завьяловым?

Я ответила уклончиво:

— Прохоренко обещал организовать занятия в больнице.

— Предположим. А дальше?

Я не ответила.

— Неужели вам еще не ясно, что мальчишку нужно перевести в другую школу?

— Но отметки! Он так отстал, а теперь отстанет еще больше...

Она смерила меня холодным взглядом.

— Понятно, голубчик. Только на что же мы-то с вами?

Уроки тянулись. Я старалась давать ребятам больше самостоятельных работ, чтобы у меня была возможность все обдумать. Сидела за столом, смотрела в окно, слушала, как скрипят парты.

А погода на улице опять никуда — хмарь. Деревья голые, сиротливые, будто заброшенные.

Конец пятого урока еле дождалась — было непонятно, что решил Прохоренко. А когда прозвенел звонок, ко мне подошла мама Лены Стрельчиковой, пришлось немного задержаться.

В кабинете Леонида Павловича собрался совет дружины, учителя и пионервожатая.

Щукин стоял у окна красный, губы сомкнуты, на скулах нервные желваки, — видно, разговор шел серьезный.

Прохоренко взглянул на меня неодобрительно.

— У Щукина будет возможность снова заслужить доверие дружины, но пока... Впрочем, пускай Юра ответит нам, считает ли он себя правым?

— Не считаю, — буркнул Щукин.

— Ах, не считаешь! — воскликнул Леонид Павлович и обвел всех глазами. — А ты думаешь, мне не больно говорить тебе это? Да понимаешь ли ты, как я и вся школа радовались твоим успехам, гордились, если хочешь, тобою? Мы же доверили тебе полтысячи человек! — Он устало добавил: — Иди. Подумай.

Прохоренко опустил голову, ждал, когда все оставят его кабинет.

Я тоже поднялась, но Леонид Павлович сделал быстрый жест рукой.

— Нет, вы останьтесь.

Он так и не взглянул на меня, сидел, уперев локти в стекло письменного стола, ладонями сжимал виски.

Я придвинула кресло. На школьном дворе тарахтели машины, убирали сваленный в субботу металлолом.

Прохоренко встал, дошел до окна, повернулся.

— Ну, — спросил он резко, — что теперь прикажете делать?

Я хорошо помнила субботний разговор с ним, сказала:

— Теперь остается только исправлять ошибки.

— Да, придется исправлять, — согласился он и прошелся по кабинету. — Давайте, Мария Николаевна, подытожим ваш опыт работы. Чего вы добились за полтора месяца? — Он загнул палец. — Завьялов, ученик вашего класса, пытается кончить жизнь самоубийством.

Может быть, вы в этом не виноваты? Но тогда скажите, кто все время говорил о какой-то его исключительности? Кто внушал ему — вольно или невольно, что он, Завьялов, жертва? — Он покачал головой, будто не хотел заранее определять характер фактов. — Вы, Мария Николаевна, только вы. Но это не все. Вы умудрились восстановить самую активную часть класса против себя. Именно чтобы насолить вам — вот мое мнение, — они пошли на крайнюю меру с Завьяловым. Так что и здесь вы главный виновник. И, наконец, вы ударили ученика. Это уже уголовно наказуемое преступление.

Он замолчал, ожидая моей реакции, но я молчала.

— Совершенно ясно, — сказал он, — что вы не только не сможете работать в нашей школе, но и не имеете на это права.

Я безразлично поглядела на него.

— Вам остается одно — подавайте заявление об уходе.

— Вот уж не смогу вас обрадовать...

Он удивился.

— Тогда я уволю вас приказом. Неужели вы не видите, что причин для этого больше чем достаточно?

— Увольняйте, — сказала я, — но и я попробую объяснить положение в школе так, как я его понимаю.

— Ради бога! Я, правда, мало верю в ваш успех, но если вас даже захотят восстановить, я сопротивляться не стану. Пожалуйста, возвращайтесь. — Он сощурился и с явным презрением бросил: — Но вы придете ко мне в другом качестве, уволенная. И тогда, Мария Николаевна, соотношение сил станет иным. Подумайте, каково вам будет работать.

Я поднялась и пошла к выходу. Он, видимо, ждал другой реакции, хотел увидеть мою растерянность, слабость.

Скрипнул стул.

— Стойте! Еще не все. Я должен внести полную ясность, чтобы больше к этому не возвращаться.

Он жестом пригласил меня приблизиться. Подождал, но я так и осталась около двери.

— Я об этом не хотел говорить, но вынужден. — Он развел руками. — Недавно я и моя жена были буквально потрясены. Мать Завьялова, ссылаясь на вас, предложила нам взятку.

Он помолчал, видно наслаждаясь моей растерянностью.

— Да, она рассказала, что вы одеваетесь с ее помощью, заводите темные отношения с продавцами, отсюда и такое участие к их детям...

Он подошел ко мне почти вплотную.

— Мало того, что вы сами оказались бесчестной, но и нас попытались запачкать. У меня двадцать лет педагогического стажа. Я работал на селе, в институте, здесь, в школе, и никогда, запомните, никогда даже в мыслях не допускал такой безнравственности!

Голос Прохоренко звенел, а я с ужасом глядела на человека, который совсем недавно казался мне воплощением порядочности и доброты. Наконец я нащупала за спиной ручку двери и выбежала из кабинета.

Глава четырнадцатая

ВИКТОР ЛАВРОВ

В Вожевск я решил вернуться не в среду, как обещал Кликиной, а в следующий вторник. Мама была совершенно беспомощна после операции — ни поднять тяжелого, ни воды принести. Я должен был провести у нее несколько последних дней своего отпуска.

Из сельсовета я позвонил в справочную Вожевска, и меня легко соединили с квартирой Кликиной. Подошел ее муж, я попросил его передать, что встреча откладывается.

— Во вторник, в том же садике, в двенадцать дня, — сказал я.

Он, наверное, взглянул в расписание жены и подтвердил, что такое время для нее возможно.

Потом я набрал номер Прохоренко. И Люся, и Леонид Павлович обрадовались звонку, оба они горячо уговаривали меня не спешить в город, подольше побыть с мамой.

Очерк я заканчивал, оставалось только уточнить детали да стилистически доработать отдельные куски.

В последние два дня мне уже совершенно нечего было делать в деревне. Я слонялся из угла в угол, не мог найти для себя работы. Перечитал очерк. И, пожалуй,

из-за скверного настроения материал показался мне хуже — какой-то сахарный гимн вожевскому учителю. Леонид Павлович в моем рассказе как-то уж очень легко и красиво поднимался по воспитательским ступеням. Это была скорее прогулка к вершинам славы, а не путь труженика. Здесь нет глубины, анализа, думал я, нет остроты и трудностей.

Стало досадно за свою легкомысленную работу. Вспомнилась московская рукопись, заключение рецензента. Неужели я не преодолею в себе эту скоропись и несерьезность?

Я опять вспомнил о Кликиной. Конечно, как журналист я не имел права пренебрегать такой встречей. Все, буквально все можно обернуть на пользу очерку, а значит, и Леониду Павловичу.

Утром во вторник мама, как прежде, поднялась чуть свет, и в доме снова запахло яблоками и пирогами.

Я мысленно прощался с домом, бросил взгляд на старую фотографию над письменным столом: я ли тот мальчик, стриженный «под ноль», прижимающий к груди учебник «Родная речь» для третьего класса?

Автобус уже мчал меня в Вожевск, а я все еще не мог забыть расстроенного лица мамы, дядьку с поднятой рукой — застыл на дороге, забыл опустить. Так мы с ним и не поговорили толком о жизни: не хватило времени.

Остался позади енюковский лес. Скрылась деревня.

Обычная дорожная тоска охватила меня. Я старался не вспоминать о доме, глядел в окно. Осень кончалась. На оставшихся редких листьях придорожных деревьев появилась ржавчина. Снег, успевший уже дважды выпасть в октябре, местами не таял, будто бы сообщая, что зима началась.

В сквере никого не оказалось. Я поглядел на часы: свидание с Кликиной было назначено на двенадцать, а я не рассчитал и приехал в половине первого.

Уходить из сада не хотелось: кто знает, может, учительница пошла погреться или тоже опоздала.

Я сел на скамейку, достал блокнот с записями моих бесед с Леонидом Павловичем и стал соображать, нельзя ли выкроить материал для второго очерка.

Чье-то тяжелое, болезненное дыхание заставило меня поднять голову. Передо мной стояла высокая, широкоплечая пожилая женщина, возраст которой угадать было невоз-

можно. Она кого-то напоминала. Только позже по требовательному, жесткому выражению ее глаз я понял — Кликина похожа на тех старых учителей, с которыми приходится встречаться каждому за долгие годы учебы.

— Лавров? — спросила она.

Я встал и сдержанно поклонился.

Кликина поглядела на часы.

— Должна сказать, что больше всего не люблю в людях необязательность. Вы заставили ждать себя сорок минут.

— Автобусное расписание... — извинился я.

— Автобусное расписание есть на каждой остановке, и вы могли бы его посмотреть заранее.

Теперь я увидел второго подошедшего к нам человека. Это был седой, относительно моложавый мужчина, с лицом красным, в рубцах, — такие лица я видел у горевших танкистов. Он молча подал мне руку.

— Вы приехали в Вожевск, чтобы написать о Прохоренко? — напрямую спросил он.

— Да. Хотя я приехал домой, в отпуск, и только в Вожевске услышал о вашем эксперименте.

— С кем же, кроме Прохоренко, вы успели поговорить?

— Со многими. С учителями, с ребятами, с инспектором горно, теперь вот с вами.

Я коротко засмеялся, но они продолжали хмуро глядеть на меня.

— Ну, с нами, положим, вы еще не говорили, — сказал мужчина.

— Я вас не познакомила, — перебила Кликина. — Константинов, секретарь школьного партбюро. Себя я называла по телефону.

— Очень рад, — сказал я искренне: было бы плохо, если бы я не встретился с ними. Позицию Константинова мне необходимо было знать. — А вы неуловимы! — сказал я. — Работаете в двух школах. Каждый раз, когда я спрашивал о вас, мне объясняли, что вы у соседей.

— Не так уж он неуловим, если бы вы действительно захотели его увидеть, — сказала Кликина.

— Ладно, — махнул рукой Константинов. — В конце концов, дело не во мне. Вы знаете, что вчера была уволена из школы учительница литературы?

— Нет, — признался я. — Мне и не могло быть это

известно, потому что в прошлую субботу вечером я уехал в деревню.

— Вечером. Значит, вы могли уже знать о том, что произошло во время сбора металлолома?

— Что же случилось?

— Мы говорим о самоубийстве ученика нашей школы Завьялова.

— О самоубийстве?!

— О попытке к самоубийству.

— Ну, это не одно и то же!

Прохоренко, черт побери, мог бы мне сам рассказать обо всем этом, когда мы еще ехали в Енюковку. Теперь любая их информация заставляла меня врасплох.

— А про историю с фронтовыми письмами вам, надеюсь, успели рассказать? — спросил Константинов. — О судилище, которое устроил Прохоренко над ребенком?

— Вы, кажется, сгущаете краски.

Кликина махнула рукой.

— В эти дни мы написали письма одновременно в гороно и в горком, — сказал Константинов. — Полагаю, вам не мешало бы с ними ознакомиться... Даже если очерк о Прохоренко уже написан.

Кликина поднялась, затянула платок на шее, положила ладони на грудь, точно пыталась согреться. Вздохнула — ее астматическое дыхание стало надсаднее.

— А о том, каким способом Прохоренко поставил во главе дружины Шукина, вам известно?

— Да, вполне демократически, — улыбнулся я. — Путем плебисцита, как в Древнем Риме.

— С той разницей, что был публично унижен ребенок, бывший председатель совета дружины, тихая девочка, которая не устраивала Прохоренко.

— Я вижу, вы по-своему толкуете каждое его действие, но, может быть, нужно не мешать, а помогать директору? Ведь он пытается осуществить нелегкую задачу. И одному, согласитесь, воспитать сильный, здоровый коллектив непросто, особенно без вашей поддержки.

Кликина прошила меня взглядом.

— Коллектива в школе нет.

— Это Прохоренко говорит, что воспитывает коллектив, — спокойнее сказал Константинов. — У коллектива другие законы.

— Зачем же так? — остановил я его. — Давайте по-

пытаемся сохранить хотя бы минимальную объективность.

— Я как-то очень надеялась, что рано или поздно придет настоящий, честный журналист, который захочет глубоко во всем разобраться. Да, в руках мастера-педагога коллектив — это, конечно же, могучее средство воспитания каждой личности, но в руках холодного ремесленника... Да, да, — с силой повторила она, чувствуя мое несогласие, — в руках ремесленника это сеть, которую дети сами набрасывают на себя.

— Детский коллектив может быть бесконечно жесток... — сказал Константинов. — Коллектив может стать орудием подавления личности. Прохоренко бьет в бубен, гремит, а некоторым нравится — вон как громко у него выходит, громче, чем у других. Но сколько пользы от такой громкости — кому разобраться?

Я слушал их обоих и думал, что Леонид Павлович, которого я узнал и полюбил, которому был так благодарен за добро и чуткость, и тот человек, жестокий директор-автократ, о котором пытались рассказать эти люди, были непримиримыми врагами.

Да, Завьялов попытался отравиться. Но почему ответственность за это должен нести директор школы? Уж если кто и виноват, то классный руководитель.

Потом я нащупал еще одну неточность, неувязку в рассказе Кликиной о фронтовых письмах. Прохоренко позвал, не испугался позвать в школу председателя вожевского исполкома, ветерана войны, орденосца. Как все не укладывалось в их одномерные рамки!

— А Жуков в каком классе? — поинтересовался я.

— В седьмом.

— В том же, что и Завьялов?

— Да.

— И этих фактов, вы считаете, недостаточно, чтобы уволить воспитателя?

Кликина тяжело дышала, тянула вверх плечи, и Константинов забеспокоился.

— Пойдемте, — сказал он, снимая свой шарф и протягивая ей. — Вы совсем замерзли. Как можно с астмой!

Она почти вырвала шарф из его рук и накинула ему на плечи.

— Тогда пойдемте отсюда, — попросил Константинов. — Хотя бы к автобусу.

Я предложил зайти в райком, но она вдруг сказала: — Я прошу вас встретиться...

Она не могла произнести фразу до конца, задыхалась.

Константинов жестом показал, что понял ее, и договорил сам.

— Если ваша цель — составить объективную картину, то, прошу, не пишите пока, не торопитесь, поviдайте уволенную Марию Николаевну Струженцову.

Вот уж чего ожидать я просто не мог! Кажется, я даже пригнул голову, будто в меня метнули камнем. Неужели Маша? Как же так? И почему молчал Прохоренко? Наверно, она со своей излишней прямолинейностью не смогла разобраться...

Константинов продиктовал Машин адрес. Ручка вдруг перестала писать, я скреб пером по бумаге, рвал листок, что-то у меня едва прописалось.

— Запомню, — сказал я, а сам вдруг подумал, что совсем сбился, не могу взять себя в руки.

Почему Машу, спрашивал я себя. Почему?

Я задыхался от быстрой ходьбы, от бега, от боли, черт знает от чего я задыхался. Так в детстве, бывало, дерешься, думаешь — победа близка, и вдруг противник бьет тебя кулаком под дых. Ты даже не чувствуешь удара. Живот слегка подается назад и прилипает на долю секунды к позвоночнику. Стоишь удивленный, улыбаешься дурацкой извиняющейся улыбкой и ловишь ртом воздух.

Я шел по Вожевску, старался выглядеть как можно более беззаботным, а сам не мог понять: почему Леонид Павлович и Люся не рассказывали о Маше?

Я даже не знал, что она работает у Прохоренко. Правда, может, виноват я сам. Ведь я просил не возвращаться к этой теме.

«А вдруг, — подумал я, — Константинов и Кликина правы?»

Мне стало зябко.

«Спокойнее, — говорил я себе, — спокойнее. Ты должен во всем разобраться. Еще не поздно».

Но я же видел школу, видел великолепную организацию. Кому же верить: себе или им? В конце концов, газету интересуеt не мелкий конфликт, а совсем другое. Проблема. Педагогические и философские взгляды Прохоренко. Постановка принципиальных вопросов.

Я петлял по переулкам, боялся остановиться. Принимал то одно решение, то другое.

Внезапно я подумал, что нужно взять билет на поезд и скорее уехать.

...Окошко кассы оказалось закрытым. Я постучал. Кассирша в цветастом платье открыла заслонку, молча уставилась на меня.

Я протянул деньги.

— До Москвы.

— На какой?

Я растерялся.

— А какие ходят?

— Архангельский — ежедневно, свердловский — по четным. Значит, завтра.

— На свердловский.

Глава пятнадцатая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

«Дорогой Андрей Андреевич!

Вот уже неделя, как я написала письмо, а ответа нет. Если бы вы знали, как мне нужно получить от вас весточку, услышать разумное ваше слово. Пыталась заказать Игловку по телефону, но была повреждена линия.

О своем увольнении писала. Уволена за то, против чего сама же боролась.

Иногда испытываю такое чувство, будто оглохла от возникшей тишины. Несколько дней назад приходил ко мне Константинов. Разговор был деловой, спокойный. Думали, как быть дальше. Я рассказала все.

О «системе Прохоренко» он говорит уничтожающе.

Вчера нас вместе с Константиновым пригласили в горком партии. Завотделом, немолодой уже человек, выслушал меня молча и, только когда Константинов напомнил ему о приехавшем в Вожевск корреспонденте, спокойно сказал: «Об этом не беспокойтесь. Всегда можно попросить газету разобраться глубже».

Сережа Завьялов все еще в больнице, не-

ожиданное осложнение: аспирационная пневмония. Каждый день бываем у него с моей Кликиной. Если устроюсь в другую школу, заберу Сережу с собой.

Как-то произошел у нас с ним вот такой любопытный разговор.

— Кем бы ты хотел стать? — спросила его. Он смутился.

— Ты мог бы стать хорошим учителем.

— Это так трудно... Я не сумею, — сказал он.

Не скрою, я радовалась этому. Значит, мальчик чувствует ту огромную нравственную и моральную высоту, какой требует от человека наша с вами профессия.

Ну, хватит. Расфилософовалась.

Как там Игловка?

Напишите о здоровье.

Ваша Маша.

Да, забыла о самом главном!

Вчера к вечеру возвращаюсь из овощного с картошкой, а впереди — подросток. Я вначале не обратила на него внимания, потом вижу: оглядывается, но шагу не прибавляет, даже вроде бы медленнее идет. И вдруг узнала: Шукин!

Он остановился, опустил голову, подождал, пока подойду. Опять пошел.

Я окликнула.

— Помоги, — говорю, — донести. Все руки оборвала.

Взял сумку, понес.

Идем молча, и ничего мне путного в голову не лезет, не знаю, что сказать. И тут я подумала: может, он не случайно возле моего дома?

— Ко мне шел? — спрашиваю напрямик.

— Нет, — но не убежденно.

Помолчали.

— Мама пишет?

— Редко.

— Довольна жизнью на Севере?

— Вроде бы ничего.

— Тебя вызвать к себе не решила?

— Не знаю.

— А ты... ты бы хотел к ней? Поехал бы?

— Иногда, думаю, поехал бы...

И так мне его внезапно жалко стало, Андрей Андреевич! Такую я в нем почувствовала глубоко затаенную боль и обиду, настоящую тоску по материнской доброте, по ласке. Обняла бы, прижала бы этого хулигана к себе и заревела бы, как глупая баба. Да нельзя, спугнешь еще, дурака, сразу.

Дошли до дому. Он мне авоську протягивает.

— Занеси уж, — прошу.

Заставила его раздеться.

— Чаю, — говорю, — сейчас вскипячу, попьем вместе.

Стала его куртку вешать, а вешалка оборвана. Принесла иголку, пришила, а он не глядит на меня. Потом засуетился как-то.

— Спешу, — говорит и хочет одеваться.

И вдруг спрашивает:

— А вас из-за меня уволили?

— Да.

И опять пауза.

— Ну ладно, — бормочет. — Пойду. До свидания.

— До свидания, — говорю. — А ты мне не дашь мамин адрес?

Остановился в дверях:

— Зачем?

— Я бы ей написала о тебе, о бабушке... Мне кажется, маме пора бы приехать.

— Не знаю, — сказал шепотом. — Не знаю, Мария Николаевна.

Он, кажется, впервые назвал мое имя. Со всем незнакомый мне парень, таким я его не видала.

— Ну, запишите...

Я принесла карандаш. Он продиктовал адрес.

— Спасибо, — говорю. — Заходи в любое время. Я всегда тебе рада. Придешь?

— Может быть.

— Буду ждать.

Он поднял воротник и через ступеньку бросился вниз по лестнице.

Я подошла к окну. Смотрю, мчится от моего дома как сумасшедший. Не оглянулся ни разу.

И знаете, Андрей Андреевич, я тогда подумала, — нет, не улыбайтесь, пожалуйста! — что полтора моих месяца в этой школе все-таки оказались небезразличными для ребят.

Обнимаю. Пишите.

Маша».

Я перечитала письмо и подумала, что не могла сообщить о самом существенном для себя: о приезде в Воронеж Виктора Лаврова. Неужели, думала я со страхом, Виктор снова нанесет мне самый сильный удар?..

Запечатываю конверт. Одеваюсь. Иду на улицу.

Времени полно, поэтому лучше отнести письмо прямо на почту.

В почтовом ящике только газета, писем нет. И все же шарю по дну, на что-то надеюсь.

И вдруг — стоп. открытка!

С трудом вытаскиваю, вглядываюсь — такой знакомый, родной мелкий почерк.

«Дорогая Маша, здравствуй!»

Поднимаюсь к свету, теперь легче читать.

«Ты когда-то писала, что нашла у Корчака объяснение слова «доброта». Это когда тебе понятно, что думает другой.

А вот я, читая твое письмо, вдруг решил, что этого для настоящей доброты мало. Ну и что, если я все понимаю и пытаюсь объяснить всех: и Прохоренко, и Люсю, и других их Шишкина? Но ведь на твоих глазах, Маша, больше месяца процветала жестокость, культ силы, демагогия.

Нет, доброта — это не только когда понимаешь другого, но когда ты можешь противостоять злу.

Твой

Андрей Андреевич

Игловка».

С вокзала я пошел в гостиницу и получил, к удивлению, прежний номер. Поднялся на шестой этаж, поздоровался с коридорной, пошутил, что вернулся в свою квартиру. В номере все было неизменным. На меня глядел знакомый «Букет сирени». И я невольно подумал, что я раньше времени впал в панику. Нужно срочно поговорить с Прохоренко. А уж потом — в райком и в роно.

Обедал я в гостиничном ресторане, и когда вышел, то оказалось — мне некуда деться. Идти к Прохоренко было рановато, да и нервы стоило привести в порядок.

Я прослонулся по улице, потом купил билет в кино и просидел еще два с половиной часа. Сначала думалось о своем, но в конце концов фильм меня захватил.

К прохоренковскому дому я подошел в девять. Люся обрадовалась, побежала на кухню разогревать ужин.

— А мы ждали тебя завтра! — крикнула она.

— Да я и хотел завтра. А утром проснулся, походил по дому, и такая навалилась тошнота, что решил поехать.

— Во сколько же ты вернулся?

— В двенадцать.

— В двенадцать? — переспросила она с тревогой. — Где же ты был столько времени? Леонид мне сказал, что тебя искала Кликина, математичка из его школы. Уж не с ней ли ты встречался?

— С ней. И с Константиновым.

Только теперь я заметил, как побледнела Люся. Ее губы кривились; она как будто боялась, что произнесет что-то резкое и неосторожное.

— Надеюсь, вы понравились друг другу? — спросила она с нервным смехом. — Жаль, что нет Леонида: он бы послушал, — Люся забарабанила пальцами по плите.

Я положил ладонь на ее локоть, но она резко отстранилась.

— Какие же у них факты?

— Много.

— И все же?

— Ну, — я пожал плечами, — про того ребенка, что отравился...

— Ах, вот что, — кивнула Люся. — Завьялов — ребенок! Можешь поглядеть на это юное дарование. Это они,

они... скооперировались вместе, потому что ненавидят Леонида, не могут простить ему своих же провалов.

Люся сказала «они», и я невольно подумал, что она имеет в виду Машу.

— Кстати, — сказала она с вызовом, точно хотела меня обидеть, — можешь сходить к мамаше Завьялова, поглядеть на этот экземплярчик. Наверняка понравится ей Она, говорят, коллекционирует приезжих!

Я слушал все это с недоумением.

— А эта Кликина, — говорила Люся, — и та, вторая, твоя бывшая Магдалина, дрянь и ханжа, неудачница, озлобленная на весь мир, она же с первого дня своего приезда не могла нам простить доброты, которую мы к ней проявили. Ты еще не был у Шишкина? Сходи. Полюбуйся бумажкой, почитай, что они там нагородили.

— Зачем ты так волнуешься? Успокойся.

— Нет уж, позволь сказать. Это Леонид не хотел перед тобой защищаться. Он, видишь ли, гордый. А я нет. Я скажу все. Тебе, конечно, передали историю с фронтовыми письмами?

Я подтвердил.

— Леонид собирался рассказать тебе об этом, но я попросила: пускай Виктор сам вначале посмотрит школу. Если бы он хотел скрыть от тебя этот случай, то он скрыл бы его и от города. А он мало того что не скрыл, но позвал Боброва, председателя исполкома, конечно во вред себе, и провел сбор. Он мне рассказывал об этом сборе, и у меня слезы стояли в глазах. А вот они, эти гады, и тут захотели подставить ему ножку! Мы, видишь ли, чудовища, а они — жертвы! Вот ты скажи, Виктор, тебе хоть раз в жизни пришлось видеть сильного администратора, которого все бы любили? Нет. В том-то и дело. Неужели после первого же разговора с Леонидом ты не понял, что у него обязательно должны быть враги?

— Люся, — сказал я ей, — ты уже наговорила с избытком, и все попусту.

Она удивленно поглядела на меня. Я воспользовался секундой.

— Одно мне действительно непонятно: почему была уволена Мария?

В ее взгляде мелькнула тревога, потом глаза стали холодными.

— Ах, так ты и у нее был?

— Да какая разница! — сказал я. — Был, не был.

— Понимаю, — рассмеялась Люся. — Ты убежден, что она святая. И мои слова режут твой слух.

Мне стало страшно, и я подумал, что сейчас что-то ужасное выльется на меня.

— Тогда чего же ты ее бросил? — спросила она. — Вот была бы отличная пара! Благородный идалго, правда не совсем классик, а чуть похуже. И его Дульсинея, мученица Мария по совместительству.

Это меня разозлило.

— Видишь ли, — нарочно тихо и спокойно сказал я. — Одно мне необходимо: я обязан знать все, о чем пишу. Давай прекратим перепалку. Придет Леонид, и мы во всем разберемся сами.

— Без меня, — сказала она с усмешкой. — Нет уж. Я тоже кое-что знаю, чего же прятаться в кусты.

Она смерила меня презрительным взглядом.

— Ты-то мне понятен. Хочешь быть честным. Да?

— Выпей ты валерьянки! Успокойся!

— Оставь! Если хочешь знать, когда ты уехал в деревню и Леонид сказал, что тебя ищут, я сразу же заявила: осторожно, Леня! У Витьки рыло в пуху. А это значит, что сегодня он за тебя, завтра — против. Достоинства определенного рода женщин. Тебе никто не говорил, что у тебя женский характер?

— Слушай, — сказал я, еле сдерживаясь, — говори, да не заговаривайся!

Я кажется недооценил Люську. Я думал, она никакая, но это была личность! И укусить могла как нужно.

Вот так так! Началось с шутки, а кончилось рубкой.

Я пошел к вешалке, но она загородила мне дорогу.

— Он уходит, — сказала она скорее удивленно, чем с возмущением. — Ай-яй-яй, Витя! Нельзя так, некрасиво. Давай перейдем к главному вопросу. Ты обиделся, оскорбился даже, что тебя погладили против шерсти. Тогда ответь мне, отчего ты оставил Машу?

— Разлюбил, — сказал я, страдая оттого, что мне приходится продолжать этот разговор

— Понятно. А главное — просто. Разлюбил и ушел. Предположим. Но позже, через полгода, ты даже не поинтересовался, как прошли ее роды?

Я посмотрел на Люсю. Она продолжала улыбаться и даже что-то сказала, но я ничего не слышал.

А может, это неправда? И в ту же секунду я сказал себе: правда.

Значит, скрыла?

Значит, у меня ребенок?!

Сын или дочь?

И сколько ему — десятый? Да, десятый.

Мысли текли еле-еле.

А я-то считал, что чист перед нею, плохо она меня не должна помнить. Как можно о юности помнить плохо?

И еще я подумал, что в моей жизни были женщины, умные и глупые, одинокие и отчаявшиеся. К одним я бывал совершенно безразличен, легко встречался и легко расходился, другие нравились мне больше, но и они исчезали, я забывал их совершенно: лицо, голос, манеры. Иногда сам удивлялся, что в памяти ничего не оставалось. Потом была Рита. Встретились два человека, помыкались семь лет друг возле друга, остались совершенно чужими.

Но Машу я не забывал. Все, что касалось ее, жило во мне и будто бы ждало своей минуты. Вот она, серьезная и еще чужая, на одной из первых лекций, а я так стараюсь обратить на себя ее взгляд. Вот она, неестественно возбужденная, бледная, с расширенными зрачками, у того дерева на берегу Прокши.

Так вот как все было! А я ничего не видел. Теперь-то понятна цена тому безразличию, с которым она заявила, что меня не любит.

Люся стояла в дверях и с испугом ждала, что я сделаю дальше. Видимо, мое лицо ее поразило. Наши глаза встретились. И тогда я внезапно подумал, что не должен, не имею права покидать этот дом, пока не узнаю всего. Пусть расскажет. .

Я шагнул к ней, схватил за плечи.

— Говори!

Она отшатнулась. Но тут недобрая улыбка пробежала по ее губам.

— Знаю, что ты считаешь себя честным, в то время как бесчестный Леонид постоянно посылал в деревню посылки, учебники для ребят ее школы, уговаривал ее приехать в Вожевск. Он с невероятным трудом добился для нее квартиры, взял к себе на работу, а о твоём сыне заботился так, будто это был его собственный ребенок, вот что я знаю. Кто же из вас честнее и лучше?

— У меня сын? — я все еще не мог до конца в это поверить.

— Ты его не видел, когда был у Струженцовой? — сказала Люся. — Пойди, познакомься. Бедный мальчик! Он даже не подозревает, какой великий человек его отец.

— Но я не был у Маши! — крикнул я Люсе. — Я же говорю, что видел только Кликину и Константинова, и они сказали, что в понедельник была уволена Струженцова.

На этот раз Люся, кажется, в чем-то усомнилась.

— Пойдем поговорим, — сказал я тихо. — Хочу во всем разобраться.

Я повернулся и пошел в комнату. Сел. Люся напротив. Я обвел глазами столовую, увидел в буфете бутылку водки и почувствовал, что нестерпимо хочу выпить.

Она проследила за мной взглядом. Поняла. Поставила на стол бутылку, потом стаканы: мне и себе.

Горлышко ударилось о край стакана, зазвенело. Было противно, что у меня дрожат руки.

«Сын. Сын, — повторял я про себя. — Как же? И почему я не знал?»

Люся сидела не шелохнувшись.

Я, наверное, выглядел очень жалким и суетливым, несколько раз передвинул бутылку, потом поднял стакан и прикоснулся к ее стакану. Водка болтнулась и шлепком выплеснулась на стол.

— Давай за сына.

Я выпил. Люся пригубила, и тут же ее передернуло, она вытерла слезы.

Я налил еще полстакана.

— Выпей, — попросил ее. — Ты мне должна рассказать все, что знаешь.

Я не мог взять себя в руки. Даже водка не помогала. Новость была похлеще водки.

— Расскажи, — просил я. — Ну говори же...

Она молчала, думала о чем-то своем.

— Ты не против Леонида?

— Конечно. Как я могу быть против?

— Но он же просил тебя не встречаться с Кликиной. Зачем ты пошел?

— Я журналист. Это было бы только на руку противникам Леонида. Вот, мол, даже не поговорил с нами...

— Витька, — она вцепилась в мою руку. — Прости,

Витька, — в ее глазах появился ужас. — А я, я так подло... Я была уверена, что ты против! Что я наделала, Витька! Если бы ты знал, как я люблю Леонида... Ты поймешь меня. Ты хороший. Я не должна была тебе говорить. Я же одна знала, от кого у Маши сын. Но я подумала: теперь она и сама скажет. Прости!

А я не слушал ее. Вернее, слушал, но как-то издалека.

Окно прыгало перед глазами, стол ходил ходуном, и я, кажется, тупел от одной мысли, что где-то рядом живет мой сын. Все повторяется в мире, бормотал я, но тот хоть оставил тесак за печкой... А я — я ничего не оставил сыну.

— Витя, Витя, — она потрясла мою руку.

— Нет, Люся, — сказал я наконец. — Я на тебя не обижен. Я благодарен тебе.

Я поднялся, стал надевать пальто.

— Куда ты? — кричала она, но я уже не оглядывался.

Какое-то время я то брел, то бежал по вожевским улицам. Была одна мысль: у меня есть сын!

Слезы текли по моим щекам.

— Как все обернулось, — бормотал я, возвращаясь все к той же мысли. — Был тесак за печкой. Была мама. Был я. Один. Отца не было. А теперь и у него, сына моего, нет отца.

Я обвел глазами пустынную улицу и несколько раз повторил вслух:

— У меня есть сын...

Сплю беспокойно, преследуют кошмары. Видится, будто Люся и Леонид Павлович стоят посреди моей московской квартиры.

Потом вижу, что бегу по улице. Мимо кирпичной церкви. Мимо деревушки. Мимо соснового бора. И вдруг начинаю исчезать. Я такой невесомый, что самого себя жалко. А ко мне спешит человек. На нем моя одежда. Как мы похожи! Встаю на цыпочки, чтобы достать до его плеча, но это не удается. Человек не замечает моих усилий, смотрит вдаль. И я кричу ему:

«Сын! Сын!»

Я вскакиваю с кровати. Рубашка липнет к телу. Вытираюсь простыней и все же не могу прийти в себя после кошмара.

Холодная вода льется на голову, и у меня начинают стучать зубы.

...В буфете никого. Командированные разошлись. Пью кофе, думаю, как увидеть сына.

Слово звучит уже не так непривычно, как раньше. Я произношу его по-разному, мысленно перекаत्याю каждую букву, будто это моя находка.

Есть два варианта.

Первый — поговорить с Машей. Но захочет ли она?

Другой — подойти к дому и ждать: вдруг выйдет мальчик. Вдруг выйдет мой сын. Я должен взглянуть на него.

Как хорошо, что решение принято.

Насколько проще живется сильным, несомневающимся людям. Они не мучаются, а сразу находят целесообразный вариант.

Выхожу на улицу. Если бы я так хорошо не знал Машу, не представлял бы того, что она скажет, то, конечно, пошел бы к ней. Проклятая принципиальность! Ну что выиграла ты в жизни от своей принципиальности? Враг лучшим друзьям, враг себе, враг сыну! Это ты, ты оставила его без отца!

А может, явиться в дом и сказать: «Мария, я все знаю».

И это через десять лет! А где я был раньше?

Нет, она не станет говорить со мной о сыне, не станет. А потом эта история с Прохоренко... Кто прав? Кто же прав?!

Я пошел к Машиному дому, так и не зная, как быть дальше. И опять то принимал решение зайти к ней, то думал, что это глупо.

Холодный, пронзительный ветер словно подгонял меня в спину. Я поднял воротник, засунул руки поглубже в карманы и решил ни о чем не думать. Будь что будет!

На перекрестке стоял слепой, стучал полосатой палкой по тротуару. Я взял его под руку, перевел через дорогу, а потом еще немного проводил вперед.

— Спасибо, хороший человек, — сказал слепой.

Я не ответил.

Потом я долго стоял возле какого-то магазина, разглядывал витрину. Нельзя же явиться к сыну с пустыми руками.

Магазин оказался небольшим, полки были буквально

завалены товаром — от костюмов до приемников и детских игрушек. Что же купить?

Я долго глядел на игры, но ничего не мог выбрать. Тогда я встал у прилавка с фотоаппаратами.

Я поискал глазами продавщицу. Она стояла у окна, правее, разговаривала с женщиной.

И вдруг я узнал Машу. Она почти не изменилась. Рыжеватая прядь выбивалась из-под берета. Большие, чуть раскосые глаза иногда поглядывали на мальчишку — он нетерпеливо переминался рядом. Сын!

Я повернулся и, как зачумленный, бросился к двери. Несколько минут я никак не мог прийти в себя.

Как быть? Что я должен теперь делать? Подойти к ней и сказать как ни в чем не бывало: «Здравствуй!»

Вот если бы сын вышел! Один. Я бы подошел к нему хоть на секунду.

И мальчик вышел. Он выбежал на крыльцо и запрыгал по ступенькам. Схватил камень, бросил его.

— Как тебя зовут, мальчик?

Другой камень вывалился у него из рук, и он испуганно поглядел на меня.

И тогда я узнал свою старую фотокарточку. Я с учебником «Родная речь» для третьего класса. Щурюсь перед светом мощной лампы, как вот он сейчас от солнца.

— Вова...

— Хорошее имя.

Я пугаюсь, потому что хлопают двери, и иду через дорожку. А мальчик уже что-то объясняет Маше. Они уходят.

Мне нестерпимо хочется закричать: «Вовка!» И, когда он обернется, сказать: «Я твой отец!» Он побежит мне навстречу, раскинет руки, повиснет на шее — так стремительно и безудержно, как могут только дети.

Я мысленно тискаю его тельце, целую щеки и ощущаю их нежную упругость.

Давит сердце, и я думаю о том, что меня ни разу еще не целовали дети.

А сын идет с Машей, хохочет. Нас разделяют каких-то пять-шесть метров, и я надеюсь, что они обернутся. Но тщетно! Они исчезают за дверью дома.

И тут я вспоминаю, как в сорок третьем, голодном, мне доверили отнести пайку хлеба бабушке. Я очень хотел есть. Нес хлеб и плакал.

Я вернулся в гостиницу совсем разбитым. Против моих дверей сидели Леонид Павлович и Люся. Я изда- лека кивнул им и, пока снимал со щитка ключ, видел повернутое ко мне напряженно-ожидающее Люсино лицо.

Я подошел. Она виновато улыбнулась.

— Уезжаешь?

— Да, рога трубят.

Я открыл номер и пропустил их вперед. Мы сели: я на кровать, привалился спиной к стене; они — на стул и кресло. Молчание длилось не больше минуты, но показало- ся, что прошел час. Люся продолжала улыбаться. Улыбка будто бы примерзла к ее лицу.

— Вы хотели спросить меня о чем-то после разговора с Кликиной? — без обиняков сказал Леонид Павлович.

— Да.

Он устало и почти безразлично стал излагать историю с Завьяловым, все, что случилось с мальчишкой в пионер- лагере, о его срывах и побегах и о том, как он, Леонид Павлович, летом ездил к мамаше Завьялова, чтобы воз- вратить парня в лагерь.

О Жукове Леонид Павлович рассказывал с грустью, даже с чувством собственной вины.

Я поглядел на Прохоренко и понял: он ждал от меня самого трудного вопроса. Но я не спрашивал.

Мы поговорили о маме. Нарастала неловкость.

Леонид Павлович оперся руками о подлокотники кресла. встал.

— Виктор, — торопливо сказала Люся, — прости за вчерашнее.

— Что ты! В конце концов, я должен быть тебе бла- годарен. Вот уезжаю богатым. Отец девятилетнего сына.

Леонид Павлович не дал мне договорить, порывисто обнял, притянул к себе, как мальчишку.

— Понимаю, Виктор. Вам непросто. Но и я бы не хотел и малейшей неясности между нами. Поверьте, нам было трудно порвать с Марией. Я хочу обещать вам... — И хотя эта фраза, как мне показалось, звучала странно, он повторил ее: — Я хочу обещать вам, Виктор, что мы не оставим вашего сына. Я сделаю все, чтобы вы могли его видеть, и если вы захотите быть ему полезным, то я добьюсь, чтобы мальчик знал об отце. Мы ваши друзья.

Я проводил их до лифта, вернулся в номер. Я не мог и не хотел ни о чем больше думать. Я будто окаменел,

сидел неподвижно и смотрел в одну точку. Как я устал, как безумно устал за эти два дня!

Зазвонил телефон, но у меня не было сил снять трубку. Звонки продолжались.

— Ты что? Уезжаешь?

Это был Шишкин.

— Я внизу. Можно?

Он, вероятно, поднимался пешком. Глаза блестели, он часто дышал.

— Чего ты вдруг надумал? — спросил Шишкин. — А очерк? Написал? Или потом, в Москве?

Я сказал безразлично:

— Написал.

— Дашь взглянуть?

— Нет.

Он понимающе улыбнулся.

— Как хочешь. Это же, говорят, редакционная тайна. Я не ответил. Он ходил по комнате и то останавливался за моей спиной, то подходил к окну.

— Очерк нужен, очень нужен, Витя. Ты просто спасешь Леонида и его дело. Скрывать не буду, в школе поднялся жуткий шухер. Столько завистников, злопыхателей, каждый так и лезет, пытается насолить.

Он обхватил меня сзади за плечи, сказал:

— Спешу, Витя, спешу, дорогой, как мы спешили, чтобы помочь тебе с мамой. . .

Я вздрогнул. Да, да, я их должник. И вдруг подумал, что ведь именно Вениамин увольнял Машу.

Он присел на краешек письменного стола и теперь болтал ногами, как беззаботный мальчик.

— Веня, — попросил я, — расскажи, за что вы уволили Струженцову?

Он даже глазом не моргнул.

— Но она же страшная сволочь! — сказал он так, будто бы похвалил ее. — Подумай, Леонид и я, мы вызволили ее из деревни, добились для нее отдельной квартиры, устроили на работу. Прошло меньше месяца, как она уже стала гадить Леониду. Ты даже не представляешь, до какой низости она дошла!

— Странно, — сказал я. — Мария, я же ее прекрасно помню, была человеком кристальным.

Шишкин развел руками.

— Десять лет, Витя, десять лет прошло! Вот тебе

пример, как могут изменить человека время и неудачи в личной жизни. Одна. В деревне. Ребенок невесть откуда. А Люська — матрона, счастливый человек. Больше всего раздражают людей неудачи.

— Ну а учительница она как, хорошая?

— Тут боюсь наврать. Учительница она вроде неплохая и, может быть, даже хорошая, но какой прок от хорошей учительницы, если она стерва? Я в этом деле полностью понимаю Леонида: пусть лучше двух слов не вяжет, да свой человек.

Я впрямую спросил:

— Может, мне нужно было бы встретиться со Струженцовой, а?

— Ни в коем случае! — крикнул Шишкин. — Это только запутает тебя. Она же ни перед чем не остановится.

— Странно ты рассуждаешь, — сказал я. — Ведь если мы полностью правы, то что может мне доказать Струженцова?

— Мы правы, — прервал Шишкин. — Но ведь факты... — Он засмеялся. — Их можно поворачивать и так, и этак.

Мне было муторно от его объяснений.

— Ладно, — сказал Шишкин. — Нужно идти.

Он протянул мне руку.

— Счастливого доехать, Витя. — Задержал мою ладонь, спросил: — А ты что, видел уже ее?

— Видел, но не говорил. Шла с сыном.

— С Вовкой, — кивнул он. — Хороший мальчик. И привязался к Леониду. Сам понимаешь, растет без отца. К мужчинам тянется.

— Да, — сказал я. — Без отца, это точно!

Венька засмеялся каким-то своим мыслям и припрыгивающей походкой пошел к дверям.

Он накинул пальто, повязал шарф. И мне нестерпимо захотелось сказать ему правду. Сказать и посмотреть, как он будет вести себя дальше.

Он крикнул от дверей:

— Ждем газетку! Интересно, что у тебя выйдет.

Открыл дверь, помахал мне рукой. И тогда я сказал:

— А ты знаешь, кто отец этого Вовки?

Венька буквально ввалился в номер, в глазах его сверкало горячее любопытство.

— Я.

И не стал глядеть на него. Поднялся, взял электробриту, положил в чемодан. Потом собрал все, что оставалось в ванной: зубную щетку, мыло, грязные рубашки. Вениамин продолжал молча топтаться.

— Пока, — сказал я. — Кланяйся Варваре.

Он отступил и тихо прикрыл дверь. Шагов его я не слышал. Очевидно, он все еще стоял в коридоре. Я подумал, что он сейчас вернется, и отошел к окну.

— Виктор, — открыв дверь, сказал Вениамин хриплым испуганным голосом, — а Прохоренки об этом знают?

— Знают.

— Надо же, — сказал Шишкин. — И что ты теперь хочешь предпринять?

«Вот оно! Неужели, — подумал я, — на этом кончается их принципиальность?»

— Меня подвели, — сокрушенно сказал Шишкин. — Сами знали, а мне ни слова. Выходит, я один виноват, что ее уволили, да?

Я опять промолчал.

— Ну, что зависит от меня, я исправлю, — сказал Шишкин. — На работу пойдет со следующей недели. Как ты смотришь, если она начнет в другой школе? Учительница она мировая. ••

Я пытался запомнить все, что охватывал глазом: вокзал, длинный и красный, как цепочка товарных вагонов. Дежурную с флажком; она стояла лицом к вокзалу и будто давала ему направление

«С чем же я уезжаю?» — в который раз спрашивал я себя.

Перешел железнодорожный путь и поднялся на вторую платформу: сюда, сказали, придет свердловский.

А может, прав Венька: истина делится на части? И тогда существует правда Прохоренко и правда Струженцовой?

Да, думал я, можно скрыться от соседей, от самых близких друзей, но нельзя спрятаться от себя, как бы ты ни ловчил.

Я опять вспомнил лицо сына и фотокарточку с «Родной речью» над своим стареньким письменным столом

А если уже тогда, девять лет назад, Маша чувство-

вала, что без меня ей будет легче воспитать честного человека? Мне стало страшно и холодно от такой мысли.

Загудел паровоз. Проводница моего вагона свернула флажок, сунула его за пазуху, стала закрывать двери.

Иди, сказал я себе. Еще не поздно. Еще успеешь...

Вагоны медленно поплыли мимо. Паровоз снова гудел; он чухал и отдувался, будто бы радовался тому, что один его пассажир так и остался на вокзале.

На площади стояли автобусы. Я подумал, что лучше пройти пешком, и тут же побежал на посадку.

С задней площадки я перебрался на переднюю, встал рядом с водителем и на первой же остановке вышел.

Я невольно повторял адрес Маши. Сын, сын, думал я, а сам спрашивал себя, как объяснить ей свое молчание, мое исчезновение на девять лет?

...Дом, где жила Маша, был каменный, новый. Я подошел к парадной. Не остановился. Словно боясь передумать, бегом поднялся по лестнице.

Что я скажу ей?

Как оглушенный, я стал шарить по двери и не услышал звонка. А вот ее шаги были громкими, четкими, я невольно считал их.

Не помню, спросила ли она: «Кто?» — не помню.

Я видел перед собой Машу, второй раз за сегодняшний день; она стояла рядом, в домашнем халате, и мне показалось, что не было ни этих девяти лет, ни Риты, ни московских скитаний.

— Вот, — шепотом произнес я. — Пришел.

Она молча смотрела на меня.

— Я ничего не знал, Маша... Почему ты скрыла, что у нас сын?

Сомнение было в ее глазах. Я видел — в ней борются разные чувства.

В коридор выглянул мальчик. Я уже знал его. Только я не мог, не имел права сказать ему, кто я такой.

Маша вздохнула. И вдруг решительно отступила в сторону, дала мне возможность войти.

Я шагнул вперед, все еще не зная, на что могу рассчитывать.

— Познакомься, Володя, — сказала Маша, и ее голос в эту секунду мне показался чужим. — Это твой отец.

НА ЛИНИИ ДОКТОР КУЛЯБКИН	3
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ	67



Скан: Посейдон-М



Обработка: Prizrachyy_Putnik

Ласкин Семен Борисович
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

М., «Советский писатель», 1976, 256 стр. План выпуска 1976 г. № 25. Редактор А. М. Успенская. Художник Л. Д. Авидон. Худож. редактор А. Ф. Третьякова. Техн. редактор Л. П. Полякова. Корректор Е. Д. Довлатова. Сдано в набор 15/IX 1975 г. Подписано в печать 19/XII 1975 г. М 21753. Бумага 84×108¹/₃₂, тип. № 1. Печ. л. 8+1 вкл. (13,54). Уч.-изд. л. 13,6. Тираж 30 000 экз. Заказ № 913. Цена 56 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.